

Ф. В. Ростопчин



ОХ, ФРАНЦУЗЫ!

Ф. В. Ростопчин

Ф. В. Ростопчин

**ОХ,
ФРАНЦУЗЫ!**



Безъ Злыа, и безъ Скуки
Сяду погжавши Руки.

ГРАФЪ ОЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ РОСТОПЧИНЪ,
род. 1763 † 1826.

Ф. В. РОСТОПЧИН

ОХ, ФРАНЦУЗЫ!

Москва
«РУССКАЯ КНИГА»
(«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»)
1992

Пушкинский кабинет ИРЛИ

84P1
P78

Составление, вступительная статья, примечания *Г. Д. Овчинникова*

Художник *В. А. Пикитин*

Ростопчин Ф. В.

P78 Ох, французы! / Сост., вступ. ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. — М.: Русская книга (Сов. Россия), 1992. — 336 с.

Сборник произведений оригинального русского писателя Федора Васильевича Ростопчина (1763—1826), одного из замечательных представителей своего времени, генерал-губернатора Москвы 1812 года, прототипа московского главнокомандующего в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». В его произведениях, издающихся в наше время впервые, нашли отражение общественные идеи, настроения того времени, в частности борьба за чистоту русских нравов и обычаев. Так, повесть «Ох, французы!» была названа «зеркалом нравов старины», а «Мои записки, написанные в десять минут, или Я сам без прикрас» произвели в литературном мире Европы сенсацию.

Р 4702010101—054 64—92
М-105(03)92

84P1

ISBN 5—268—01462—5

© Овчинников Г. Д., 1992 г., составление,
вступительная статья, примечания, худож. оформление.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«И ДЫШИТ УМОМ И ЮМОРОМ ТОГО ВРЕМЕНИ...»

Русский государственный деятель, московский генерал-губернатор во время Отечественной войны 1812 года Федор Васильевич Ростопчин (1763—1826), автор нескольких художественных произведений, — фигура в русской истории достаточно одиозная, чтобы возбудить у читателей интерес к его творчеству. Вспомним непривлекательный образ московского главнокомандующего в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого. Между тем Ростопчин оставил оригинальное литературное наследие.

Невнимание к творчеству Ростопчина можно объяснить в какой-то степени объективной причиной — его литературное наследство на должном уровне никогда в России издано не было. Единственное, далеко не полное, небрежно изданное собрание сочинений Ростопчина в одном томе вышло в середине прошлого века¹. Вскоре затем в печати появилась статья Н. С. Тихонравова «Граф Ф. В. Ростопчин и литература в 1812 году»². В ней Ростопчин-писатель характеризовался как непризнанный и не по заслугам забытый. Оценка крупнейшего представителя культурно-исторической школы в русском литературоведении остается справедливой и по сей день.

Фигура Ростопчина неоднозначна. На противоречия в личности Ростопчина обратил внимание еще П. А. Вяземский, заметивший, что в нем было «несколько Ростопчиных». «Складом ума, остроумием, — писал Вяземский в «Характеристических заметках и воспоминаниях о графе Ростопчине», — ни дать ни взять настоящий француз. Он французам ненавидел и ругал на чисто французском языке»³.

¹ Ростопчин Ф. В. Сочинения. — Спб., 1853.

² Тихонравов Н. С. Граф Ф. В. Ростопчин и литература в 1812 году // Отечественные записки. — 1854. — № 7.

³ Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. — Спб., 1882. — Т. VII. — С. 500—501.

Ростопчин — типичный представитель позднего русского Просвещения, воспитанный при дворе Екатерины II. Как литератор он стоит особняком. Ростопчин не примыкал ни к одному из литературных направлений, не участвовал в журнальных дискуссиях, и литература, хотя он занимался ею постоянно, не была для него самоцелью. В представлении Ростопчина, как и большинства его современников, служба была важнее литературного труда.

Федор Васильевич Ростопчин родился 12(23) марта 1763 года в селе Козьмодемьяновском Ливенского уезда Орловской губернии в семье небогатого помещика. По семейным преданиям род Ростопчиных происходил якобы от потомка Чингис-хана, крымского татарина Давыда Рабчака, сын которого Михаил Ростопча выехал в Москву около 1432 года.

Руководствуясь этой легендой, Ф. В. Ростопчин не сомневался, что его предок мог занять высокое положение при московском великом князе Василии Ивановиче. Как-то раз император Павел I спросил Ростопчина: «Почему вы не князь?» — «Потому, ваше величество, — ответил Ростопчин, — что мой предок, выехавший из Татарии на Русь, прибыл в Россию зимой». — «При чем же тут время года?» — спросил удивленный император. «Когда татарин первый раз появился при дворе, — объяснил Ростопчин, — государь предоставил ему на выбор получить либо шубу, либо титул князя. Мой предок приехал в суровую зиму, и он правильно предпочел шубу».

В действительности эта забавная легенда, выдуманная, по всей вероятности, самим Ф. В. Ростопчиным, имеет мало общего с исторической правдой: Родоначальник Ростопчиных принадлежал к низшему слою княжеских слуг — он был растопчой, растопчиным, т. е. истопником великой княгини Марии Ярославны, и выдвинулся тем, что захватил в плен в 1447 году Василия Замыцкого, боярина князя Ивана Андреевича Можайского¹.

До пятнадцатилетнего возраста Ростопчин жил в деревне под надзором немец-дядек и французов-губернеров. Однако, в отличие от большинства тогдашних знатных русских дворян, он с детства превосходно владел не только иностранными, но и русским языком. Позднее он сам говорил, что у него было «десятка с три заморских учителей, но, помня поучения священника Петра и мамы (здесь: няни. — Г. О.) Герасимовны», он остался русским.

Службу начал Ростопчин в лейб-гвардии Преображенском полку в 1784 году, но через два года подал в отставку. Летом 1786 года он отправился за границу, чтобы в Германии завершить свое образование. Два года пробыл Ростопчин за границей. Кроме Германии он посетил также Голландию и Англию, где завязалась его многолетняя дружба с С. Р. Воронцовым. Результатом двухгодичного пребывания Ростопчина

¹ Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии. — М., 1974. — С. 266.

за рубежом стали путевые очерки — «Путешествие в Пруссию». Впервые они были опубликованы М. П. Погодиным в «Москвитяине» в 1849 году и с тех пор на русском языке не переиздавались.

Уже в этом раннем произведении заметно незаурядное литературное дарование Ростопчина. В ряде коротких глав он описывает берлинские трактиры, общественные собрания, жизнь двора, народные нравы, обычаи, судьбы людей, о которых узнал во время путешествия. Написаны путевые заметки простым русским языком, чуждым всякой выпренности и риторики. Остроумно подмечены Ростопчиным характерные особенности повседневной жизни тогдашней Пруссии. Так, главу, посвященную прусским солдатам, он начинает следующим образом: «Они меня не удивили. Я игрывал ими маленький; оловянные, коих продают ниренбергцы, деревянные, что делают у Троицы, глиняные, которых обжигают в Калуге, и живые, коих я видел, — все одинаковы». В «Путешествии в Пруссию» отразились и некоторые черты характера Ростопчина — склонность к балагурству, буффонаде. При определенной критичности взгляда автора на военные порядки Пруссии времен Фридриха Великого в путевых заметках больше иронии и добродушия, чем критики: «Но что ни город, то норов, и говоря о Берлине как о человеке, можно в нашем смысле сказать, что он добрый мужик». В очерках нет еще того Ростопчина, который через десять лет будет яростно отстаивать устои русской жизни.

Вернувшись на родину в 1788 году, Ростопчин приобрел в обществе известность своим остроумием и колкостью языка. Заветнейшей его мечтой было служить у А. В. Суворова, что ему и удалось осуществить. Первое их знакомство характерно для обоих. «Сколько рыб в Неве?» — таков был первый вопрос молодому поручику. Ростопчин, не сморгнув, назвал первую, пришедшую ему на ум цифру, и Суворов оценил эту бойкость. После этого Ростопчин год служил при Суворове, участвовал добровольцем в штурме Очакова.

После окончания войны с турками Ростопчин покинул военную службу и был зачислен в феврале 1792 года в камер-юнкеры. Живой и острый ум Ростопчина обратил на него внимание Екатерины II, которая так выразилась о нем: «У этого молодого человека большой лоб, большие глаза и большой ум». Вскоре он оказался неременным участником эрмитажных досугов императрицы. Впоследствии озлобленный на Ростопчина граф Н. П. Панин говорил, что тот играл при дворе Екатерины II роль буффона. Презрительный смысл этой характеристики вряд ли соответствует действительности. Ростопчин в течение всей жизни умел и любил быть душою общества.

О своем первом дебюте в салоне императрицы Ростопчин рассказал в письме к С. Р. Воронцову: «Со мной произошел случай, который меня сердит. Этой зимой (начало 1793 г. — Г. О.) я игрывал с приятелями в пословицы. Пошла молва, что это мне удается. Однажды вечером в Царском Селе хотели чем-нибудь развлечь императрицу. Дело не лади-

лось. Я стоял в стороне. На приглашение Зубова принять участие в играх я ответил отказом. Но императрица подозвала меня и милостиво попросила меня представить ей несколько фигур. Отказаться было невозможно. Тогда я составил пословицу, имевшую успех. Императрица много говорила обо мне, постоянно вступала в беседу со мною, и вот — я приобрел какую-то значительность, достигнутую ремеслом комедианта. Я сам браню себя за это и боюсь, что вы не одобрите того, что я сделал. Умоляю, скажите, что вы думаете об этом?»¹ Это свидетельствует о том, что Ростопчин проявил щепетильность в этом случае и вовсе не желал разыгрывать роль придворного забавника.

Как далек был Ростопчин от намерения делать карьеру на салонном остроумии, явствует из следующего факта. Он был назначен одним из дежурных при дворе наследника престола. То было время, когда в кругу людей, приближенных к императрице, считалось признаком хорошего тона пренебрегать обязанностями по отношению к опальному цесаревичу. Ростопчин не только исправно выполнял свои служебные обязанности при Павле, но еще и выступил с резкими обличениями своих товарищей, которые вовсе не являлись на дежурство. Ростопчин добровольно их замещал, возмущаясь низостью их поведения. Наконец дело дошло до того, что две недели подряд никто не явился его сменить. Тогда Ростопчин написал гофмаршалу письмо с жалобой на товарищей. Это письмо, наполненное резкостями, заканчивалось следующими словами: «...а что касается меня, то как у меня нет ни секретной болезни, чтобы лечиться, ни итальянской певицы на содержании, чтобы проводить с нею время, то я буду с удовольствием продолжать нести за них службу при особе великого князя». То были прозрачные намеки на графа Шувалова и князя Барятинского. Барятинский послал Ростопчину вызов на дуэль. Весь великосветский Петербург заговорил об этой истории. Императрица разгневалась, и Ростопчин был удален от двора на один год. Эта кратковременная опала обеспечила ему на будущее такое возвышение, которое во много раз возместило связанные с нею неприятности.

В 1795 году Ростопчин снова появился при дворе Екатерины II. Вскоре при посредничестве Н. П. Панина, будущего заклятого врага Ростопчина, он получил согласие на брак с Екатериной Петровной Протасовой. Эта молоденькая девушка, дочь Калужского губернатора, рано осталась сиротой и воспитывалась у своей тетки Анны Степановны Протасовой, камер-фрейлины Екатерины II. Ростопчину было чуть более 30 лет, когда он женился на 18-летней графине. Их брак был счастлив. Жена Ростопчина отличалась красотой, образованием и умом. Они прожили вместе в полном согласии. «Только два раза ты сделала мне больно», — писал жене Ростопчин незадолго до смерти. Оба эти случая касались религиозного вопроса. Жена Ростопчина тайно от мужа приняла в 1808 году католичество и призналась ему в этом уже задним числом, как громом

¹ Русский архив. — 1887. — Кн. 1. — С. 151.

поразив его этим известием. А позднее она способствовала переходу в католичество двух из своих дочерей.

Смерть Екатерины II повлекла за собой мгновенный переворот в судьбе Ростопчина. Ростопчин оставил подробное описание того, что с ним произошло в те дни, в записке «Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I». Для него началось головокружительное по своей скорости восхождение по ступеням служебной лестницы. Буквально каждый день приносил ему новую награду, новое назначение. В 1796 году Ростопчин получил чин генерал-лейтенанта, с 1798 года он кабинет-министр по иностранным делам (фактически руководил коллегией иностранных дел), с 1799-го — граф, главный директор почтового департамента, с 1800-го — член совета императора. Кроме того, Павел I пожаловал Ростопчину более трех тысяч крепостных крестьян в Орловской и Воронежской губерниях и 33 тысячи десятин земли в Воронежской губернии.

Опала сразила Ростопчина в феврале 1801 года. На целых одиннадцать лет ему пришлось удалиться от государственной деятельности. Он прожил эти годы большей частью в своем подмосковном имении селе Воронове. Усадьба состояла из великолепно украшенного дома, окруженного парком и прудами, длинные дороги прорезывали леса и поля, соединяя деревни, принадлежавшие этому огромному имению.

Жизнь Ростопчина в деревенском уединении довольно подробно освещена в его переписке с князем П. Д. Цициановым¹. Энергичная натура Ростопчина нашла в деревне себе деятельность в усовершенствовании хозяйства. С этой целью он выписывал из Англии различные сельскохозяйственные машины и опытных агрономов, и даже устроил у себя в имении что-то вроде агрономической школы. Первые попытки Ростопчина усовершенствовать свое хозяйство на английский манер были удачны. Когда же он попробовал перенести свои методы на девственную почву воронежского имения, то Ростопчин испытал глубокое разочарование. В конце концов поклонник плодопеременной системы превратился в защитника традиционного трехполья и патриархальных обычаев. Результаты своих наблюдений он изложил в анонимно изданной брошюре «Плуг и соха» (М., 1806). Отдавая теоретическое предпочтение новой системе и плугу, Ростопчин признавал их совершенно непригодными для современных русских условий.

В эти же годы Ростопчин вел обширную переписку. Среди его адресатов были С. Р. и А. Р. Воронцовы, Е. Р. Дашкова, А. Ф. Лабзин. Письма Ростопчина представляют собой яркую и разнообразную картину общественной и политической жизни того времени и принадлежат к числу ценных исторических источников. Любопытно, что в 1804 году он пытался через Лабзина познакомиться с Н. И. Новиковым, приглашал его к себе

¹ Письма Ф. В. Ростопчина к П. Д. Цицианову // Деятельность в XIX в. — 1876. — Кн. 2.

в Вороново, ибо ценил в нем «рвение образовать столь нужное просвещение и нравственность в отечестве». Их встреча, однако, не состоялась из-за болезни Новикова. Этот малоизвестный факт представляет интерес, если учесть, что в 1812 году Ростопчин будет несправедливо обвинять Новикова в антипатриотических чувствах и связях с французами.

До 1807 года Ростопчин не был противником Франции и Наполеона, в котором видел тогда не «исчадие ада», а водворителя твердого порядка во Франции, сокрушителя «революционной гидры». Только с конца 1806 года он начинает активно выступать против французского влияния. 17 декабря того же года он адресует письмо Александру I, в котором Франция объявляется источником политической заразы, ибо из нее исходят все толки о мнимых вольностях. В этом же письме он предлагает также заняться истреблением внутренней крамолы в лице русских мартинистов.

Общественно-политическая ситуация, сложившаяся в России в период антинаполеоновских войн, разочарование в политике Александра I, приведшей страну к унижительному Тильзитскому миру, способствовали возникновению в 1806—1807 годах в дворянской среде идеи патриархальной самобытности России. Ее сторонники возглавили борьбу с галломанией, тесно переплетавшуюся с борьбой против влияния французского Просвещения. Активным выразителем идеи патриархальности наряду с С. Н. Глинкой, А. С. Шишковым, Е. Р. Дашковой, В. А. Левшиным был и Ф. В. Ростопчин.

Известность Ростопчину принесло небольшое сочинение — «Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева». По всей вероятности, Ростопчин не собирался печатать свое сочинение, читал его лишь в «малом обществе», откуда оно распространилось в рукописных списках.

Первый раз «Мысли вслух на Красном крыльце» были изданы без разрешения автора в марте 1807 года в Петербурге А. С. Шишковым с небольшими изменениями и заключением, сгладившим резкий тон антифранцузских выпадов автора. Это и побудило Ростопчина опубликовать свою книгу в мае того же года в Москве в первоначальном виде с приложением «Письма Силы Андреевича Богатырева к одному приятелю в Москве», в котором он выступил против проделок петербургского издателя.

Когда пронесся слух, что богатый, знатный, известный своим остроумием русский барин написал книгу против французов и французского влияния, все захотели ее прочитать. В Москве книга была издана в неслыханном для того времени тиражом — в семь тысяч экземпляров! Сочинение Ростопчина было с одобрением встречено в печати. «Московские ведомости» писали тогда: «Слог его так пленителен, так разителен, что целые страницы врезались уже в памяти у всех, кто ни читал патриотические сии размышления». В. А. Жуковский в «Вестнике Европы»

в программной статье «Письмо из уезда к издателю» предложил Ростопчину опубликовать «некоторые монологи Силы Андреевича Богатырева» в своем журнале.

Что же представляет собой знаменитая книга Ростопчина, принятая с восторгом тогдашним русским обществом? Перед читателями выходит «образец» русского дворянина — Сила Андреевич Богатырев, «отставной полковник, израненный на войнах, три выбора предводитель дворянский и кавалер Георгиевский и Владимирский». Он «отправился из села Зажитова, по случаю милиции, в Тулу для закупки ружей и, узнав о победе под Прейсиш-Эйлау, проехал в Москву для разведования о двух сыновьях, брате и племяннике, кои служат на войне. Отпев молебен за здравие государя и отстояв набожно обедню в Успенском соборе, по выходе, в прекрасный день сел на Красном крыльце для отдохновения и, преисполнен быв великими происшествиями, славою России и своими замечаниями, положи локти на колена, поддерживая седую голову руками, стал думать вслух».

Главная мысль книги высказана в самом начале: «Господи помилуй! да будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? не пора ли нам опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французу: сгинь ты, дьявольское наваждение! ступай в ад или восвойся, все равно, только не будь на Руси!»

Ростопчин хотел показать, какое вредное нравственное влияние оказывают на Россию французы, которых «все наперехват» принимают. Нападки его устремлены на воспитание, которое русские дворяне любят верить заезжим французам, на моды, ими заносимые. Понятиям, которые вкореняют французы молодому поколению, Ростопчин противопоставляет, как пример для подражания, великих людей родины. Однако резкие выражения против французов и Наполеона в его книге объясняются не ненавистью автора к французскому народу, которой у него не было, а состоянием войны с Францией. Без сомнения, Ростопчин понимал французов и Наполеона не так примитивно, как изобразил их в своей знаменитой книге. Происхождение и цель этого произведения он пояснил в 1823 году: «Небольшое сочинение, изданное мною в 1807 году, имело своим назначением предупредить жителей городов против французов, живших в России, которые стремились приучить умы к мысли пасть перед армиями Наполеона. Я не говорил о них доброго, но мы были в войне, а потому и позволительно русским не любить их в сию эпоху. Но война кончилась, русский, забыв злобу, возвращается к симпатиям, существующим всегда между двумя великодушными народами»¹. Репутация «галлофоба» Ростопчина создана позднее — на рубеже 1850—1860-х годов, когда в русской исторической литературе начало склады-

¹ Ростопчин Ф. В. Правда о пожаре Москвы//Сочинения.— Спб., 1853.— С. 222—223.

ваться негативное отношение к личности Ростопчина, истоки которого ~~надо усматривать в общественных процессах XIX века.~~

Наиболее интересным в литературном отношении произведением Ростопчина является повесть «Ох, французы!», имеющая подзаголовок: «Наборная повесть из былей, по-русски писанная». Время ее создания — конец 1806 года, а опубликована она была впервые лишь в 1842 году. Публикация повести в «Отечественных записках» была отмечена В. Г. Белинским в обзоре русской литературы за 1842 год: «К замечательнейшим повестям прошлого года принадлежит повесть графа Ростопчина «Ох, французы!»... она сама есть верное зеркало нравов старины и дышит умом и юмором того времени, которого знаменитый автор был из самых замечательнейших представителей»¹. Отметил повесть в своем дневнике и А. И. Герцен: «Много ума, остроты и меткого взгляда»².

Главная цель сочинения — воспитание молодых дворян в любви к отечеству. Посвящается повесть лицам разного возраста, «разумеется, благородным, по той причине, что сие почтенное сословие есть подпора престола, защита отечества и должно предпочтительно быть предохранено» от иностранного влияния. Купцы же и крестьяне, по мнению автора, «хотя подвержены всем известным болезням, кроме нервов и меланхолии, но еще от иноземства кой-как отбиваются, и сия летучая зараза к ним не пристает».

Читая повесть, трудно представить, что она была написана в 1800-е годы, так как мало в ней того, что составляет общую принадлежность современных ей литературных произведений. В отличие от идеальных, оторванных от действительной жизни героев сентиментальных повестей и романов того времени, Ростопчин выводит в своем произведении живых людей: тетку невесты, женщину практическую, но не всегда распорядительную, служанку Крисанфовну, Феклистыча, который был некогда женским портным, спился было до того, что кричал на барыню «Слово и дело», но потом как-то установился, женившись на любимой сенной девушке, и дошел до высшей степени в дворянском доме, т. е. до дворецкого. У Ростопчина была замечательная наблюдательность, и не без оснований можно предположить, что многие образы его повести «из былей» были простыми списками тех лиц, которых он знал в детстве.

Повесть Ростопчина — одно из самых оригинальных произведений русской прозы 1800-х годов, и ее влияние на литературный процесс тех лет стало бы заметным, если бы она была издана в то время, когда была написана.

Ростопчин написал в 1805—1807 годах несколько комедий, по словам ближайшего друга Ростопчина А. Я. Булгакова, «исполненных остроты и критики на оригинальные лица. По прочтении сих комедий в малом

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т.— М.; Л., 1955.— Т. VI.— С. 538.

² Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т.— М., 1954.— Т. 11.— С. 233.

обществе он обыкновенно предавал их огню». Одна из комедий Ростопчина — «Вести, или Убитый живой» — избежала этой участи. Ростопчин не только не уничтожил ее, но даже опубликовал и поставил в 1808 году на московской сцене. О впечатлении, которая произвела пьеса Ростопчина на московское общество, сохранилось любопытное свидетельство Н. В. Сушкова: «От гостиного двора до кабинета литератора, от прихожей и девичьей и до дворянского собрания, только и толков было в Москве, что об ней. И в партере, и за кулисами, и в повременных изданиях любители театра, актеры, писатели долго судили-рядили о достоинствах комедии «Вести, или Убитый живой»¹.

Несмотря на некоторую растянутость и вялость драматического действия, комедия Ростопчина выделяется тем, что принадлежит к крайне редкой в те годы комедии нравов, а не к распространенной комедии характеров и положений, а также тем, что фабула и персонажи взяты автором из русской жизни, а не заимствованы у французских авторов, как в большинстве пьес тех лет. Поэтому в истории русской драматургии ее можно поставить между комедиями Фонвизина и «Горе от ума» Грибоедова.

Казалось бы, интерес, проявленный к комедии, должен был сулить ей продолжительный успех. На самом деле после трех представлений в Арбатском театре (27, 30 января и 2 февраля 1808 года) она была снята со сцены. Объяснение причин этого находим у современников. В 1807 году в московском свете, говорится в записках С. Н. Глинки, «разлетелась молва, будто бы умер Петр Иванович, молодой сын графа Ивана Петровича Салтыкова. И вдруг мнимый покойник явился в полном здравьи и, как слышно было, присватался к одной из московских красавиц. От этих толков из-под пера графа Ростопчина вышла бойкая комедия»². Это о фабуле пьесы; что же касается ее действующих лиц, то все они, по свидетельству другого современника, М. А. Дмитриева, «есть верные копии с тогдашних вестовщиков и вестовщиц».

Современники узнали в Маремьяне Бобровне Набатовой, в Горюнове и других — лица, всем знакомые. Ростопчин не пощадил даже известного издателя «Друга детей», автора драм «Лиза, или Торжество благодарности», «Рекрутский набор» и многих других Н. И. Ильина... И он был изображен в этой комедии, и его узнали под именем Николая Ивановича Пустыкова. Успех этой комедии, появившейся впору, кстати, ко времени, был необыкновенный; но «Москва обиделась личностями»³. Москва «обиделась» и личностями, и общим содержанием комедии, затронувшим большую сторону московского общества — склонность к сплетням. (Кстати, в образе Набатовой современники увидели известную всей Москве Настасью Дмитриевну Офросимову, которая впоследствии

¹ Сушков Н. В. Из записок//Раут.— 1854.— Кн. 3.— С. 391.

² Глинка С. Н. Записки.— Спб., 1895.— С. 233—234.

³ Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти.— М., 1869.— С. 242.

появилась в русской литературе под именем Хлестовой в «Горе от ума» и Ахросимовой в «Войне и мире».) За это и поплатился Ростопчин успехом своей комедии. «Не было набата,— вспоминает Глинка,— зато роковые отголоски свистков жужжали не хуже пуль. У графа разлилась желчь и вылилась из-под пера его в двух громоносных письмах, направленных на московскую публику и присланных ко мне из села Воронова для напечатания в «Русском вестнике». Глинка печатать письма отказался, ссылаясь на их резкий тон. Тогда Ростопчин издал их отдельно под названием «Письма Устина Ульяновича Веникова к Силе Андреевичу Богатыреву и ответ Силы Андреевича Богатырева Устину Ульяновичу Веникову» (М., 1808). Из них видно, что провал комедии произошел, по мнению Ростопчина, «от неудовольствия партии приверженцев чужеземщины».

Как талантливый писатель, с убеждением восставший против французского влияния, Ростопчин становится как бы во главе литературной антифранцузской борьбы. Цель его была, однако, общественная, а не литературная,— посредством литературы Ростопчин хотел возбудить в обществе патриотические чувства. Это открыло ему доступ в тверской салон великой княгини Екатерины Павловны. Здесь, в Твери, в 1809—1812 годы образовался политический кружок, участниками которого, кроме Ростопчина, были Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, А. И. Мусин-Пушкин. Ростопчин был одним из наиболее ласково принимаемых гостей Екатерины Павловны. Из-за отсутствия данных трудно судить, какие конкретные темы затрагивались в разговорах посетителей салона, но с уверенностью можно сказать, что к преобразовательным реформам, связанным с именем М. М. Сперанского, отношение было резко враждебным.

В феврале 1810 года Ростопчин был назначен обер-камергером, а через два года — в мае 1812 года при содействии великой княгини Екатерины Павловны переименован в генерала от инфантерии и назначен главнокомандующим Москвы. Поздравляя Ростопчина с назначением, Н. М. Карамзин сказал тогда, что «едва ли не поздравляет он калифа на час»¹. Слова Карамзина оказались пророческими.

Литературная деятельность Ростопчина в бытность его на посту московского генерал-губернатора выразилась в «Дружеских посланиях главнокомандующего в Москве к жителям ее», или — по-другому — афишах, как наиболее часто их называют в литературе. Название афиш они получили у москвичей оттого, что разносились по домам, как театральные афиши. Ростопчин издавал афиши почти ежедневно с 1 июля по 31 августа 1812 года, и несколько было издано в сентябре — декабре того же года. Таким образом, их должно быть несколько десятков. Между тем таких афиш, которые могли бы быть с достоверностью приписаны Ростопчину, в настоящее время сохранилось не более 20.

¹ Вяземский П. А. Полн. собр. соч.— Т. VII.— С. 194.

В них Ростопчин стремился ослабить тревогу и испуг москвичей перед нашествием армии Наполеона, поэтому сознательно преувеличивал известия о победах русских войск, высмеивал Наполеона и французов и восхвалял «простые русские добродетели». Из ростопчинских афиш наиболее интересна первая. Это также «мысли вслух», но на этот раз не провинциального дворянина, а московского мещанина Карнюшки Чихиркина, который, «выпив лишний крючок на тычке, услышал, будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из питейного дома под орлом и заговорил собравшемуся народу».

Афиши по-разному были приняты современниками. В простонародье, точнее сказать, в среде мещан и купечества, они читались с восторгом. Об этом свидетельствует историк И. М. Снегирев: «Мы видели в Москве, какое имели влияние над простым народом в 1807 и 1812 году развешенные у ограды Казанского собора картины лубочные: мужик Долбило, ратник Гвоздило, Карнюшка Чихиркин и словоохотный Сила Андреевич Богатырев, который со ступеней Красного крыльца разглагольствовал с православными о святой Руси, и слова его были по сердцу народу русскому»¹.

Что касается дворянского общества, то здесь отношение к афишам было неоднозначным. М. А. Дмитриев, называя их «мастерской, неподражаемой вещью», пишет, что Ростопчина тогда «винили в публике: и афиши казались хвастовством, и язык их казался неприличным». Литератору А. А. Шаховскому «площадный язык черни казался не совсем приличным в обнародованиях от главнокомандующего столицей». А. Д. Бестужев-Рюмин с насмешкой говорил об их содержании, называя язык их «пошлым и площадным». В. А. Жуковскому, которого Ростопчин, так же как и П. А. Вяземского, причислял к «якобинцам», они нравились. Н. М. Карамзин «читал их с некоторым смущением», а П. А. Вяземский «решительно их не одобрял, потому что в них проскальзовали выходки далеко не консервативные». А такие далекие друг от друга писатели, как Н. И. Греч и А. И. Герцен, считали ростопчинские афиши написанными «настоящим народным слогом».

Приведем еще один отзыв, выражающий типичное неприятие ростопчинских афиш. Принадлежит он библиографу С. Д. Полторацкому: «Жалко потомство, если оно будет читать эти прокламации! Что в них достойного уважения? Как назвать слог, испещренный выражениями грубыми и площадными? Неужели жители Москвы не заслужили красноречия более благородного, более достойного людей мыслящих и чувствующих?»²

В воспоминаниях об Отечественной войне 1812 года имеются и дру-

¹ Снегирев И. М. О простонародных изображениях // Труды Общества любителей российской словесности при имп. Московском университете. — М., 1824. — Ч. 4. — С. 144—145.

² ГПБ, ф. 603, оп. 1, ед. хр. 2.417, л. 97—98.

гие отзывы о ростопчинских афишах. Несомненно одно — они были встречены как явление необычное, странное для культурных слоев общества и установившихся канонов литературного изображения. В невосприятии афиш как художественного явления заключается принципиальная проблема, о которой говорил М. М. Бахтин, — «допустимости в искусстве явлений, не отвечающих требованиям эстетики прекрасного и возвышенного»¹. Афиши Ростопчина — пример выпадания из литературных норм эпохи.

В день вступления французов в Москву Ростопчин оказался в нелепом положении. Как известно, он старался в своих афишах удерживать москвичей от отъезда из города («жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет»), смеялся над выезжающими, и те, которые ему поверили, потом раскаялись. По-видимому, он был убежден, что русская армия остановит Наполеона. 31 августа в своей афише Ростопчин призвал москвичей к всенародному ополчению, к битве у Поклонной горы. Он был вне себя, узнав о совете в Филях, на который его даже не пригласили, о бесповоротном решении Кутузова оставить Москву без боя. Услышав, что никакой битвы не будет, народная толпа собралась у генерал-губернаторского дома на Лубянке. И здесь произошло событие, оттолкнувшее большинство современников от Ростопчина, — выдача на растерзание толпы купеческого сына Верецагина, обвиненного Сенатом в распространении хвастливой прокламации Наполеона и приговоренного к смертной казни, замененной потом на битье кнутом и ссылку в Сибирь. «Многие в то время, — вспоминал Вяземский, — откровенно сознаюсь — в числе не последних и я — осуждали сей поступок Ростопчина»².

Оставив Москву 2 сентября, Ростопчин, однако, не отправился вместе со своей семьей в Ярославль, а последовал за армией, пока она находилась в Московской губернии. Во время занятия Москвы французами он был во Владимире. 10 октября французы покинули Москву, а 11 числа в нее вступили казаки, вслед за которыми приехал в Москву и Ростопчин.

Работы в разоренном городе предстояло немало: распорядиться очисткой улиц, восстанавливать присутственные места и т. д. Тогда же им было выбрано место на Красной площади для установки памятника Минину и Пожарскому. Усиленная работа по возвращению в Москву и вид опустошенной столицы расстроили здоровье Ростопчина, и он заболел. Тяжелое нравственное состояние Ростопчина усугублялось еще и тем, что ему приходилось слышать упреки и обвинения в пожаре Москвы со стороны лиц, потерявших свое имущество и обвинявших в том главнокомандующего Москвы. В письме от 14 ноября 1813 года к Д. И. Киселеву Ростопчин жаловался, что «кроме ругательств, клеветы

¹ Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1965. — С. 41.

² Вяземский П. А. Полн. собр. соч. — Т. VII. — С. 211.

и мерзостей, ничего в награду не получил от того города, в котором многие обязаны мне жизнью»¹. Это подтверждают и современники. Вот что, например, писал Н. М. Лонгинов 12 февраля 1813 года из Петербурга С. Р. Воронцову: «...у Ростопчина нет ни одного друга в Москве, и там его каждый день клянут все. Даже народ ненавидит его теперь в такой степени, как был раньше им возбужден. Я получил сотни писем из Москвы и видел много людей, приехавших оттуда: о Ростопчине существует только одно мнение»². Потеря популярности объяснялась еще и тем, что сам Ростопчин считал унижительным для себя оправдываться.

В июне 1814 года Ростопчин устроил в Москве пышные празднества в честь занятия Парижа союзными войсками и заключения мира. 25 июля в Москву прибыл Александр I. Ростопчин был принят им весьма холодно. 30 августа того же года он был уволен от должности московского главнокомандующего с назначением в члены Государственного совета.

Сознание ненависти, скопившееся вокруг имени Ростопчина, делало для него невозможным дальнейшее пребывание в Москве. В 1815 году Ростопчин уехал за границу и писал с тех пор исключительно по-французски. Опубликованная в 1839 году во Франции его юмористическая автобиография «Мои записки, написанные в десять минут, или Я сам без прикрас» произвела в литературном мире Европы сенсацию. В том же году она была переведена на несколько европейских языков, включая русский, и неоднократно переиздавалась.

Большую часть заграничной жизни Ростопчин провел в Париже, где слава его имени, богатство, ум, превосходное умение владеть французским языком и выражаться на нем с замечательным остроумием приобрели ему всеобщую известность и знакомства в высших слоях французского общества. Парижская толпа спешила поглазеть на него всюду, где Ростопчин появлялся. Он начал посещать театр «Варьете», и сразу в кассе театра повысились сборы. Сохранился анекдот об одном из таких его посещений: «Однажды Ростопчин сидел в театре во время дебюта плохого актера. Публика страшно ему шикала, один Ростопчин аплодировал. «Что это значит? — спросили его. — Зачем вы аплодируете?» — «Боюсь, — отвечал Ростопчин, — что как сгонят его со сцены, то он отправится к нам в учителя». Надобно заметить, что славу Ростопчину составили главным образом иностранцы. Их интересовала эта оригинальная личность и его роль в московском пожаре 1812 года. Конечно, французы в то время и долго спустя смотрели на пожар как на поступок варварский, но другие иностранцы, воспитанные в ненависти к Наполеону, видели в Ростопчине героя. Для немцев Ростопчин был величайшим патриотом и героем в духе Древней Греции и Рима.

Вращаясь в парижском высшем свете, Ростопчин внимательно следил за политической и общественной жизнью Франции и свои наблю-

¹ Русский архив. — 1863. — Кн. 1. — С. 814.

² Русский архив. — 1912. — № 5. — С. 46.

дения изложил в записке «Картина Франции 1823 года», которую он отправил Александру I перед своим возвращением в Россию. Кроме того, Ростопчин написал и издал в 1823 году в Париже свою известную брошюру «Правда о пожаре Москвы», в которой отказался от славы «поджигателя» Москвы.

Вернулся Ростопчин на родину в 1823 году. Здесь к нему пришла полная отставка. Вскоре Ростопчин безнадежно заболел, но еще продолжал отзываться на текущие политические события. Так, после декабристского восстания 1825 года в обществе получила известность его острота: «Обыкновенно сапожники делают революцию, чтобы сделаться господами, а у нас господа захотели сделаться сапожниками». Умер Ростопчин 30 января 1826 года. Согласно его воле он был похоронен без всякой помпы на Пятницком кладбище в Москве. Надгробный камень украшен собственной эпитафией Ростопчина:

Среди своих детей
Я отдыхаю от людей.

Литературная деятельность Ростопчина, несомненно, имеет определенное историко-литературное значение. В ней по-своему отразились общественные идеи, настроения и художественные искания допушкинской эпохи. Живая, лишенная налета книжности, равно чуждая как карамзинистам, так и шишковистам, национальная стихия простонародного языка произведений Ростопчина открывала перед русской литературой перспективный путь к решению важнейшей тогда проблемы — народности в значении национальной самобытности.

Г. Д. Овчинников



ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРУССИЮ

Граница

Город Цилинциг мал, дурен и ничего не заключает примечания достойного; в нем, так как и во всех немецких маленьких городах, лучшие строения — ратуша, кирка и почтмейстеров дом. Тут начинается прусское владение, немецкий язык и курс терпения. Несчастный русский путешественник, плачь и сокрушайся о ямщиках! Забывай, что лошадь может бежать рысью и скакать! Мужайся и терпи! Ты знаешь, как варвары мучают христиан; но их искупают из плена, а тебя ничто спасти не может.

Почта

Содержится почтмейстерами. Большая из них часть отставные офицеры, хвастуны и болтуны. У них бывает в конюшнях толстоногих, больших, жирных лошадей до шестнадцати. Сперва почтмейстер осмотрит карету или коляску проезжего, чтоб придраться, и если есть возможность, то припречь лишнюю лошадь, что всегда и случается, когда почтмейстер имеет покровителей или пьянее обыкновенного. Сие зависит от воли его, ибо приезжий в совершенной его власти. Тогда уже лучше заплатить почтовые деньги, а лошади прибавочной не запрягать: у них закон — как приехал, так и поехал. Потом велют мазать повозку, начнется совет, каких запрягать лошадей. Решение почтмейстера. Дадут лошадям корму. Пока они едят,

пойдет также есть и почтальон; наденут хомуты; станут запрягать. Все сие продолжается полтора часа. Между тем временем почтмейстер, выкуривая, закуривая или докуривая трубку, рассказывает всякому проезжему, без разбора, про свою службу, подвиги, раны, милости королевские и прочее. Сие продолжается до минуты отъезда. А в Бранденбурге почтмейстер задерживал полчаса лишнего плодовитым описанием бесконечной истории его жизни; и как, по несчастю, он был ранен в лопатку, в ляжку и в сердце, то для показания сих ран должен он был раздеваться. Но там, где почтмейстер и не ранен, прежде полутора часа с почты выехать невозможно, и, когда объявит с торжественным видом оборванный мужик в должности вагонмейстера, что все готово, и думаешь, хотя шагом, но как-нибудь доехать вперед, то тут найдут разные непостижимые уму человеческому остановки. Должно платить не в одни руки, а порознь —

Пост-гельд,
Шмир-гельд,
Тринк-гельд,
Барьер-гельд,
Шосе-гельд,
Тор-гельд,
Брик-гельд,
Экспедицион-гельд.

- Пост-гельд — берет почтмейстер вперед на каждую лошадь за милю по 8 грошей, то есть по 30 копеек.
- Шмир-гельд — берет вагонмейстер 4 гроша (16 копеек) за мазанье колес. В Мемеле у меня раскололи доску на боку у кареты, а я все-таки шмир-гельд заплатил.
- Тринк-гельд — берет почтальон. Хотя и положено ему давать по три гроша (12 копеек) за милю, но они никогда ничем не довольны и грубым, дерзким и неотступным образом принуждают давать себе, выводя из терпения, гроша по 4 и боле.
- Барьер-гельд — берет за проезд приставленный от помещика земли по копейке и более с лошади; а чтоб вернее получить, то закидываются рогатки. Всякий, чья земля под дорогой, имеет право оста-



- навливать проезжих и требовать с них денег.
- Шосе-гельд — берет казенный пристав за мостовую в городах, селениях и по дороге.
- Тор-гельд — берет приворотник, швейцар или затворник при въезде в городские ворота.
- Брик-гельд — берет пристав за проезд через мост.
- Экспедицион-гельд — берет Христа ради инвалидный унтер-офицер, определенный к почте в награждение за его службу. Он при отъезде подходит к проезжему, протягивает руку и просит двух грошей. Сии инвалиды приводили мне всегда на память монаха, что просил милостыню у Стерна в Кале. Но тот имел убежище в монастыре, а прусских сих героев жизнь зависит от подаяния проезжих.

Прежде меня сердило, а теперь трогает то, что сия неподвижная почта называется экстрапость, то есть чрезвычайная почта. Не удивительно, что она существует в Пруссии, в рассуждении флегматического сложения жителей. В других землях сие столь полезное учреждение служило бы к пагубе и истреблению народа. В древних философических школах, в Греции, научались терпению через многие годы, а в нынешние времена прусская почта, на расстоянии нескольких миль, довела бы до совершенства учеников премудрости. Почта сия есть мучение неслосное, а почтмейстер тиран бесчеловечный. Ни просьба, ни ласка, ни слезы, ничто его не трогает. Несмотря ни на что, он испускает из себя сквозь дым слово глейх (тотчас). Сей глейх служит ответом на все и продолжается полтора часа. Иные, рассердясь, хотели их бить, но после были отвезены, на той же почте и еще тише обыкновенного, под суд и подвергли себя наказанию законов. Некоторые их бранили, но тогда почтмейстеры, положи трубку, принимались вытаскивать съеденную ржавчиною шпагу и угрожали отмщением за оскорбление почтовой их чести. Я предавал обыкновенно их проклятию, хаживал гулять или читывал в карете книгу. Сим способом избавлялся от злобы и от раскаяния, что поехал в чужие края.

История о Швейцаре

Один швейцар не из любопытства, а за делом поехал в Берлин, запряг двух лошадей, взял одного человека, сел в коляску и пустился в путь. Ехал он до Франкфурта на двух лошадях, до Касселя на двух и до Магдебурга на двух. Хотя в иных местах почтмейстеры и говорили, что коляска его тяжела и должно бы припречь еще одну лошадь, но швейцар отделявался кой-как, то незнанием языка, то просьбою, то нуждою денег, и думал, что так и доедет; но сей несчастный не знал прусских почтмейстеров. Но узнал он их, узнают их и дети его, и от одного названия побегут скорее почтовых лошадей. Вот что случилось с швейцаром:

Магдебургский почтмейстер принудил его заплатить за три почтовые лошади, но хотя одолжить запряг только две.

На следующей почте, взяв с него за три лошади прогоны, хотели везти на двух; но швейцар требовал третьей, что насилу и выпросил.

Ехал одну почту на трех. Но другой почтмейстер, по причине большого переезда, гористой дороги, грузной повозки и отличного его желания притеснять проезжающих, велел запрячь четырех и держал, покуда получил деньги.

Швейцар не мог понять столь бесстыдного притеснения, сбирался ехать на четырех лошадях жаловаться главному почтдиректору в Берлине, записал к себе в книжку имя почтмейстера, место, число и час, в котором он поехал четвернею, рассуждал с слугою о сем приключении, как о чуде, но того и не предчувствовал, что диковина была еще впереди.

На последней почте к Потсдаму запрягли ему дурных лошадей. Они стали, следственно, и коляска остановилась. Почтальон кричал, хлопал бичом, сошел на землю, погасил трубку, стегнул по одному разу каждую лошадь и потом объявил, что он везти дале не может, поедет кормить и будет назад часов через шесть. Швейцар испугался, чтоб не просидеть в коляске до конца жизни, и просил грубую тварь как-нибудь пособить его несчастью. Почтальон попросил два талера нанять еще пару лошадей и, взяв деньги, поехал в деревню, где пил, ел, спал, наконец явился с двумя лишними лошадьми. Запряг и повез швейцара цугом. Договор был, не доезжая до перемены, пару отпречь и привезти его на четырех. Но, по несчастью, почт-

мейстер, уча лягавую собаку, далеко зашел, увидел хитрость и по приезде на почту велел приготовить, запретить и везти на шести лошадях, несмотря на отчаяние и просьбу швейцара; доказывал ему, сколь бесчестно вредить ближнему, отнимать у бедного хлеб, и уверял, что он из одной лишь жалости и оттого, что он любит швейцаров, а особливо их сыр, дарит ему прогоны за шестую лошадь. Почтмейстер сей служил в артиллерии и был толст. Разговаривая с швейцаром о его коляске и хотя извинить свое грабительство, уподоблял ее конструкцию 24-фунтовой пушке и уверял, что под Прагою под них запрягали до 20 лошадей. Швейцар, по несчастию, вздумал пошутить, спрося: «А сколько надобно бочек пороху, чтоб вас подорвать?» Почтмейстер, ничего не отвечая, вышел вон, написал записку и отдал своему почтальону.

Швейцара привезли в Потсдам. Он божился, что заплатил за пять лошадей,— стоял день, простоял бы другой, заплатил за шесть лошадей и поехал.

Ехал сердит, зол, печален и совсем было взбесился, когда на последней почте к Берлину взяли с него двойные прогоны за то, что королевская почта.

Он приехал на шести в той же самой коляске, которую из Женевы до Магдебурга везли на двух лошадях.

Тройным правилом он нашел, что, проезжая чрез всю Пруссию, запрягли бы наконец в его коляску 32 лошади с половиною.

Оконча свои дела в Берлине, не знал он, как возвратиться в свое отечество. Одна мысль о почте производила в нем жар, озноб и пот, а попросту сказать, бросала в лихорадку. Наконец решился ехать из Гамбурга морем в Бордо, а до Гамбурга купил двух лошадей для себя и для слуги, уверен был, что если бы он поехал верхом на почтовых, то бы его наконец посадили на шесть лошадей.

Особливый почтмейстер

Почтмейстера, о коем говорено было в предыдущей главе, я видел сам. Он был еще жив, но не надолго. Семьдесят лет он жил на свете, сорок служил королю, пятьдесят пил и три года был уже в водяной болезни, которая и могла его задушить.

Он был так толст, что, роя для него могилу, верно, докопаются до воды, а под тело запрягут всех его лошадей.

Швейцара он забыл, да и знать не мог, потому что он,

по словам его, не любил знакомиться, находя из них мало себе по мысли.

Я к нему приехал на четырех лошадях и приготовился платить за пять, но, к крайнему удивлению, обманулся. Великодушию сему причиной была благодарность; он узнал, что я русский, и говорил мне так:

«Я к вашей нации имею отменное уважение. Когда войска ваши были в Берлине, моя жена там оставалась; к ней поставили постоем калмыков, и она думала, что они ее съедят. Но что же вышло? Они ей никакого вреда не сделали».

За сим подал мне свой стамбух¹ и просил оставить в нем что-нибудь на память. Я написал по-французски: «Приезжий, скажи, что ты русский».

Принесшая бутылку пива почтмейстеровою дочь лицом своим уверила меня, что калмыки стояли у матери на дворе и что она ими была довольна.

Почтальоны

Почтальон, или мужик, служит почтмейстеру, одет в длинном сюртуке, валторну носит через плечо, сидит на левой коренной лошади, а правит двумя, тремя и четырьмя; в руках держит длинный бич и сечет им воздух, по преданиям своих предков, по примеру товарищей, по научению почтмейстера, по приверженности к лошадям и сходственно с своим правом; возит он круглый год шагом. Когда лошади побегут рысью, думает, что они бьют. Между почтмейстером и почтальоном та разница, что один мучает два часа, а другой четыре, шесть, восемь и сутки.

По установлению королевскому, курьеров должно возить на почте по семи, а проезжих по пяти верст на час. Но никогда еще никто не уезжал боле двенадцати миль в двадцать четыре часа.

Нам сие не понятно оттого, что мы в России уезжаем по 20, редко меньше 10 верст, в час; на долгих по 100 верст в сутки; пешком ходаки наши уходят по 60 верст в день. А немецкий почтальон хотя и должен ехать по 8 верст в час, а уезжает по три. Но и того много, если исчислить, сколько ему времени надобно:

кормить на каждой мили лошадей,
поить везде, где есть вода,

¹ Книга, в которую просят что-нибудь вписать для напоминания. (Примеч. Ф. В. Ростопчина.)

есть и пить самому везде, где найдет хлеб, масло и пиво,
раскуривать трубку,
высекать огонь,
говорить со встречающимися,
торговаться за перевоз,
играть на валторне.

Бранить его дурно, бить еще хуже, просить — не может, давать денег — не подействует.

Если ему дать денег, то он сперва попросит посмотреть, как он скоро поедет: хлопнет раз десять бичом, лошади побегут рысью, он засмеется, оглянется, попридержит и опять поедет шагом.

Древние, для изображения скуки, представляли время с обрезанными крыльями: лучше бы его одеть прусским почтальоном.

Кажется, что часы лишаются движения и что минутная стрелка стоит неподвижно.

Со мною был Тристрам Шанди, и он мне показался печальнее Юнга.

Глейх

Сим словом почтмейстер и почтальон отвечают нетерпению путешественника. Глейх наводит на меня уныние, печаль и отчаяние. Почтовой глейх в сравнении:

с русским — тотчас,
с французским — dans l'instant,
с итальянским — subito,
с английским — directly,
то,

что секунда в сравнении с годом.

Франкфурт-на-Одере

Старинный город, в коем, по описанию Бюшинга, 1200 домов, 12 000 жителей. Примечания достойна главная церковь готической архитектуры. Наемный лакей сказывал, что ей 400 лет, трактирщик — 300, а звонарь — 600, но со всем тем она древна.

В сем городе бывают три ярмарки в году, на коих производится обмен товарами с Польшею и очень притесняют жидов, от чего они еще больше и скорей обманывают. В городе есть многие шелковые фабрики. В кофейном доме я нашел прусских офицеров. Они все узнали, что я

русский, но ни с одним не говорил про Франкфуртскую баталию.

Река Одер протекает под городом, чрез нее мост, и она судоходная, часто разливается, причиняя большой вред. Принц Брауншвейгский в одном из сих наводнений жертвовал своею жизнью для спасения бывших в опасности жителей. Человеколюбие, сократя век его, соделало имя бессмертным.

В Берлине сооружен ему памятник с великолепною надписью в стихах, коими сочинитель намерен был привлечь более внимания, чем герой человечества.

Нужны памятники для равнодушных, излишние для чувствительных. Подвиг не умолкает и станет переходить веками из памяти в память.

Майр Клейст

В Франкфурте видел я мраморный столб, на коем стоит сфера с сидящею на ней пчелою. Сей памятник воздвигнут стихотворцу и воину Клейсту. Он служил отлично и музам и королю; ранен под Франкфуртом, оставлен на месте сражения и был при последнем издыхании; но один простой казак поднял его, привез в госпиталь и там за ним ходил. Помещаю поступок сей в доказательство, что человеколюбие действует сильно и без просвещения, кое много обдумывает, выдумывает, придумывает и часто раздумывает.

Прусские солдаты

Они меня не удивили. Я игрывал ими маленький; оловянные, коих продают ниренбергцы, деревянные, что делают у Троицы, глиняные, которых обжигают в Калуге, и живые, коих я видел, — все одинаковы.

Покрой мундира тот самый, что был при Великом курфирсте; камзолы длинные, сукно толсто, у людей ноги тонки, брюхи велики, вместе видны, порознь безобразны и кажутся стары; косы бесконечны. Не понимаю, как на поворотах не колят глаз; шапки гренадерские отличны, но беспокойны, обременяют голову, заставляют человека искать равновесия, в солнце притягивают лучи, в дождь скопляют воду. Несмотря на все сии неудобства, ни один гренадер не согласится быть мушкетером. Пища самолюбия готовится из отличия от других.

Ходят вольно в минуту 75 шагов; стреляют проворно;

сума чрез плечо на широком ремне, тесак на широкой портупее; штык в ножнах; ружье длинно и тяжело; шомпол цилиндрический, коим не оборачивая прибивать заряд можно; пороха на полку не сыплют, а он выходит сам из дула в широкую затравку.

Французы, бывшие под Росбахом, уверяют, что пруссаки непобедимы.

Все русские, которые были под Франкфуртом, Пальцихом, Ягерисдорфом и Колберхом, сему не верят.

Кто видел одного прусского солдата, тот видел всю армию. Она походит на эликотовые часы, в коих механика отменная, а корпус безобразный.

Местоположения

С горы да на гору, песок по колено; кой-где сосна либо ель. Камней изобильно. Селений мало. От Франкфурта до Берлина 10 миль (70 верст). Я ехал двадцать шесть часов и начинал уже думать, что вечно буду ехать, но, к крайнему удивлению, приехал.

Берлин

Столичный город Бранденбургии и Прусского королевства составлен из пяти городов.

Берлин построен в 1163 году Албертом, по прозванию Медведем.

Кельн на острове, окруженном Шпрею.

Фридрихс-Вердер, на рукаве Шпреи, построен в 1637 году курфирстом Фридрихом Вильгельмом.

Нейштат, или Доротеенштат, по имени второй супруги Фридриха Вильгельма.

Фридрихс-штат основан в 1686 году королем Фридрихом Первым.

Берлин имеет четыре предместья, около десяти тысяч домов, сто сорок тысяч жителей, в окружности 18 верст, пятнадцать ворот, двести семьдесят улиц, тридцать шесть мостов и тридцать две церкви.

Я в Берлине был три раза, жил долго, знаю его как Москву и Петербург, но предпочту ему и Выборгскую сторону и Рогожскую.

Всякий живой человек обрадуется сему городу, как спасшийся от кораблекрушения обитаемому берегу; тут он надеется найти покой и освободить себя от ига почты.

Если кто любопытен узнать совершенно Берлин, тот

может достать описание сего города господина Николаи; читать это описание надобно много время; поставить его — много места. Описание одной улицы Фридрихсштрас заключает четыре тома. Сочинитель везде останавливается, про все говорит и все объемлет.

Когда бы он захотел описать Петербург, то, останавливаясь при всяком шаге, удивлялся бы созданиям великой Екатерины и не успел бы описать все премудрые дела ея.

Первый допрос

Стоящий в воротах часовой при въезде останавливает всякого; если приезжий иностранный и едет в коляске или в карете, то выходит офицер, на караул стоящий, и, вынув записную книжку и карандаш, требует ответа на множество вопросов, дабы узнать, что за человек приезжий и с каким намерением приехал в Берлин, будет ли представлен к королю и прочее. Намарав листа два, выведя из терпения ответчика, выбившись сам из сил и не узнав ничего, приказывает солдату сесть на повозку и проводить ее в таможню.

Пигаль

Сей славный скульптор, сделав прусскому королю Меркурия, признанного за наилучшую статую нынешних времен, захотел чрез несколько лет показать и себя в той земле, где он уже прославился своей работой. Самолюбие художника превосходило достоинство привозом его в Берлин. На вопрос офицера — кто он такой? — отвечал: «Я автор Меркурия». По получении рапорта, король приказал тотчас Пигалья посадить под караул, быв в том мнении, что он издатель журнала под названием «Меркурия», в коем дерзко было говорено о его величестве. Узнав ошибку, Пигалья на другой день выпустили, все ему смеялись, а он на всех сердился.

Строгость

Когда английский в Дании посланник Элиот приезжал тайно и под чужим именем за своею дочерью в Берлин, то король, узнав о сем, бывшего офицера на карауле у тех ворот, в кои Элиот проехал, разжаловал в солдаты за то, что он, не видав никогда его прежде, не узнал в лицо.

Таможня

От ней можно избавиться, дав талер писарю, стоящему у ворот, и несколько грошей приставленному солдату. Если же кто не хочет давать напрасно денег, того привезут в таможню, заставят ждать; станут осматривать, перебирать, марать и, не нашед ничего запрещенного, отпустят на все стороны.

За каждую игру карт положено штрафу сто талеров. Едва двухсот не заплатил один из наших земляков за то, что в дороге охотник был раскладывать большой пасьян.

Следственно, карты при въезде столь же опасны в Пруссии, как табак во Франции, кружева в Англии и водка в России.

Трактиры

Хороши и дешевы, во всех вседневные столы; за самый лучший шестьдесят копеек с человека. Кушанье грубо, но вкусно, много капусты, мяса и корней. Хозяин отвечает за пропажу из дома, когда живущий возьмет в услугу известного человека; счет издержек подается каждую неделю. Цена комнатам умеренная, исключая апреля и мая, месяцы смотров, в кои трактирщики берут, что хотят, и, грабя, вменяют в одолжение. Сперва сие досадно, а подумав, утешительно, что хотя и грабят, но не круглый год.

Второй допрос

Лишь только войдешь в трактире в комнату, то явится хозяин с бумагою, разграфленной так, как у нас пишут рапорты, ведомости и списки. Тут стоят следующие вопросы, на кои должно отвечать непременно, и я обыкновенно одно писывал:

вопросы:

ответы:

Откуда приехал? _____	С последней почты.
Зачем? _____	Так.
Долго ли пробудешь? _____	Пока скучится.
Военный ли человек? _____	Ношу мундир.
Имеет ли в Пруссии родню? _____	Может быть.

Сии письменные ответы идут к полицеймейстеру, который по ним и учреждает поиски, наблюдения и замечания.

Посетители

К приезжему тотчас явятся музыканты, земляки его солдаты, женщины с корзинами, парикмахеры, фейхтмейстер, италиянец Мерони, несколько слуг.

Единое средство от них избавиться есть то, кое я удачно всегда употреблял в Туле с мастеровыми, в Валдаях с девками и везде с нищими, — ничего не говорить.

Дворец

Громада простой, но почтенной архитектуры; с двух сторон площадь; комнаты велики, темны и были некогда богато убраны; примечания достойны рамы у зеркал и столы все из литого серебра, и хотя вышли изо вкуса, но всегда будут в цене. Во дворце есть зала, называемая Гименова; в ней бывает обручение принцесс королевской фамилии. Король, взяв невесту за руку, зажигает факел, в чем ему последуют предстоящие, и обходит залу вокруг при игрании музыки марша.

На угле дворца та комната, в коей король Фридрих Вильгельм I с малым обществом мнимых друзей курил табак и, отлагая величество сана своего, позволял вольность в обращении. В сей горнице и по сих пор тот же, кажется, самый дух, что во всех голландских шинках, турецких кофейных домах и европейских караульнях. Воображение мое сколько ни действовало, но кроме дыма ничего не представляло; ничто не понуждало остаться боле. Мысли обращались обратно к двери. Один взгляд удовлетворял любопытство. Оно родилось и исчезло в одно время. Но когда я был в Сардаме и взирал на смиренное жилище, кое могло поместить в себе Великого Петра, тогда воображение мое преобращало хижину в храм славы, где я мог видеть все деяния его, дивился им и дивился бы еще боле, когда б не был рожден в царствование Великой Екатерины.

Белая женщина

Молва об ней издавна существует и утверждает, что она является непременно всякий раз пред смертью кого-нибудь из царской фамилии. Некоторые сему смеются, иные сомневаются, а большая часть верит. Сие привидение живет в дворце; одета вся в белом. Я видел ее портрет, на коем платье походит на египетское. Она посещает многих, никому не вредит. В последнее ее явление при-

несла много прибыли хлебнице, над воротами дворца торгующей, которая ее видела и, рассказывая чудесные подробности, привлекала народ и распродала свои хлеба. Замечено то, что о явлении сей белой женщины заговорили после смерти покойного короля; отчего можно каждому заключить, что она не так исправна в своей должности и начинает лениться.

Знатные люди

В обхождении довольно учтивы, но внутренно горды породой; по большей части бедны; занимают места у двора и в статской службе; имеют в городе старинные дома и увеселительные на песке замки, где пользуются в летнее время воздухом и скукою. Штат самых богатых составлен из двух лакеев, скорохода, камердинера, кучера, повара, нескольких женщин и швейцара. Они знают наизусть все доводы о древности их рода, украшают комнаты портретами своих предков, вывешивают в рамках патенты, жалованные грамоты и письма от государей и владетельных князей. Великие охотники до лент, крестов и звезд; в случае невозможности достать орден, покупают каноники, чтоб носить признаки оных. Часто после смерти графов, баронов находятся ордена, подобные взаимному благоденствию принца острова Хио. Нередко дают пиры великолепные; а вседневно довольствуются умеренным кушаньем единственно для подкрепления жизни и гордости.

Кунсткамера

Она помещена в дворце, в самом верхнем этаже. Первая комната походит на переднюю русского дворянина, охотника до собак; в ней стоят набитые кабаны, олени, медведи и волки, истребленные в высочайшем присутствии Фридриха Вильгельма I.

Впрочем, сие собрание редкостей ничего редкого не заключает; оно составлено так, как и большая часть ему подобных, из моделей, медалей, ветхих платьев и машин одного рода с катериншармант. Тут, между прочим, показывает с удовольствием пристав железную шлифную пряжку, которую Фридрих Великий проглотил, быв пяти лет. Во всех церквах произведено было молебствие о спасении наследного принца. Но, к счастью и в утешение августейших родителей, причина их отчаяния обыкновенным

ходом и в обыкновенный час вышла наружу, сделалась редкостью и хранится в кунсткамере.

Еще тут же хранятся картины работы Фридриха Вильгельма I, и на них подписано, что он их писал, будучи одержим мучительной подагрой. Надпись доказывает, что король желал извинить свою работу, а живопись — сколь жестока была болезнь его.

Двор

Военный, следственно, не великолепный. К королю, когда он в Берлине, ездят на поклон поутру в воскресенье; а у королевы тот же день бывает ввечеру куртаг. Старинный обряд запрещает посланникам и всем принадлежащим дипломатическому корпусу обедать и ужинать с королевскою фамилиею; во исполнение чего, на куртагах, коль скоро гофмаршал объявит, что стол готов, то все посланники, из коих некоторые играют с королевою в лото, побегут вон. Принцы империи, генералы и полковники имеют лишь право быть за столом с королем и королевою.

Сверх большого двора есть несколько еще маленьких, как то:

Двор вдовствующей королевы,

—»— принца Фердинанда,

—»— принца Генриха,

—»— принцессы его.

Все сии дворы имеют свой штат, дворец и придворных. Зовут почти всякий день несколько человек ужинать и играть в лото. И так как сии собрания не совсем веселы, то скороходы с трудом налавливают назначенное от гофмаршала число гостей. Летом принцы и принцессы выезжают в загородные дома, и там, оставя этикет, мужчины вместо шпаг носят кортики, а дамы в жар ходят с зонтиками.

Экипажи

Кареты живут несколько веков от тихой езды и редкого употребления. Лошади вообще дурны и худы. Одна лишь королевская фамилия имеет право ездить цугом, с всячими по бокам кареты живыми пажами. Господа имеют впереди экипажа бегущего скорохода, ночью с зажженным факелом, а днем с толстой палкой. В Берлине на кареты моды не знают, и часто поколений шесть ездят в одной, получая ее в наследство движимым имением.

Наемные кареты ни от дождя, ни от ветра не укрывают. В Берлине легко можно заметить успехи каретного мастерства с начала изобретения его.

Кучера

Секут лошадей беспрестанно и временно давят людей. Они не кричат, чтобы береглись, и смеются страху находившихся в опасности. Иногда их и наказывают за переломление руки или ноги; но никогда не взыскивают, для чего они не кричали, чтоб посторонились; следственно, молчание сие апробовано полицией.

Один раз мой кучер раздавил было беременную женщину. Я его стал бранить. Он стал смеяться. Я его ударил; он пошел жаловаться, и полицеймейстер прислал мне сказать, чтоб я в удовлетворение кучера дал ему три талера. Заплата шесть, велел своему человеку дать ему оплеуху и, согнав, нанял другого с договором, чтоб он не колесовал встречающихся.

Придворные

Первый чин обер-камергер; прочие знатные чины в довольном уважении, но, так как и статские, не равняются с военными: был у двора обер-шталмейстер, а в армии майор. Признаки камергера в будни — две золотые пуговицы; в праздник — ключ. Они имеют право танцевать с принцессами. Чин прусского камергера не много больше датского, наравне с польским и в десять раз меньше российского. Город знает только тех, кои определены ко дворам и в белых перчатках водят и сводят принцесс по лестницам.

Ни один поручик не пойдет в камергеры. Из десяти титулярных камергеров девять пойдут в подпоручики.

Женщины их не любят, народ не уважает, и они в самых темных местах зверинца, удаляясь от общества людей и убегая от лягавых собак, предаются размышлениям о суетах мира сего.

Генералы

Стары, дряхлы, чуть живы, украшены сединами, заслугами и ранами; но верхом бодры и исполнены живости. Все служили в Семилетнюю войну и с тех пор говорят об ней повседневно; боготворят героя их, вождя и государя; круг их желаний ограничен, самолюбие каждого удовлет-

ворено чином и первенством в том месте, где он с полком; ни один из них не знает неги, не намерен идти в отставку, и смерть сама исключает их из военного списка; мало годятся начальствовать армиею, но все способны исполнять повеления другого.

Генерал-поручик имеет титул превосходительства, а генерал-майор должен ждать.

В Берлине были два брата Валдека, оба генерал-поручики и шефы полков. Для различия большого брата от меньшего называли одного старым, а другого молодым Валдеком, хотя сему последнему и было шестьдесят лет.

Штаб-офицеры

Персона важная, которую каждый солдат должен знать в лицо, дабы приступить к ружью при появлении его на горизонте. Вступя в сей чин, вся Пруссия узнает, сколько он велик и тушен. Достоинство сие наносит убыток поступившим в него; ибо майор должен иметь фарфоровую пивную кружку, такую же табакерку, пеньковую трубку, ситцевый халат и хлопушку бить мух.

Капитаны

Дослуживаются до сего чина с трудом, но потом живут с удовольствием, в изобилии. Чин сей есть главная цель всякого офицера; он получает роту и с нею состояние; пехотный капитан имеет в год до 2500 талеров, конный — 1500, и сей доход не отнимается у него до генерал-майорского чина. Он должен давать даром стол офицерам своей роты и со дня пожалования начинать толстеть. Кроме больных чахоткою, все капитаны прусской службы носят толстые брюхи. Сие не почитается за безобразие, а заслуживает название респектаблерман, то есть почтенный человек.

Офицер

Терпит лет тридцать холод и голод; получает шесть талеров в месяц и подкрепляет томную душу и слабое тело единою надеждою быть некогда капитаном, если Бог продлит его века. Заняты быв должностью с утра до вечера,

едва находят свободный час в воскресенье погулять в зверинце и выкурить на открытом воздухе трубку табаку. Платья другого, кроме мундира, не знают, не носят, да и делать не на что. Я многих знал и видал, кои, за неимением чулок, на босую ногу надевали щиблеты. В шесть часов всякий одет; в обществах не бывают, и изо всех девятнадцати полков, стоящих в Берлине, три или четыре офицера приглашаются на балы. В отпуск они не ездят оттого, что некуда, а притом должно объявить и важную причину, чтоб получить от короля отпуск. Многие в течение двадцати лет ни на один день не отлучались от должности и не считают сие знаком ревности к службе. Они почти все дворяне, воспитание имеют обыкновенно состоящее в познании своего языка, французского и несколько геометрии. Дни жизни их протекают на вахт-параде, учении и карауле. Разговоры касательны до ремесла, и они столь привыкли к старинным победам покойного короля, что, произведя и себя в герои, презирают без изъятия всех прочих служб офицеров; считают их своими учениками и подражателями. Смеются, почитая за самозванцев молодых русских майоров, французских полковников и английских офицеров. Между ними также есть первенство. Артиллерийский офицер почитает себя лучше гарнизонного, пехотный — артиллерийского, конный — пехотного; а над всеми берет жандармский кирасирский. Полк сей всегда стоит в Берлине, и в нем служат лучших фамилий молодые люди, из коих есть человека три богачей, то есть имеющих тысяч по пяти талеров доходу; у сих есть очень хорошие лошади, на коих они по воскресеньям увеселяют публику в зверинце, прыгая чрез лавки, заборы и прочее. Некоторые из сих жандармских офицеров вздумали проскакивать сквозь крылья действующей ветряной мельницы, и сие позорище привлекало множество зрителей. Но шеф их полка, генерал Притвиц, узнав о сем, запретил продолжать сумасшествие, служащее подражанием подвигу Дон-Кихота. Произвождение в чины до майоров делается по полкам. В мирное время многие офицеры бывают по десяти лет в их чинах. Я знал одного поручика, который уже двадцать лет был офицером, шесть лет сговорен и еще чрез шесть лет не надеялся быть произведенным в капитаны и в супруги; а от сего-то во всяком чине каждый желает смерти своего старшего, и я был свидетелем радости офицеров одного полка, когда они узнали, что у их майора сделался в желудке антонов огонь от гнилых устриц.

Мелендорф

Фельдмаршал и губернатор Берлинский, будучи еще поручиком, обратил на себя внимание Фридриха II; получил в течение Семилетней войны многие чины; на баталии при Торгау подполковником был главным орудием победы. В 1778 году командовал отдельным корпусом. Служа с пользою отечеству, заслужил уважение государя своего, преданность подчиненных и любовь соотчичей; ростом велик, сух; вид имеет почтенный и приятный, разговор простой, обхождение ловкое и, имея право на почтение, совсем не горд.

Академия

Установлена Великим Фридрихом, истинным покровителем наук. Академия берлинская славилась всегда членами своими и произведениями их. Я застал несколько из известных в ученом свете: Гернульи, Кастильоны, отец и сын, Формей, Лагранж были еще живы. Трогательно было первое заседание по смерти Фридриха, в день его рождения. Граф Герцберг, возвышенный им, первый министр иностранных дел и член Академии, читал, по ежегодному обыкновению, краткое описание внутреннего в государстве управления, заведений и исчисление излишних на подданных милостей. Воспоминание героя Пруссии, творца ее славы и отца народа, извлекло слезы из глаз министра, исполнителя воли королевской. Казалось, что первая слеза его, подобная электрической силе, подействовала и надо всеми зрителями; возблагодетельствованные подданные великим государем възрыдали о его кончине.

Восторг, сокрушение и слезы были нелицемерные. Достойное возмездие государей, о благе общем пекущихся! Любовь народа есть благоденствие, покой, слава, щит и вечный памятник их. Какой сооруженный монумент устоял несколько веков, не став жертвою времени? Но те, кои оплакивали Великого Фридриха, посеят чувства их в сердца детей своих; они перейдут из рода в род, и единое имя его производить будет в отдаленном потомстве восхищение, горесть, может быть и простительную зависть к предкам, жившим в столь славное царствование. Я уверен, что дух героя, столь достойно оплакиваемого, сравнивал сие жертвоприношение с лаврами, коими слава на земле увенчала мудрую главу его; те стоили жизни ста тысячам

народа и повергли в уныние целые государства, а тут единое напоминовение его добродетелей облило кровию сердца верных сынов отечества.

В том доме, где Академия имеет вверху свои заседания, в нижнем этаже конюшня жандармского полка. На фронте строения написано: «Apollini et Musis», то есть Аполлону и Музам. Некто прибавил et mulis, и вышло: «Аполлону, Музам и ослам». Из тридцати тогдашних членов Академии более половины обиделись сим дополнением и предлагали переменить дом, не хотя себя утешить тем, что осел хотя и есть скотина глупая, но весьма полезная.

За всякое заседание каждому члену выдает секретарь Академии по жетону, а в конце года дается за оные столько же талеров. Из сего можно заключить, что ум не дорог в Пруссии, но все-таки не даром.

После сего заседания показываемы были несколько подлинников сочинений покойного короля, писанных собственною его рукою. Тут заметил я многие ошибки в правописании. Их можно приписать или дурным правилам в науке французского языка, или желанию Великого Фридриха ввести новое правописание, состоящее в том, чтобы писать слова не по принятому обыкновению, а по выговору; для чего вместе: Il avait, ils avaient, aimer, faire писано везде: Il avé, ils avé, eme, fer и прочее. Но какая нужда, если кто не сделал себе правописания привычкою, затрудняться оным. Это дело переписчиков и издателей. Тот, кто мог написать столь сильно, живо и умно историю своего века и Семилетней войны, имел право ставить одну букву вместо другой и, обогащая историю, позволить себе, в качестве короля и писателя, презирать негодование педантов и студентов.

Верно, никому не пришло на ум, читая сочинения Ломоносова, Державина и Хераскова, стараться узнать, хорош ли их почерк, равно как быть сведущу и о том, что у Тюренья, Фридриха Великого и графа Румянцева шпаги были односторонние или трехгранные.

Собрания

Приехавший иностранный на первом собрании представляется своим министром всем значущим людям; и потом его зовут на обеды, на собрания и на балы, чаще или реже, смотря на его породу, чин, податливость играть в карты и охоту танцевать без причины до упаду.

Не должно русскому воображать найти в берлинских

домах царскому подобное великолепие гр. Шереметева, гр. Безбородка, Строганова. Праздники сих русских бояр служили бы эпохою Бранденбургской монархии, а вседневная их жизнь разорила бы в полгода первых богачей германской породы. Самые знатные дают обеды, балы и ужины для важных причин, как то: угостить королевскую фамилию, накормить знаменитого иностранца или повеселить город. Приглашения на обеды делаются недели за две или более до назначенного дня, дабы по отзывам знать заранее число гостей. Едят изрядно. Сервизы серебряные и по наследству доставшиеся; людей не много, вина хорошие. После обеда, поговоря с полчаса, все разъезжаются по домам. На балах собираются около 7 часов. Кавалеры дам приглашают на контраданцы гораздо прежде, особливо тех, кои почитаются лучшими в танцах и отличаются от других лицом или ловкостью. Танцуют немецкие и французские контраданцы. Ужин служит отдыхом. Бал продолжается часов до 3-х и 4-х утра; кончится алагреком, называемым в Берлине кераусом. В богатых домах пред разездом дается завтрак, под именем Réveillon, то есть будильника. Принцессы сами приглашают кавалеров чрез своих камергеров или фрейлин, и наряженный мужчина должен, оставя свою даму, стать против принцессы, сделал ей за честь поклон.

Хотя войска в Берлине около 17 000, но офицеров на балы к знатым приглашалось не более 7 человек. Тут отличаются наружностью гусары, которые в коротких сапожках, гремящих шпорах, привязав чистый на тот раз платок к пуговицам, наподобие гирлянды, вертят дам, колот их шпорами и усами и до окончания вальса содержат их в самом тесном и опасном положении. Под именем собрания, *assemblée*, разумеются те, кои, во время весенних маневров, бывают один раз в неделю у нескольких самых богатых господ, которые между собою разбирают дни. На сих собраниях бывают королевская фамилия, и без зову все знатные представленные ко двору иностранцы, и все штаб-офицеры с их женами и детьми, что разумеется под словом: *mit seiner ganzen Familie*, то есть с целою своею семьею. Собрания сии начинаются в 6 часов и продолжаются до 9. Ужину нет, а носят хлеб с маслом, холодные ломти мяса, конфекты и поят лимонадом и арциатом. Последствием собраний всегда бывают болезни, и жены объедаются и опиваются, а мужья требуют управы на людей, которые отбивают полковниц, подполковниц и майорш от подносов, на которые они кидаются для наполне-

ния желудков, карманов и рук. Ничто так на память не приводит гарпий в *Виргилиевой «Энеиде»*, кои съедали кушанья и загаживали после столы.

Еще есть для отборных обществ завтраки и полдники с танцами (*des déjeûners et des gouters dansants*). Одни начинаются в 12 часов утра, а другие в 4 пополудни и продолжаются часов пять.

Соединение гуляльщиков — трактиры, а особливо предпочитаемый всеми егерь, который, имея смотрение над зверинцем, поселился на конце оногo. К нему ездят по утрам завтракать все лучшие люди из Берлина; назначаются свидания и у любовников. Сад его приубран со вкусом, беседки и кабинеты из зелени укрывают от солнца и от глаз любопытных. Кофей его гуще обыкновенного и молоко без примеси. В прочих же трактирах, кроме нескольких дорожек, усаженных смородиной и яблонями, ничего нет; но во всех посредине возвышение из выкопанной вокруг загорода земли. Сия горка повсюду носит название Парнасса и занимается предпочтительней других мест семьями гуляльщиков. На каждой увидим толстого штаб-офицера, сидящего рядом с неподвижною своею супругою за столом, на коем стоит прибор глиняный с кофейною водою; муж курит трубку и исполняет власть родительскую над кучею детей, из которых мальчишки, подражая солдатам, ворочают палками, как ружьем, а девочки взапуски учатся ходить прямо и приседать, не останавливаясь. Желание занять Парнасс — весьма удаленное от намерения воспользоваться вдохновением поэтического духа и, настроя лиру, воспеть стихами оду. Но прусские офицеры до лиры не касаются и голоса свои употребляют на оглушение полков, батальонов и рот; и я уверен, что если б кто из сих седых воинов и вздумал призвать к себе Аполлона в помощь, то начал бы свое приглашение словом: слушай! Желаящий проникнуть в глубину побуждений человеческих захочет, верно, найти, почему предпочтительнее Парнасс другому в саду месту, для чего сидеть на возвышении, а не на ровном месте? Для того, что всякому хочется быть выше других и одним или другим образом, надолго или накоротко, подняться вверх. В сем скрывается пружина всех деяний человеческих, цель нашей жизни, бесчеловечное самолюбие, удостоенное названием желанья отличиться — от кого же? — от себе подобных, в сем смысле заключая высокое мнение о себе и унижительное о других. Рассуждая некогда о самолюбии, нашел я, что страх и бедность производят то же

самое действие по разным причинам: самолюбие возвышает людей в почести, в чины, в богатство, в знатность всякого рода; страх загоняет людей от воров, от сыщиков, от заимодавцев на верх высоких дерев; бедность, дабы найти жилище и укрыться от непогоды и от стыда, возводит людей в верхние самые домов жилища, даже и на чердаки. И все сии роды людей в разных положениях, кажется, ничем между собою не похожие, лишенные спокойствия, одни душевного, другие телесного, объемлемы равно одним страхом.

Несмотря на стечение и движение народа, гулянья берлинские мало внушают веселья. Везде проскакивает наклонность к чинам, все подобно процессии. Идет ли компания или семья, походит на возвращение с похорон милого человека; увидишь ли одного мужчину, кажется, что он гуляет по приказанию докторскому. Тела в движении, но тела бездушные. Кажется, что все между собою в ссоре, что все переговорено; или были на Вавилонском столпотворении. А если где-нибудь и услышишь, что захохочут, то наверно сбила человека лошадь, переехала коляска через женщину, кого ударил офицер палкою или выученная лягавая собака сорвала, по приказанию хозяина, с кого-нибудь шляпу. Немцы смеются в то время, как мы кричим караул.

Театр

В Берлине два театра: один называется Оперою, другой Немецкою комедиею. Оперы я уже не застал, потому что за недостатком певцов она не была играна. Но мне сказывали, что за несколько лет Великий Фридрих, потеряв с летами вкус к музыке, поставил себе не выписывать более отличных певцов.

На большой площади, называемой Halle des Pandarmes¹, Великий Фридрих построил два здания, из коих одно отдал под реформатскую кирку, а другое — актерам. В этом-то театре и играют всякий день, попеременно трагедии, комедии и оперы. По восшествии на престол Фридриха-Вильгельма театр немецкий пришел в моду, оттого что король любил свой природный язык и часто посещал и сам театр. Декорации и платья весьма стары и бедны.

¹ Пандармский зал (фр.).

Знающий хорошо немецкий язык найдет в драматических сочинениях более ума, простоты, народной веселости и живого представления обычаев, чем знания нравов людских и искусства действовать страстями. Модный автор в мое время был Шиллер, сочинитель трагедий «Дон Карлос» и «Разбойники». Совершенно национальных пьес весьма на немецком театре мало. Не хотя, может быть из самолюбия, предавать посмеянию свои пороки и своих земляков, авторы предпочитают занимать их у других земель. В трагедии подражают много Шекспиру и употребляют самые сильные способы для произведения жалости, ужаса и смеха в зрителях: в трагедиях — погребения, повторяемые на сцене убийства, конвульсии при последнем издыхании, мертвецы, привидения; а в комедии — пьяницы, уроды, побои, брань, кривлянья. Но прежде, чем чувствовать красоты немецких комедий, должно привыкнуть к образу их жизни и к обычаям, а без того весьма покажутся смешными и странными любовники в виде студентов, любовницы как кухарки, частое на театре кушанье, курение табаку, пьянство, кровати, колпаки, халаты и прочее.

Игра актеров имеет много выражения в пантомиме и движениях тела; жесты им совсем не обычайны. Лучший их трагический актер Флек имеет прекрасную фигуру, голос и лицо. Актрис в мое время не было, и дочь старинного директора театра Деблина, старая и толстая девка, походила более на мамку, чем на молодую принцессу.

Партер всегда наполнен офицерами, которые из праздности мешают иногда своими громкими разговорами слышать актеров. Вообще публика берлинская не отличается вкусом к театру: она сохранила еще остатки происхождения своего от древних германцев, которые столь много озабочивали римлян и, занимаясь единственно оружием, воевали против людей, наук и художеств. Чувствительность, даже и в женщинах, поставляется в порок; и я помню, когда в последней сцене трагедии «Марии Стюарт», коей отрублена была глава, для лучшего представления сей несчастной кончины за кулисами кидали что-то тяжелое на пол, подражая звуку упавшей на пол головы, одна бывшая в партере молодая женщина упала в обморок, то, исключая ее знакомых, прочие причитали ей сие в жеманство, и один закуренный кавалерийский офицер, с лесными бакенбардами, говорил смеючись: «Страшно, эдакая кокетка!» Если кто из действующих лиц, по содержанию играемой

пиесы, лишился родственника, то наверно в трауре, иногда в плерезах и с распущенными волосами. Владетельный принц, министр, генерал, в орденах и в звездах; утром все старики в шаффраках и туфлях. А в трагедии они не во всей точности следуют обычаям и одеянию представляемых народов, и гишпанское платье пригожается на людей всех четырех частей света. Актеры вообще наклонны, хоть в ролях дикарей, не имеющих одежды, сохранить национальные две части костюма — большие сапоги и длинную косу.

Привлекающая всю публику пиеса есть «Граф Валронг, или Субординация», что доказывает, сколь сильно действует военный устав в Берлине.

Маневры

С окончания Семилетней войны, доказавшей Великому Фридриху, что он одолжен был жизнью, государством и славою единственно прочности своего войска, сей великий монарх установил ежегодно в разных местах собрания всех своих войск таким образом, что он мог их все сам обозревать и замечать как успехи, усердие и искусство, так и нерадение и неспособности начальников. Для лучшего приготовления не бывших на войне офицеров во всех сих сборных местах производились разные эволюции, что и названо маневрами. Во всяком месте король бывал по 3 дня. В первый осматривал все войска порознь, осведомляясь у них самих о продовольствовании; во второй производил учение каждой команде порознь; а в третий, назнача сам накануне маневр, производил оный в своем присутствии. Из сих мест собраний главное был Берлин, по причине большого количества войска и удобства для иностранцев присутствовать на маневрах. Фридрих Великий располагал так своим временем, что, не продерживая более 4 дней собранных в разных местах войск, успевал везде, брав только 12 лошадей для себя и своей свиты. Офицеры иностранные должны были испрашивать позволение присутствовать на сих маневрах. Сие делалось чрез письмо, на кое король всегда присылывал ответ с милостивым уважением на просьбу. Для военного и статского и любопытного человека не может быть чрезвычайно зрелища, как маневры. Я не застал лучшего — особы Великого Фридриха, творца сей победоносной армии; но наследник, следуя по стопам великого своего предшественника, по-

читал святым долг присутствовать на сих военных учениях. Нельзя себе представить величественнее зрелища 30 тыс. человек, живых, обращенных в машины, двигающихся по сигналам. Молчание и тишина, шум и треск от орудий, пыль, дым, огонь, движение, скачки, топот лошадей — истинное изображение сражения, преставление света. Тут множество конных фельдъегерей сохраняют порядок, не допуская зрителей быть замешанным в движение военных, и редко бывают другие происшествия, кроме тех, коим воспрепятствовать невозможно, как то: от испуганных лошадей, от глупости кучеров и прочее. Ни одни не проходят маневры без приключения с каким-нибудь французским офицером. Вообще они дурные ездоки, но самолюбивее, живее и любопытнее прочих. Лошади у всех иностранных наемные и большею частью дурные. Гусары же прусские стараются, когда делают рассыпные атаки, захватить француза, испугать лошадь, сбить его долой. Все сие исполняется во мгновение ока, и бедный француз, менее сбитый, чем испуганный и пристыженный, браня немецкую нацию, удивляется всегда крепости своей в седле.

После маневра все полки и команды проходят парадным маршем мимо короля, и в последний день раздается малое число награждений генералам и батальонным командирам, замеченным в особливо исправности. Сим поддерживается усердие отличить себя — машина военная, и старый воин надеется столько же и на мир, как и на войну, выдавая за философию и человеколюбие отвращение к кровопролитию и лаврам.

Невероятно, какое необычайное делается движение в Берлине во время сих маневров. Утром 30 000 человек войска, половина города и сотни иностранцев, выходят из Берлина и возвращаются обратно. Потом везде званые обеды, гулянье в парке и в окрестностях города; ввечеру балы; суета иностранных офицеров расспрашивать, узнавать, доставлять планы, мемориалы. В день последнего маневра многие солдаты ночуют за 30 верст от Берлина, потому что их тотчас отпускают по домам на 10 месяцев. Привычка делает то, что старые прусские офицеры, служившие в Семилетнюю войну, почитают ежегодные маневры за кампанию, придают всему важность; иные обходятся дурно с женами, воображая у себя дома, что они стоят на квартире; другие, садясь на лошадь, чтоб стрелять холостыми патронами, прощаются с детьми.

Обыкновенно при наступлении маневров пишутся духовные завещания, то есть распределение благоприобретенного движимого имущества, как то: халата, трубки, старой лошади и хлопушки, убивающей мух.

Меня уверяли, что один раз на бале побранились два генерала за то, что следствием утреннего маневра один другого взял в полон и удивился, увидя его при шпаге и на бале вместе с собой.

Ничего почтеннее быть не может, как г. Мелендорф в ту минуту, когда он, при начатии маневров, собирает вокруг себя подчиненных ему начальников и дает им свои повеления; оттого ли, что я вообразил видеть в Мелендорфе подражание Фридриху, или и самые Мелендорфа дела заслуживали отменное уважение, но я всегда в сих приказаниях, одушевленных видом и подкрепленных победоносною рукою, казалось, будто слышал и глас победы, забывая, что приказать и исполнить суть две вещи разные.

На сих маневрах примечания достойно подозрение Великого Фридриха. Позволя быть на маневрах офицерам всех наций, он никак не хотел, чтоб были цесарские, и для сего от полиции всегда осведомлялись по домам, нет ли какого-нибудь скрытого или под чужим именем австрийца. Непонятно, для чего сей великий муж хотел сделать тайну из публичного учения, зная, что всем маневрам делаются планы и что они соделываются известными.

На потсдамских маневрах наследный принц был в своем месте, то есть командовал взводом, быв штабс-капитан в первом гвардейском батальоне. Какое одобрение молодым людям! С каким жаром всякий из них должен исполнять свою должность, имея сверстником в чине и соперником в ремесле того, кто со временем будет его государь.

Сердце мое столь было в восхищении, что не помню, снял ли я шляпу пред принцем. Но он, быв занят своим делом, вероятно, сего и не приметил. Обратясь тотчас мыслию к преобразителю великого и славного отечества моего, не мог понять, как могли найтись злодеи, восставшие против Петра Великого, того государя, который, мысля единственно о славе России и клоня к тому все свои мудрые намерения, для поощрения военной науки был сам

барабанщиком; для построения флота был плотником; для спасения погибающих подданных не щадил свою жизнь.

Пикники

Ничего лучше не может быть выдуманно, как пикники, для соединения многих людей вместе для веселия не убыточного. Трудно отыскать, когда сии приятные собрания восприяли свое начало. Оно, верно, теряется в пыли и потемках древних веков, в кои все почти люди боятся заглядывать, опасаясь, чтоб не замараться и обо что-нибудь в темноте не убится. Одна лишь почтенная и скучная старая добродетель, опасаясь, чтоб не задохнуться и вовсе с своим удушьем, отправляет должность швейцара у ворот здания сего мира; и несмотря, что рассудок часто и строго ее наказывает за самовольные отлучки, но по слабости лет и по любопытству, сродному женскому полу, часто показывается в мире в свите всякого рода людей без разбора; но нигде не уживается, а всегда возвращается в виде распутной женщины, ободранная, обиженная и прогнанная. Никто не имеет в ней нужды надолго, а всякий хочет, чтоб она при нем была. Сия бедная, почтенная словом, а не делом, добродетель призывается столько же часто, сколько и прогоняется, только б ее увидели; и если она живет, то живет на содержании многих пороков и страстей, как то: гордости, упрямства, хитрости, притворства, которые, завладев насильно ея правами, дают кой-что за доверенность делать все вместо ея; а она до того доведена, что ни в чем спорить и прекословить не будет.

Настоящие пикники те, на кои всякий, в назначенный час и место, принесет свое кушанье и питье. Но от затруднения в выборе, от недостатка способов, а более для избежания голода, сии пикники рушились. Затейливый немец, вместо того чтоб принести питательное простое блюдо, на последние деньги заказывает пирог, в который сажает мальчика с приготовленною речью, или воробьев, деревянного гуся, каменные фрукты; а вместо вина бутылку, из коей забьет огненный фонтан, коль скоро откупорится, и прочее. Всем сим шуткам смеются самые короткие и близкая родня; прочие же, говоря сквозь зубы, что выдумка хороша, внемлют гласу голода, из пустоты желудка исходящему.

Для прекращения всех неудобств от сборных блюд и для сохранения на пользу остроты выдумок ума теперь, когда кто затеет пикник, то, собрав общество знакомых или знакомиться желающих людей, избирает место, обыкновенно за городом поблизости, заказывает там обед или ужин, и компания, съехавшись, пьет, ест, веселится; являются музыканты; все танцуют. В конце ужина распорядитель собирает с каждого кавалера следуемое за угощение. Дамы ничего не платят. На самых лучших пикниках больше не приходится 1 рубля с персоны. Если кто есть в компании побогаче, то подбивает на свои деньги вином; и я помню, сколько на несколько дней я наделал шуму тем, что, быв на пикнике, подбивал спаржою, пуншем и нанял, по причине сильного дождя, 8 фиакров развести по домам тех, у коих не было экипажей.

Нравственность

Весьма легко всякому человеку с здравым рассудком и природным расположением ума к замечанию получить в скором времени истинное понятие о нравах народных; и сколь трудно узнать совершенно нравственность каждого, столь легко познать общую. Для сего должно замечать все и быть без предубеждения, которое почесть можно моральным параличом.

Несправедливо бы было заключать о жестокосердии пруссаков по тому, что в Берлин приглашают на экзекуцию, как на гулянье; что кучера радуются, если, проехав с каретою близко пешехода, испугают его; и что смеются над теми женщинами, кои в театре прослезиваются в трогательных явлениях. Но нельзя, однако же, определительно основать чувствительность прусскую. Есть причина во всех землях, уничтожающая добрые движения души и сердца, — бедность. Она еще больше над людскими деяниями имеет влияния, чем холод. Кто из нас в 25 градусов мороза, тепло одетый и с озябшим лишь одним лицом, остановится для подачи милостыни. От беспрестанного желания соделаться из бедного богатым проистекает равнодушие к несчастным бедным. Всякое сильное напряжение ума, волнение страсти, печальные от зависти размышления наполняют сердце нечувствительностью, обращение грубостию, ум колкостью, язык дерзостию. Вот положение большей части берлинцев. Присовокупите к сему самолюбие их военных, надменность их дворянства, неприят-

ное положение презренных мещан — и картина нравственности берлинской само собою начертается. Доказательство, что веселье у пруссаков не есть вещь общественная, есть то, что те, кои хотят забавляться, стараются скрыться и потаенно соглашаются где-нибудь отужинать или потанцевать. Несмотря на наружную важность, внутренно всякий почти берлинец не откажется попить и поговорить откровенно — качество, сродное всем пьяным немцам. Обходясь весьма коротко со многими разных состояний жителями в Берлине, не заметил я в них ни отменного уважения к добродетели, ни презрения к пороку. Все делается по привычке и по размышлению. Время заглаживает, как и везде, преступления, пороки, вины и мерзости. Знатное имя и деньги много действуют в Берлине, и публика скорее простит генералу посрамительный проигрыш 10 батальев, министру предательство отечества, барону все пороки, чем бракосочетание именитого человека с неизвестною добродетельною девушкою.

Развратность женщин весьма ощутительна. Быв осуждены жить в таком месте, где мужчины охотнее употребляют силу, чем нежность, дабы им понравиться, оне предпочитают иностранных своим землякам. Оне чувствительны к любезности иностранных, к богатству и к чванству, большие охотницы до романов и избирают, для наслаждения воспламененных воображением чувств, предпочтительнее другим англичан, имея в виду Памелу, Клариссу, Софью Вестерн и прочих, жертвуя подражанию сих известных в любви героинь честию, правилами, стройностию тела и легкостию, и спокойствием остатка жизни. Кокетство у берлинских женщин простое, и как они не любят терять времени попустому, то роман их и кончится при самом введении. У знатного дворянства женитьбы делают по расчетам, у офицерства — по нужде, а у мещанства — по необходимости иметь хозяйку в доме для смотрения, подобно как собаку для воров, кошку для мышей. Связей дружеских трудно приметить, оттого, что в роде знатных их обыкновенно не бывает, а в прочих если оне и существуют, то за недостатком случаев остаются безгласными. Связи у офицеров, как у молодежи, основаны обыкновенно на развратности, у купцов — на интересе, а у женщин — на союзах вредить от зависти или лицеия. У двора, в купечестве, а особливо у французских колонистов, обращение вообще учтивое, приятное; у военных несколько грубое от надменности; гораздо

более простоты, чем обману и хитрости. Нет ни русского гостеприимства, ни французского приветствия, ни английской гордости. Но что ни город, то норы, и говоря о Берлине как о человеке, можно в нашем смысле сказать, что он добрый мужик.

Потсдам

Расстояние от Берлина 21 верста. Дорога идет чрез лес по песку, коим окружен Потсдам. И несмотря на возвышения, заливы и множество разных предметов, Потсдам, кроме слепых, весьма печальное для всех место. Покойный король, основав место своего пребывания в Потсдаме, украсил его многими домами с великолепными фасадами. Но город без торговли, без роскоши не может процветать. Кроме войск нет жителей в Потсдаме. Наружность его — великолепная декорация, внутренность — казармы. Приходный иностранец должен думать, что Потсдам завоеван, жители истреблены и солдаты заменили оных. Я видел дом великолепный, с палладевым фасадом; из окон висели и сохнули чулки и белье солдатское. Нет во всем городе более трех экипажей, и, пробыв в нем несколько дней, остается лишь в памяти грустное напоминание, совокупляющее вместе разоренные огнем и мечом города, землетрясения, разрушившие Лиссабон, Мессину, Калабрию, необитаемые песчаные степи африканские. Если б у меня не осталось в памяти дома, где на королевском содержании воспитываются 300 солдатских детей, то бы, принимая город Потсдам за план, с трудом уверить бы мог себя, что он существует.

Среди города, у пивовара, король Фридрих Вильгельм, быв наследным принцем, нанимал этаж за 30 талеров и жил в оном. На дворе, в маленьком садике есть беседка, в коей он узнал о смерти своего деда.

Сан-Суси

Название сие дано столь же несправедливо, как на проезжей дороге стоящим домам — мой покой; дачам, где хозяин ни дня, ни ночи душевно не имеет покоя — уединение; пребыванию злобы и зависти — сельское благополучие и тому подобные. Могло ли быть без заботы пребывание великого государя, который посвятил все часы своей жизни на управление народом, от Царя Царей ему вверенным, поддерживал славу свою и подпорою победо-

носной армии сохранял равновесие политической системы. Сан-Суси по себе не что иное, как загородный дом холостого богатого господина. Охотники до картин и до оранжерей уделяли бы несколько часов на осмотрение сего места. Но, служа слишком 20 лет уединением великому коронованному мужу, обращает на себя внимание мудрого и глупца. Один ищет дух, наполнивший Европу своею славою; а другой дивится, как она вмещалась в столь малое создание. Для умного, чувствительного, пылкого и добродетельного, Сан-Суси то же самое, что на Васильевском острове дом Петра Великого, Монплеизир в Петергофе. Я никогда об одном из сих государей не помышлял, чтоб другой не представился с своими великими делами. Обоих почитаю, но боготворю Петра, истинно великого во веки веков. Он, с помощью Божию, вложил ум и душу в народ свой, воззвал его из пучины невежества на высоту славы и первенства, свершил многое, но оставил еще больше оканчивать преемникам своего престола. Я сержусь на короля прусского за всех убиенных россиян в Семилетнюю войну. Мы оба правы; он защищал престол свой, а я сокрушаюсь о кончине соотчичей своих.

Дом в Сан-Суси столь мал, что весь состоит из 7 комнат: передняя, галерея, столовая, концертная, она же и приемная, и кабинет, спальня и 2 маленькие комнаты, где стоят шкафы с книгами. Вот в чем жил не тесно Великий Фридрих. Такой дом едва ли теперь может быть вместителен русскому дворянину, имеющему 10 тысяч дохода. Покойный король охотник был до статуй и до картин; не быв знатоком, хотел их иметь, накупил и был обманут. Между статуй замечательны: медный Антиноус, настоящий древний, и мраморный Меркурий, работы славного Пигаля, а между картинами Рембрандтов Моисей, разбивающий скрижали Завета.

Вид из Сан-Суси мог бы быть приятен, если б искусство могло примениться в природу. Оранжереи приделаны в несколько ярусов к горе, и тут росло множество самых лучших и редких плодов, до коих король был охотник и кои он по выбору людей посылал им в гостинцы и в знак своего благоволения. По другую сторону сада большой дворец, стоящий пустой. Он называется новый Сан-Суси. В нем также много картин. С начала его построения, вскоре по окончании Семилетней войны, король собирал в него на несколько времени всю свою родню, давал праздники, и когда ему праздники и родня начинали скучать, то он уезжал в маленький свой дом, и гости, за ним вслед,

разъезжались по домам. Я мало смотрел строения, сады и украшения Сан-Суси; я все как будто ожидал встретить где-нибудь в оном Великого Фридриха. Но я приехал поздно; видел его мертвого — сидящего и в гробу. Вечная ему память! Я был четыре раза в Сан-Суси и всякий раз, возвращаясь из оного тихими шагами, оглядывался назад, удаляясь с грустью, как будто от места пребывания обожаемого предмета.

В Сан-Суси в саду есть кладбище любимых королевских собак. Над каждою мраморная доска с надписью.

Тельбургова картина

Картина сия, величиною четверти в три, представляет ту минуту, в которую гр. Горн арестован дюком Альбою, судим и осужден на смерть. История его и все современники свидетельствуют, что сей достойный лучшей участи вельможа занимался игрою в то самое время, когда пришли за ним вести его на место казни. Он просил начальника дозволить ему доиграть партию, занялся ею, окончил и пошел окончить жизнь свою.

Сию-то минуту изобразил сверхъестественно живописец. Наперед сидят в белом платье гр. Горн и играющий с ним; подле два зрителя и начальник стражи, за осужденною жертвою пришедший; вдали у дверей толпа вооруженных людей. Граф Горн, преданный весь игре, нерешимо наносит руку на пешку и показывает выражением лица, что сей удар будет решительный к его выигрышу. Играющий с ним взирает на него с видом сокрушения, удивления и восхищения; живо кажется, что он боится шашки, которой Горн ступить хочет, дабы отсрочить еще, хоть несколько, минуту конца партии и его жизни. Два зрителя смотрят на чудное сие явление с глазами, слез наполненными; начальник стражи — в удивлении. Граф Горн хочет выиграть партию, а те все желают, чтоб он играл несколько дней, годов — до конца жизни. Ум живописца виден и в том, что вооруженный народ отдален и в тени: они не могли бы постигнуть великодушие Горново, не могли бы скорбеть, — о, нет, дивиться ему. Сколько подобных сим людей, коим вечно должно бы пребывать в темноте и коих напрасно освещает солнце своими блестящими лучами!

Я четыре раза был в Сан-Суси, и с трудом отходил от картины Тельбурговой, и всякий раз, навеки прощаясь с гр. Горном, находил в его спокойствии долг почитать добродетельную душу и геройственный дух его. Изображе-

ние его впечатлелось в памяти и в сердце моем, и я могу всякий раз столько же легко его себе представить, как вид милых мне, благодетеля, друга верного. Достоин Горн столь великого живописца: он воскрешает его на память людскую после двух веков забвения.

Когда бы мой несчастный брат, обретший смерть в 18 лет на водах финских, имел свидетелем своей кончины Тельбурга, то бы и он соделался любви достойным соотчикам своим чувствами усердия и любви к отечеству, за кое жаждал сразиться. Но имя его, храбрость и добродетели забыты в суетливом свете. Один я, лишась в брате друга, равно буду любить, почитать и оплакивать его.

Езда в Сан-Суси

Я жил в доме у швейцара. Один из его земляков, доверенная особа Фридриха Вильгельма, прислан был в Берлин к генералу Мелендорфу с известием о кончине короля и о вступлении наследника на престол. Исполнив препоручение, от короля ему данное, зашел к моему хозяину и, выпив с горя и с радости по бутылке вина, рассказывал многие подробности о Великом Фридрихе. За 20 часов до его кончины он встал, по обыкновению, призвал секретарей, выслушал дела, приказал, что отвечать, и в ожидании их возвращения почувствовал слабость, упал в обморок и перестал царствовать. Его положили в постелю. Дух стал заниматься, и последние слова, изшедшие из уст его, были к лейб-гусару, за ним ходившему, который хотел уложить ноги его: «Оставь, теперь уже все равно».

Находившиеся тут министр Герцберг и генерал-адъютант гр. Герц послали тотчас к наследнику, который приказал извещать себя всякие 10 минут и в полночь, изнурен был беспокойством и печалью, одетый, лег в беседке и заснул.

Между тем, слабые остатки жизни Великого Фридриха мало-помалу исчезали. Дух его, оживляя престарелое тело, с трудом расставался с миром, наполненным его славой и делами. В час по полуночи испустил последнее дыхание, и великая душа сего героя, наряду с прочими, вознеслась пред суд Всевышнего. Целый час предстоящие, от ужаса и сокрушения, не могли верить, чтоб государь их не был еще в живых; но видя тело бездушное и неподвижно закрытые те глаза, кои все видели, решились уведомить Фридриха Вильгельма, что дядя перестал быть королем, а он — наследник. Известие сие в несколько минут дошло до места

его пребывания в Потсдам. Швейцар, о коем я говорил, вошел в беседку, в коей он заснул, с трудом мог его разбудить, говоря громко: «Ваше Величество, король скончался». Фридрих Вильгельм, сказав: «Наконец он умер», — встал, сел на лошадь и поскакал в Сан-Суси. Вошел в ту комнату, где было одно лишь бездыханное тело его предместника, поцеловал его руку и залился слезами.

Швейцар возвращался в Сан-Суси, и мне пришло вдруг на мысль туда же с ним ехать. Он сперва нашел было причину мне отказать, как иностранцу. Но, согласясь со мною, что в подобном происшествии от общего волнения никто меня и не заметит, протянул руку и, милостиво посадив с собою в коляску, велел сколь возможно скорее везти в Потсдам; и мы, переменяв на половине дороги лошадей, переехали 20 верст в 2 часа и 30 минут — вещь в Пруссии непостижимая и возможная единственно при смерти королей, при набеге неприятелей или с закусившими удила лошадьми.

На дороге все осталось в тишине. Крестьяне работали, дети в селениях играли, скотина ходила спокойно в поле. Что было более Великого Фридриха на свете? Бытие его пресеклось, но ни мало вокруг него не нарушило порядка дневного. Сколь мало существо человека! Землетрясение, гром, дождь, вихрь приводят все в беспорядок, а смерть Великого Фридриха ничего не расстроила.

Мы приехали прямо к Сан-Суси. Первое необыкновенное зрелище были часовые, у подъезда и у первых дверей стоящие. Сие чрезвычайно, потому что во всю жизнь королевскую у него не было днем ни единого часового, а по прибытии зари в Потсдам, в 10 часу, с главного караула отряжался капрал с 4 рядовыми, кои, сменяясь по одному человеку, ставали на часах у дверей от саду, не для безопасности, а для соблюдения тишины и доставления покоя трудящемуся весь день их государю. Прошед две комнаты, вошли мы в спальню. Я с почтением обратил невольно глаза на альков, в коем стояла кровать, полагая, что тут лежало тело Великого Фридриха. Но в самое то же время увидел нечто похожее на человека, сидящего в креслах и покрытого синим плащом. Тут холодный пот покрыл мое лицо, не от страха, потому что я мертвых до сих пор не боюсь, а от пронесшегося мгновенно размышления, что тот, кто был столь достойно велик, преобращен в ничто и сокрыт от глаз людских, яко предмет обезображенный. Никогда бы я не имел духу просить, чтоб его открыли, дабы взглянуть хоть раз, и то в первый и последний, на

почтенного мертвеца; но швейцар, мой товарищ, обратясь к гусару, коего мы застали тут в комнате свое платье надевающего, спросил: «Можно посмотреть покойника?» — «Для чего нет? — отвечал бесчувственный слуга. — Я его всем показываю». И за сим словом, потянув плащ, открыл нам лицо и корпус Великого Фридриха. Тело мое, повинувшись чувству души, уклонясь по земли, отдало последний долг сему великому мужу. Я, на него устремясь, спешил смотреть, не помню, долго или коротко; но, увидя, его до сих пор еще не забыл. Волосы его, довольно густые, были все белые; лицо осталось совершенно такое, как изображается на всех портретах; на одной стороне рта губы немного крепко были сжаты, натурально, или, может быть, от тиснения при снятии с лица формы. Спокойствие, величество и геройство остались в чертах лица мертвого Фридриха. Он казался быть во сне; но жизнь его останется вечно наяву. Глаза, коими он заставлял себя любить и бояться, коими он выведывал истину и открывал тайну в глубине сердец, глаза, коих быстроты ни один взгляд сносить не мог, глаза сии были закрыты, и луч гения не сиял из них более. Неподвижен, преисполнен жалости и удивления, я все смотрел на мертвого героя, все чувствовал, быв горестно тронут и раздражен, огорчен тем, что не застал его в живых, не узнал взгляда его и не слышал голоса; озлоблен вновь, что гнусному служителю дала смерть право показывать героя. Не застав Великого Фридриха в живых, я рад был смотреть на мертвого час, день, неделю. Сколько трудов, издержек, домогательств, дабы увидеть человека случайного, достопамятную бумагу, место славного сражения, махину, модель! А я наполнял свои чувства зрелищем редкого государя, совершеннейшего из людей; но вдруг гусар закрыл Великого Фридриха опять плащом и сим, яко завесом смерти, сокрыл его от глаз моих навеки.

Пришед в себя, употребил я оставшееся время на рассмотрение всего, что находилось в комнатах, в коих постиг смертный час героя европейского. На столе в зале лежали 3 книги — Цицероновы речи на латинском и французском языках, Сократов разговор о бессмертии души и маленькое на французском языке неизвестное сочинение под заглавием «Последние часы монарха и земледельца». Может быть, при конце жизни красноречие Цицероново разгоняло тоску мудрого страдальца. Если Сократ не уверил его в бессмертии души, то по крайней мере сам он не мог иметь сомнения насчет своей славы, и в сравнении при конце

жизни государя с земледельцем имел он, может быть, утешение. Он без страха ждал смерти, и она, повинуясь определению всевышнему, пресекла жизнь Великого Фридриха в одно мгновение ока с тысячами недостойных быть, неизвестных людей. Пол в спальне обит зеленым сукном, которое было старо и все в пятнах, загаженное тремя собаками, кои всегда при короле бывали. В приемной между двух окон стоял стол, на коем король обыкновенно писывал; на нем лежало множество перьев, из коих я одно взял с собою и берег, как вещь редкую, полагая, что оно бывало в руках, умеющих столь хорошо править государством. На столе стоял портрет без рамы императора Иосифа, а король, любя и уважая его, говаривал: «Этого молодого человека не должно терять из виду». Занавески у окон зеленые, штофные, совсем были замазаны чернилами, от того, что король обтирал об них перья. Я ничего не говорю здесь о его гардеробе: он почти весь был на нем. Не было человека беспечнее и меньше пекущегося о чистоте, как Великий Фридрих. Когда ему докладывали, что не было у него рубашки, он говаривал: «Велите сшить 13 дюжин». Мундир нашивал до износу и всегда, видя, что он уже в дырах и в пятнах, с огорчением расставался с ним.

Швейцар пригласил меня ехать в Потсдам, где он имел исполнить некоторые препоручения. Я там сидел за столом, где обедал¹... Возвратился в Берлин, и все видел безутешно пред собою мертвого Фридриха, и думал опять видеть его пред собою, когда, возвратясь чрез два года в Сан-Суси, нашел другого короля и других людей.

Истинные и притворные охотники до древностей говорят тысячи слов и пишут сотни тяжелых книг для обнаружения и выражения их отчаяния о разрушении временем и невежеством памятников древних веков. Они сокрушаются о вещах и людях, единственно им известных по преданию, и, принимая участие в великих людях и делах, стараются дать и о себе высокое мнение и обратитъ людское внимание. А я в себе и сам для себя сожалел о смерти Великого Фридриха; я желал, чтоб он, как и дела его, был бессмертен. Молодой воин может взять себе в пример графа Румянцева, князя Суворова; стихотворец — Ломоносова, Хераскова, Державина; государь может взять в пример того, в коем зависть и хула нашли одне лишь добродетели.

¹ В рукописи неразборчиво.

Присяга

Сей залог верности беспредельной народа к государю — источнику милостей к верноподданым, основание благоденствия, почитается первым долгом, первым жертвоприношением государю, на трон восшедшему. Здесь сей столь важный обет умов производится слишком скоро.

Скорая присяга новому государю нужна в Пруссии потому, что треть войска составлена из вербованных и силою взятых: то они и приобретают паки свободу — скорее идти на большие дороги, чем возвратиться в родительские дома.

Полки были собраны, заключили присягу. Я ожидал более чувствительности от сослуживцев Великого Фридриха, коего дела и имя служили главным украшением его войска. Но я отдам с удовольствием справедливость гг. Мелендорфу и Притвицу. Один достоинством обратил на себя внимание великого государя и возведен за услуги на вышний степень почестей военных; другой после Цорндорфской баталии, жертвуя своею жизнью, спас жизнь короля, в большой опасности от наших казаков находящегося. Король за сие, по окончании войны, наградил его большим, по-тамошнему, имением и всякий раз, когда речь бывала об опасностях, в коих во время Семилетней войны находились государство и особа его, говаривал: «Шуленберг управлял доходами и расторопностию своею умел доставлять королю деньги в самые отчаянные времена, Мелендорф спас Пруссию, а Притвиц — короля».

Сии-то два престарелые воины, Мелендорф и Притвиц, украшенные сединами и почтенною службою, присягая с достодолжным благоговением новому государю, проливали горькие и нелицемерные слезы. По окончании церемонии они, подошед друг к другу, обнялись и разошлись безгласно. Зная их, не трудно угадать, что они хотели сказать: «Мы лишились оба государя, благодетеля и творца нашего, — пребудем верны памяти его, отечеству и наследнику престола».

В сей день было много шуму и движения. Солдаты кричали всякий на своем языке: немцы: «Vivat der König!», русские: «ура!», англичане: «huzza!», французы: «vive le roi!»

Сия присяга касается лишь до военных. Прочие же классы в Берлине присягали по возвращении короля из Кенигсберга, где он короновался. Народ собран был на площади пред дворцом. Сперва во внутренних комнатах присягнули первые чины; потом допущены иностранные

министры для принесения им поздравления. Наконец король, имея по правую сторону сына своего, объявленного наследником престола, показался на балконе, и весь предстоящий народ стал присягать, повторяя клятвенное обещание за читающим оное посреди их, и, окончив, вскричал троекратно: «Да здравствует Фридрих Вильгельм!», повторяя за герольдом, в рыцарском платье, с опущенным шлемом, одетым, на белом коне, и величественно, неожиданно появившимся из больших ворот дворца. Герольд был придворный берейтор, а конь старая манежная лошадь, и способом преобразования удивили публику оттого, что она их не узнала. При сем случае я заметил неуважение берлинцев к дамскому полу. В продолжении сей церемонии много раз принимался идти дождик. Сидящие на лавках деревянного амфитеатра, не совсем знатные дамы поднимали парасоли для предохранения от вышния влажности своих голов и платьев. Но сидящие позади их кавалеры, натуральными тростями хлопая по распущенным парасолям, принуждали опускать их и подвергали дам мокрому беспокойству.

Тишина при чтении присяги придавала важности сему позорищу и ужасу звуку тысячи голосов, вдруг исходящих. Казалось, сей шум исходил изнутри обширной пустой пещеры. И народ походит на пустоту, ничего, кроме шуму, не производящую; а шум зависит от того, кто заберется в пещеру.

Лукезини

Имя сего человека соделалось известно по принадлежности Великому Фридриху так, как имя любимой аглицкой его собаки. Лукезини благородного происхождения, из города Лукки, одаренный острым разумом, пылким воображением, с большими знаниями, поехал путешествовать, сделался в Берлине известен Фридриху, имел счастье понравиться ему приятностями своего разговора, был приглашен остаться в Сан-Суси, поселился в Потсдаме, женился на богатой купчихе и пробыл 3 года до конца жизни Великого Фридриха единою ею беседою и занятием разговорами о произведениях ума человеческого. Жизнь сия была бы должностью претяжкой, если бы не услаждаема была лестною наградю быть собеседником столь знаменитого короля и заступать место Мопертюи, д'Аржанса и Вольтера. Лестный был для Лукезини прием, когда он, по смерти Фридриха, появился в Берлине. Фридрих Вильгельм ска-

зал ему, при первом свидании, что он не забудет в нем друга дяди, и сдержал слово. Воображение, что он столь долго и близко был у обожаемого государя, привлекало к нему особенное внимание и уважение. Его принимали и расспрашивали с великим любопытством. Казалось, что будто он тайная записная книжка, в коей Великий Фридрих заключил свои последние мысли; и слишком месяцы, с утра до вечера, его столько же мучивали вопросами, как курьеров, приезжающих с известиями о решительных победах. Вид его незначущ, обхождение умное и ловкое, манеры несколько национальные, лицо походит на белку. Все вообще его считают за умного и ученого человека, что он после доказал, быв употреблен с успехом в важных делах; и хотя он стал известен потому, что был близок к Великому Фридриху, однако же его не должно наряду ставить с теми, коих бытие потому лишь людям стало известно, что они были близки к знатым особам.

Мирабо

Сей человек, сын славного Мирабо, сочинителя «Друга людей», известный сперва своим распутством, неистовством и жизнью, похожею на Жилблаза, был в мое время в Берлине, употребленный от Версальского министерства для доставления новостей, из коих большая часть проистекают из плодovitого пера голодного сочинителя. Мирабо, следуя принятому обычаю подобных себе, для заслужения внимания, или, лучше сказать, спасая себя от неизбежного презрения людей к бедности, нанимал большой дом, имел любовницу, кою выдавал за знатную женщину, в него влюбленную, одет пышно; и я его никогда иначе не видывал, как распудренного и расчесанного, и больше в виде итальянского шарлатана, чем благородного, умного человека. Фигура его была довольно безобразна от толстоты корпуса и головы, рябого лица и гноем покрытых глаз. Никто не был такой охотник говорить, как он, и речи его не всегда бывали с концом. Голос его был громок и чист, красноречие свободное. Он любил примешивать анекдоты и острые слова других, отчего часто повторял давно уже известное. Я помню, как он один раз за столом у министра Герцберга, говоря один во весь обед, спросил у английского посланника: «Милорд! Что вы о сем думаете?» — «Ваши речи делают честь вашей груди», — отвечал холодно англичанин. Как ни был бесстыден Мирабо, но в присутствии гр. Румянцева бывал молчаливее,

опасаясь острых его шуток и неожиданных вопросов. Мирабо жил слишком год в Берлине; хаживал часто в библиотеку для выписок; в обществах бывал редко, на гулянье всякий день. При вступлении Фридриха Вильгельма на престол он ему написал поучительное письмо, коего начало было таково: «Ты, король, внимли мой глас». Но король притворился глухим и безграмотным, то есть не услышал гласа Мирабо и ничего ему не отвечал. Переписка его с министерством или, лучше сказать, с Калоном напечатана и составлена вся из бреду, сплетней и неистовств. Дерзость сего человека была видна во всех его писаниях, и казалось, что добродетели знаменитых особ раздражали еще более его злость и безрассудно заставляли употреблять против них клевету и гнусную ложь. Оставя Берлин, сей необыкновенный человек умом, красноречием, злостью, дерзостью и пороками уехал на несколько времени в Брауншвейг, где привел в порядок заготовленные им материалы, кои издал после под названием: «Картина Прусской монархии». Приехав в Брауншвейг и живучи с ним в одном трактире, я имел случай видеть его еще чаще, чем в Берлине, и, узнав еще лучше, могу уверить, что все, мною об нем сказанное, есть совершенная истина.

г. Финкенштейн

Сей почтенный муж слишком уже тридцать лет первым министром иностранных дел; живет одним лишь жалованьем, которое весьма умеренно; делит время между дел, чтения и добрых дел. Всякий день его жизни рождает в его соотчичах новое содрогательное напоминание о его старости; они видят его дряхлость, но хотят, чтоб он еще долго жил. 30 лет Фридрих Великий, имея совершенную в нем доверенность, считал его вернейшим своим подданным, а отечество — за вернейшего из своих сынов.

г. Герцберг

Большие познания статистики и истории составляют достоинство сего министра. Он был употреблен Великим Фридрихом при замирении Губертсбургском. Слог его, как немецкий, так и французский, тяжел и неясен; вид и обхождение его неприятны. Наружностью он более походит на профессора, чем на государственного человека. Одежда его нечиста, и когда он где появляется, то менее походит на ученого, выходящего из своего кабинета, чем

на медведя, вылезаящего из своей берлоги. Скромность его так велика, что он готов, встретившись, здороваться на письме, дабы не сказать чего-нибудь лишнего. Самовольно занимая себя беспрестанно, отделяет, однако ж, в воскресенье на забаву послеобеднее время и ездит в мерзком экипаже в загородный свой дом, в близком от Берлина расстоянии. Там веселится зрением на сад, в коем он соединил, по его мнению, все красоты природы на 3 десятинах. Там маленький березовый лесок представляет все китайские и английские сады, зверинцы и леса дремучие; липовая узкая аллея на 50 шагах занимает место всех регулярных садов европейских и равняется с Версальскими, Ленотром насажденными; две подстриженные, почти засохшие ели, представляющие одна льва, а другая пирамиду, должны быть памятниками вкуса садов прошедшего века; несколько горшков с цветами равняются с гарлемскими цветниками; развалившаяся кухня лежит вместо развалин Пальмиры или Сполатры, а незасаженный ничем угол представляет пустыню, и в веселый час угрюмый министр называет сие место Сибирью. Сей огород приятен единственно льстецам: г. Герцберга, тем, что они не устают, обходя его несколько раз в полчаса. Сам же министр никогда более одного раза в каждое посещение не обходит своего диковинного сада. Отягченный дряхлостью, нагруженный несколькими толстыми томами древних авторов и восхищением, что насадил сей эдемский сад, обыкновенно он, пришед к лавке, поставленной у ворот, отдыхает от гулянья и позволяет прохожим, невзирая на превеликую звезду Черного Орла, принимать его за прикащика или землепашца. За несколько месяцев до кончины Великого Фридриха он был призван им в Потсдам. Он писал манифест о восшествии на престол Фридриха Вильгельма и получил 1-й орден Черного Орла.

кн. Долгорукий

Когда я приехал в Берлин, то кн. Владимир Сергеевич оставил уже его и приготовлялся к своему отъезду в деревню друга своего, гр. Головкина, 6 миль (42 версты) от Берлина расстоянием. К. Долгорукий был слишком 30 лет у Прусского двора чрезвычайным посланником Российским. В сие долговременное пребывание все его узнали с приезда, и потом все не преставали любить и почитать. При отъезде его в Россию, когда он имел отпускную аудиенцию у

Великого Фридриха, то сей государь сказал ему, прощаясь, сии лестные и достопамятные слова: «Я желаю, чтоб вы были счастливы; мы уже более не увидимся, и я, прощаясь с вами в последний раз, уверяю, что я не преставал никогда вас любить и почитать». Через три недели после сего свидания Фридрих престал жить, а кн. Долгорукий не престал и до сих пор чтить память сего великого государя. Первый вопрос, когда русский путешественник появится в обществе берлинском, всегда о к. Владимире Сергеевиче; кажется, что старики расспрашивают об нем как о брате, молодые как об отце. Достойная и лестная награда добродетельной души и честных дел.

гр. Румянцев

Достойный сын великого мужа, прославившего Россию, достойный посланник первой державы света. Во всех словах его виден ум необыкновенный, в чувствах сердце нежное, в делах душа благородная. Он — министр в кабинете, любезный человек в обществе. Во время моего в Берлине пребывания я снискал его знакомство и имел время узнать вблизи все редкие его качества. Тот, кто его узнает так, как я, наверно, пожелает от чистого сердца, чтоб он имел участие в правлении государственным и жил в России с честью и славою.

Площадь героев

Подле дома принца Фердинанда маленькое, пустое место. Не знаю, как прежде сего оно называлось; но с тех пор, как на четырех углах поставлены статуи, то площадь сия получила название площади героев; и вероятно, если время, землетрясение, перестройка города или другое непредвидимое обстоятельство истребит статуи, то название между людьми все останется, действием второй природы, то есть привычки; так как у нас Спас на бору, хотя сто лет ни одного нет тут дерева, Немецкая слобода, где живут все русские, и имена множества ворот, кои давно сломаны. Статуи сии мраморные, изрядной работы посредственного ваятеля Тассара, который более известен был в Берлине своею грубостию, чем искусством. Принц Гейнрих, не любя Сейдлица, спросил Тассара: «Для чего статуя сего генерала не похожа?» — «Для того, — отвечал художник, — что вы его как мертвого, так и живого терпеть не можете».

Какая может быть лестнее награда заслугам, верности и

геройству? Мрамор, воздвигнутый государем в честь отличному подданному, есть живой глас признательности на несколько веков. Какую благодарностию преисполняются сердца потомков героя и всех тех, кои ему принадлежат благодарностию, почтением или преданностию! Давно прах его уже исчез и все об нем умолкло; но образ, среди града стоящий, привлекает внимание, возбуждает любопытство и часто заставляет брать в пример мужа, великими делами себя прославившего, и принести ему в жертву нелестные чувства удивлением души преисполненной. Колико способов награждать достоинство, исторгать славу из челюстей смерти, от хладного забвения и вселять жар любви к отечеству и мужеству! Всякое царство, всякое столетие имеет своих великих мужей, всякий край ими гордится. С каким приятным чувством младый российский юноша гуляет в прелестных садах Царскосельских! Коль сильно трепещет грудь его, взирая на памятники, великим мужам там воздвигнутые! Гуляя в саду, он проходит летописи славы своего отечества, идет от одного к другому и читает список побед. Тут он, несмотря, что знает великих мужей иноземных, — но тут он возгордится своим отечеством и соделается истинным россиянином, каковым он родился. Россия, край блаженный! Ты существуешь в глазах Европы единое лишь столетие, но соперничаешь со всеми государствами достоинствами сынов своих.

Когда в Англии в один день подпискою собирают значное количество денег вдовам, сиротам убитых на войне, добродетельным людям в награду за честность; когда Генуя за избавление города воздвигнула памятник дюку Ришелье, для чего же у нас в Москве нет знаков народной признательности к Пожарскому и Еропкину? Оба спасли столичный град, и оба достойны бессмертия. Герой покрывает себя лаврами, член правления, судия бескорыстный, пастырь смиренный, муж добродетельный подвигаются единственно в деяниях своих душою и сердцем. Они одушевлены любовью к отечеству, и, творя всякий день добро, единые сего не примечают, и при последнем часе жизни их не радуются о множестве добрых дел своих, но сокрушаются о том, что престают ходить по стопам добродетели и истины. Сколько дел, удивления достойных, сокрытых в тьме и неведении! Их-то открывать бы должно и украшать ими летопись России, доставлять ко сведению всякого, и возжигать ими в сердце юноши жар любви к добродетели. Счастлив государь, счастлива та земля, где мерзят пороком и боготворят добродетель.

Фарфоровая фабрика

Устроена Великим Фридрихом. Хотя фарфор ея и не так чист, как саксонский, но формы гораздо лучше и живопись превосходнее. Для лучшей продажи Великий Фридрих принудил всех евреев, в областях его живущих, когда кто из них женится, покупать на казенной фабрике сервиз столовый. Можно себе легко вообразить, как при бракосочетаниях скупые жида выбирали самую дешевую посуду, отчего никогда ничего очень старого и дурного на фабрике нет. За все покупные вещи платят половину золотом. Все подобные сему заведения ни в какой земле не могут себя содержать продажей собственных произведений. Фарфоровая фабрика требует слишком много всякого рода ремесленников, из коих некоторые весьма дороги, как, например, живописцы; а притом, употребление фарфора есть последствие избытка и необходимость роскоши. Со всем тем выгоднее его иметь, чем глиняную английскую посуду, за кою вдвое дороже платят за то, что вид ея походит на сосуды древности и что все заклемено именем г. Веджвуда, хотя он и сотою доли на своей фабрике ея не делает. Быв часто на Берлинской фарфоровой фабрике, я сделал три примечания: 1, что немцы, покупая чашки, выбирают все одинакия, дабы при истреблении, когда от дюжины останется лишь одна чашка и одно блюдо, то чтобы и тут спорить можно было...¹ 2, что чашка с крышкою покупается единственно в подарок или покровителю или невесте; 3, между множества чашек с портретами государей ни одной нет с изображением Марии Терезии, — доказательство, что ея в Пруссии и на фарфоре не терпят.

Сожженный человек

У одного старого советника, довольно по-немецки богатого, была молодая жена и молодой пригожий лакей Карл. Советник часто по должности был отдален от дому; советница сблизилась с Карлом, и природа со скукою ослепили ея насчет несчастных следствий и низкого его происхождения. Карл сперва довольствовался деятельною ролею своего господина во время его отсутствий; потом захотел веселиться, стал мотать и наконец решился обокрасть дом, где имел столько причин быть довольным своею судьбою. Но дабы лучше скрыть покражу, разломав ночью

¹ В рукописи неразборчиво.

сундук, где были деньги и вещи, зажег дом и, выбежав на улицу, стал призывать на помощь, крича: «Пожар, воры!» Огонь погасили, вещи пропали, и Карл сокрушался несколько дней с советником и с советницею. Но как все наконец открывается, следственно, и воровство его открылось: он стал играть, пошел закладывать украденные вещи, был пойман, допрашиван, признался и по законам осужден на сожжение. Приговор, за неделю до кончины Великого Фридриха, им был утвержден.

В Пруссии с той минуты, когда объявлен бывает приговор смерти преступнику, он переводится из тюрьмы в особливые покои, приуготовляем там бывает к кончине пастором и предается на зрелище всем любопытным, чувствительным и бездельным людям. Я видел несчастного Карла за два дни до его смерти. Он казался спокойным и вовсе непричастным к окружающему его. Тело его было живо, но чувства казались уже мертвыми. Пастор, оставя спасение его души, занимался более посетителями и уверял всех, что он имел счастье привести в раскаяние преступника и обратить его на путь добродетели. А ему оставалось сидеть в темнице несколько часов, встать и идти на место позорной казни, в путь вечности. Како содрогается сердце, имея пред глазами столь страшное зрелище пагубного действия гнусных страстей! Чем может им противоборствовать человек без воспитания, правил закона и врожденной добродетели! Сколь тут сильно действует любовь к ближнему! Кто может отринуть сожаление, удержать слезу, вопиющую в пользу несчастного, искупающего преступление свое потерю бесценного дара смертных — жизни и преклоняющего осужденную главу законом под косу лютой смерти! Я взглянул сперва с некоторым отвращением на несчастного Карла; потом смотрел на него с сожалением; и когда, выходя, бросил, наверно, последний на него взгляд, тогда язык мой был нем, но сердце вопило: «Господи помилуй!» Мысль о его преступлении утопает в слезах, проливаемых жалостию; вина его прощается, прегрешение отпускается.

Чрез три дни преступление Карла было наказано смертию. Сопровождаем бесчисленным народом, он изведен был за город на место казни, привязан к столбу и обращен в пепел. Я видел из окна своего дым, от пламенного костра воздымающийся; с ним душа Карла вознеслась на небо, предстала на страшный суд Всевышнего, приняла отпущение или низвержена в муку вечную.

Меня уверяли, что палач берлинский подал комендан-

ту счет в 300 талеров на расходы сей страшной казни и что Великий Фридрих, узнав о сем, сказал: «Дешевле бы гораздо было просто зажигателя сего повесить».

Также меня уверяли, что несчастный Карл умер от страха от единого зрелища приуготовлений мучительной казни, ему приуготовленной. Желательно, чтоб сие справедливо было: позорище для зрителей не менее было страшно, а преступник избавлен от мучения.

В сем деле от одного воровства произошли многие. Гася пожар, остальные пожитки советника были разграблены; палач украл несколько сот талеров из казны; мошенники опустошили во время казни равно любопытного, жестокого и чувствительного зрителя карманы. Один советник остался в дураках. Через сие приключение он узнал после всех, что жена его дурная хозяйка, балует его лакеев и не довольствуется тем, что они стоят за нею, за каретой и за столом; но, посоветовавшись с своими друзьями и с собственною честью, решился непременно вместе жить с своею супругою, дабы не подать причины сомневаться, что он подозревает верность ея. Через несколько недель устали говорить о приключении Карла; чрез три месяца женщины уже начали уверять, что оно выдуманно; а потом мнение народное, известное под названием почтенной публики, утихло, и натурально, г-жа советница заняла прежнее свое место в публичном кругу почтенных городских дам; но со всем тем сохранила непреоборимое отвращение к огню, не могла более ходить на кухню и сиживала всегда в задумчивости. Когда супруг ея курил при ней трубку, тут она будто кстати говорила ему: «Ах, друг мой! Куда как много дурных людей на свете!» На что советник всегда ей отвечал: «В семье не без урода!»

Французская колония

Людовик XIV, удовлетворяя своей собственной набожности, а более в удобность г-же Ментенон и духовнику своему, иезуиту Летелье, под предлогом обращения еретиков на путь истины, отменил славный указ, в Нанте изданный, коим всем подданным французским протестантского исповедания позволено было исповедывать открыто их веру. Начались гонения, новая война, известная под названием Драгонад. Верноподданный протестант, отказывающийся от католической обедни и духовника, признаваем был за нарушителя общего покоя и изменника

государю и отечеству. Вследствие чего, не стерпя всех гонений и не надеясь ничем смягчить сердце государя, 60 тыс. семей решились оставить свою родину, друзей, родню, имущество и искать в чужих краях пристанища. Если бы сии люди были придворные или дворяне, но ни на что неспособные, или офицеры, но боязливые, или судьи, но несправедливые, то бы Франция могла воспользоваться следствиями гонений над протестантами. Но сии люди, оставившие свое отечество, были честные и добрые люди, искусные ремесленники, подающие пример доброжития и трудолюбия. Они рассеялись: поселились в Швейцарии, Баварии и Пруссии, обогатили все сии земли произведениями их художеств и, нашед истинное благосостояние вместе с новым отечеством, соделались полезнейшими его сынами. Науки в Пруссии стали процветать со времени прихода сих почтенных гражданов. Многие из них заслужили себе бессмертие полезными сочинениями и украсили Академию берлинскую. До сих пор все сии выходцы составляют, так сказать, одну семью, помогают друг другу, и хотя подданные короля прусского и уроженцы немецкой земли, но сохранили что-то до сих пор иностранное. Язык их французский не совсем чист, и по выговору можно тотчас узнать колониста. Хотя они везде хорошо приняты и уважаемы, но составляют особенное свое общество, в кое охотно столько же помещают иностранных, как избегают прусских офицеров. Балы их и пикники самые приятные и веселые. В Берлине у богатых купцов бывают ужины, где всегда пастор есть первое лицо и важная особа. Г. Герман в мое время был старший священник французской колонии и умом, поведением и летами присвоил себе род начальства и почти такую же власть, как отец-генерал иезуитов в Парагвае. Его ведения были свадьбы, ссоры, разводы, мировые, разделы, наследства, духовные; и в особе пастора Германа заключались духовник, инквизитор, судья и полицеймейстер Французской колонии. Он сочинитель истории выходцев из Франции, и поистине она не придает ему никакого лишнего уважения, быв написана тяжело, длинно и не всегда ясно. В Берлине мода существует единственно для малого числа людей, кои не в военной службе, и те подражают в одеянии англичанам; но колонисты, и старые и молодые, одеваются по-французски и сим показывают, сколь трудно человеку престать любить ту землю, где предки его родились и оставили их прах.

Застрелившийся парикмахер

Ходя один раз по улице, коя ведет в зверинец, я увидел, что большая часть людей шла туда скорее обыкновенного, а иные и бежали. Осведомившись о чрезвычайной причине, сбившей немцев с шагу на рысь, узнал, что в зверинце застрелился какой-то человек. Движение толпы действует над одним человеком так, как ветер над флюгером. Народ шел в зверинец, и я пошел туда же. Близ ворот, подле одной крытой аллеи увидел сперва кучу людей, услышал шум и, подошед ближе, открыл и несчастный предмет общего любопытства. Под деревом, прислонясь, стояло мертвое тело, одетое в белом запудренном кафтане. Подле него лежал разорванный пистолет. Тело было прострелено навывлет пулею против сердца, и от большого заряда ранена и рука. Все толпились, все говорили, все хотели знать, кто был сей несчастный и отчего лишил себя жизни. Наконец узнали, что он был парикмахер, от его ученика, который, видя тот день в лице его нечто необыкновенное, пошел за ним вслед, подозревая его намерение; но в зверинце как-то потерял из виду и прибежал уже на выстрел. Число зрителей прибавлялось и убавлялось — одни уходили, другие приходили; наконец приближение ночи побудило всех идти домой. Во все время смотрел я с примечанием и слушал прилежно: никто, кроме женщин, не жалел о несчастном. Военные шутили, почитая ни за что выстрел, убивший одного лишь парикмахера; удивлялись, что если он застрелился от несчастья, то для чего не записался в солдаты. Старики полагали причиною его смерти неудовольствие от детей, женщины — любовь, молодые люди — недостаток в деньгах, духовные — беззаконие, а нищие — спесь. По словам же зрителей, самоубийства в Берлине должны быть редки; ибо о сем говорили как о вещи, давно небывалой; но смотрели на тело довольно равнодушно, что и не удивительно в жителях большого города, в коем все лето по улицам бьют собак, всякую субботу гоняют местах в двадцати сквозь строй и довольно часто занимают публику и смертными казнями.

Прощенная старуха

Один молодой человек, соскуча быть солдатом, решил искать увольнения от службы на границе Саксонской. Дабы свободнее пройти сквозь Пруссию, выйти из Берлина и избегнуть от поимщиков, открылся он в своем

намерении доброй старухе, которая была ему родня. Тронутая его словами, не помышляя о несчастных следствиях побега, как для солдата, так и для ее самой, вместо того, чтоб ему отговаривать и отвести от исполнения взятого намерения, старуха снабдила его деньгами, запасом и, одевши в свое платье, вывела за городские ворота и пожелала счастливого пути. Солдат шел весь день в виде старухи и, прошед границу, увидя себя на свободе, от радости или от глупости, но, сняв с себя старухино платье и завязав в узел, приколол бумажку, на коей препровождал все к своей избавительнице, называя ее по имени. Связка платья была найдена, отослана в Берлин, где отыскивали бедную мягкосердную старуху, допросили и по признанию участия ее в побеге солдата, по силе прусских законов, осудили быть повешенной. Всякая редкость есть возбуждение любопытства человеческого, и, несмотря на проливной дождь, несколько тысяч человек вышло из города на место казни, смотреть, как повешена будет старуха. Но по прочтении приговора она прощена именем королевским и в наказание изгнана из города. Всякий позавидует судьбе бедной старухи и вообразит, что ничего на свете счастливее для ее быть не могло; напротив, этот день был самый неприятный в ее долгой жизни, и никогда доброе дело столь дурно заплачено не было. Она, бедная, приготовилась совсем к смерти, измокла вся от дождя, слышала, идя на место казни, одне лишь насмешки и брани, за то, что была стара и носила лицо, из срока вышедшее, которое заглушало глас сожаления; потом прощена и слышала опять брань за то, что, не быв повешена, лишила народ зрелища; и сверх всего, не могла возвратиться, прожить еще несколько дней своей жизни в том городе, где жила близ века. Если бы примеры действовали сильнее над людьми, то бы можно ожидать от сего трогательных следствий: но все осталось по-прежнему: может ли старая баба что-нибудь произвести, когда забыты разрушение Лиссабона, Семилетняя война и прочее, и прочее.

Преступник солдат

Вкоренившееся ложное понятие о милосердии божественном подвигло милосердие в Пруссии на злодеяние, в надежде отпущения грехов чрез казнь за их преступления. Убежденный сею мыслию, один молодой артиллерийский солдат, неизвестно по какой причине, проходя близ церкви, у коей на лужке играли дети, схватил одного

из них, перерезал ему ножом горло и отдал сам себя в руки полиции. Суд его скоро был свершен, и он осужден на отсечение головы, выведен на лобное место, поставлен на колени с завязанными глазами и в ту самую минуту, которая пресекала жизнь его, прощен, но с тем, чтоб быть заключенным в Спандау, в ожидании смерти. Его туда отвезли немедленно, и он едва чрез двое суток мог прийти в себя и увериться, что он еще жив: столь сильно приближение смерти отдаляет от нас все чувства. Если б можно жертвовать спокойствием общества состраданию и согласить отпущение вины с строгостию законов, тогда бы прощение осужденного на смерть и возвращение его в первобытное его состояние могло почтяться милосердием, достойным величества царского, и подвигом души человеколюбивой. Но доведя преступника до края его могилы, оставя ему одно лишь мгновение ока быть еще в числе живых, показав ему весь прибор смерти, потом похитить у нея на несколько времени преданную ей жертву, дабы принудить преступника, чрез лишение всех удовольствий, утех и забав в жизни, негодовать на даровавшего ему паки оную и вспоминать с сожалением о страшной той минуте, коя наносила ему последний удар, — сие почитаю я превышающим казнь смертную. Так рассуждал я, так рассуждают, верно, многие. Но быв один раз в Спандау и вспомня о сем преступнике, захотел его увидеть; нашел его веселым, здоровым и бодрым, равно телом и духом. С тех пор пременял образ своих мыслей и уверил себя, что человек, любя жизнь более всего на свете, ко всему себя приучит, в надежде, что смерть еще далека.

Несчастный солдат

Сумасшедшие, отчаянные и в сильном жару люди могут иметь весьма сильное воображение, необыкновенные мысли и несвойственные уму их соображения. Мысль сия давно многим приходила, но наблюдений мало сделало. Ежедневно мы слышим влюбленных, огорченных, раздраженных или занятых сильно одним предметом людей, объясняющих свои мысли с необыкновенным красноречием и с несвойственной острою ума, — на сие я имею два доказательства: 1) собрание писем сумасшедших, в Бедламе содержанных, кои директор сего дома давал мне читать; 2) письма солдата, который, быв русским, обманом попался в прусскую службу и, не стерпя обид от своих товарищей, вышед из терпения, в запальчивости застрелил

одного из них и казнен смертью. В течение четырех дней, истекших между осуждения его и казни, он писал письма к родне своей в Ярославскую губернию и вверил их для доставления священнику, при Российской миссии в Берлине находящемуся. Он его провожал до места казни, и хотя тому прошло более 6 лет, но он с полными слез глазами рассказывал про твердость духа, раскаяние и конец несчастного. Когда палач хотел его поставить на колени, то он, становясь, ему сказал: «Я сам стану; что ты меня учишь: ведь я не немец!»

В письмах его видно желание доказать свою невинность, возбудить сожаление о его участи, грусть, что умирает не на своей стороне. Вот некоторые подлинные его изречения:

«Помолитесь Господу Богу о душе грешника раба Тимофея. Попался он к варварам — далеко от своей стороны; там ему и голову положить».

«Зачем ты меня, мать родная, вспоила и вскормила? На то ль ты меня благословила, чтоб я назад не пришел?»

«Поплачьте по моей головушке, помолитесь Господу Богу; закажите помин по душе. Согрешил зело грешный; да кому же было меня уговаривать? Кому журить, бранить? Кому от дурных дел отводить?»

«Горе мне, грешнику! Погубил душу свою на веки веков, пролил кровь человеческую. Один на чужой стороне, некому спасти, помиловать! Идти на смерть поносную, пролить кровь русскую! Не допустил Бог умереть в доме батюшкином, лечь в земле христианской, у храма Пресвятыя Покрова Богоматери».

«Для чего же мне ждать доброго? Служил не своему царю, не нашей матушке; она бы меня помиловала, и я бы ей был по гроб слуга. Забрел в царство немецкое, не знал покоя ни дня, ни ночушки, отправляя службу за себя и за других, говорил и их языком; одного лишь желал, и во сне и наяву, чтоб прийти назад на Святую Русь. Аминь, аминь, Господи помилуй!»

Вот что писал несчастный. Он объяснил свои чувства простым языком; но простое красноречие выразительно. Регорика — то же, что богатое платье. На прекрасном теле все природное и чуждое искусства имеет сильное право трогать сердце и душу: украшенное и подделанное действуют над глазами и ушами.

Палач

Хотя палач не что иное, как последний исполнитель законов, и не более быть должен, кажется, жестокосердным и отвратительным, как и солдаты, кои расстреливают по наряду, но уверение, что палач охотою избрал для себя столь мерзкую должность, являет в нем человека, рожденного на истребление ему подобных и посвящающего свою жизнь на отнятие ея у других. В немецкой земле ни один из них не живет в городе: дома их в поле, и все от них отдаляются от презрения к хозяину, а еще больше от дурного запаха, происходящего от мертвой скотины, кою палач имеет право вывозить из города и обдирать. Для сего он имеет помощников, кои ездят с телегами по улицам и собирают всякую нечистоту. У них на пуговицах изображено колесо, показывающее род жизни, ими избранный. Главный доход палача состоит от билетов, кои он продает в каникулы, для избавления собак от смерти, коей его помощники предают всех тех, кои без билетов встречаются на улице. Прикосновение к палачу или к его помощнику почитается за бесчестье, и один офицер, возвращающийся с ученья, тронул незапно палача экспонтоном, солдаты остановились, не хотели слушать его команды, а офицеры служить с ним вместе. Надобно было сего офицера перевести в другой полк; а палач остался, по той причине, что офицеров было много, а он один. И сей предрассудок охраняет все живое и на смерть неосужденное от его отвратительного прикосновения.

Спандау

Маленький город на Спрее, с крепостью, расстоянием от Берлина в 14 верстах. Тут заключаются важные преступники и определенные на срок на работу. Содержание их довольно хорошо, но житье дурное. Они всегда заняты какою ни есть работою, иные внутри крепости, другие в городе, и те работают в пользу г. коменданта, который, не имея права их казнить смертию, наказывает палками, сколько его душе угодно. Место сие, довольно уважаемое, всегда дается заслуженному штаб-офицеру, и несчастные, в крепости содержащиеся, рады очень, когда новый комендант холостой или бездетный, по той причине, что не имеет нужды наживать имение или собирать дочерям приданое. Тут я еще нашел президента, коего Фридрих Великий заключил в крепость, узнав незаконный суд, над одним

мельником произведенный. Я видел лишь его спину и пестрый халат: ибо отдаленный от общества судья, увидя идущих незнакомых людей, поспешил войти к себе в комнату и сим доказательством стыда и совести родил во мне о участи его сожаление. Темница и раскаяние могут возвратить на путь добродетели спадшего с него, и глас совести, в заточении долго вопиющий, оставит надолго в душе и в сердце свой отголосок. Я хотел видеть того солдата, который зарезал умышленно мальчика, дабы быть предану смерти, но прощен по случаю восшествия короля на престол. Товарищи его вызвали, и я, увидя жирного и здорового человека, почувствовал непреодолимое отвращение к злодею, могущему наслаждаться спокойствием, пролив кровь невинную.



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II И ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I

Все, окружавшие императрицу Екатерину, уверены до сих пор, что происшествия во время пребывания шведского короля в С.-Петербурге суть главною причиною удара, постигшего ее в 5-й день ноября 1796 года.

В тот самый день, в который следовало быть стовору великой княжны Александры Павловны, по возвращении графа Маркова от шведского короля, с решительным его ответом, что он на сделанные ему предложения не согласится, известие сие столь сильно поразило императрицу, что она не могла выговорить ни одного слова и оставалась несколько минут с отверстым ртом, доколе камердинер ее Зотов (известный под именем Захара) принес и подал ей выпить стакан воды. Но после сего случая, в течение шести недель, не было приметно ни малейшей перемены в ее здоровье. За три дня до кончины сделалась колика, но чрез сутки прошла; сию болезнь императрица совсем не признавала важною. Накануне удара, т. е. с 4-го числа на 5-е, она, по обыкновению, принимала свое общество в спальней комнате, разговаривала очень много о кончине сардинского короля и страшала, смертью Льва Александровича Нарышкина. 5-го числа Марья Савишна Перекусихина, вошедши, по обыкновению, в 7 часов утра, к императрице, для пробуждения ее, спросила, каково она почивала, и получила в ответ, что давно такой прият-

ной ночи не проводила, и за сим государыня, встав с постели, оделась, пила кофе и, побыв несколько минут в кабинете, пошла в гардероб, где она никогда более 10 минут не оставалась, по выходе же оттуда обыкновенно призывала камердинеров для приказания, кого принять из приходивших ежедневно с делами. В сей день она с лишком полчаса не выходила из гардероба, и камердинер Тюльпин, вообразив, что она пошла гулять в Эрмитаж, сказал о сем Зотову; но этот, посмотря в шкаф, где лежали шубы и муфты императрицы (кои она всегда сама вынимала и надевала, не призывая никого из служащих) и видя, что все было в шкафе, пришел в беспокойство и, пообождав еще несколько минут, решился идти в гардероб, что и исполнил. Отворя дверь, он нашел императрицу лежащую на полу, но не целым телом, потому что место было узко и дверь затворена, а от этого она не могла упасть на землю. Приподняв ей голову, он нашел глаза закрытыми, цвет лица багровый, и была хрипота в горле. Он призвал к себе на помощь камердинеров, но они долго не могли поднять тела по причине тяжести и от того, что одна нога подвернулась. Наконец, употребляя еще несколько человек из комнатных, они с великим трудом перенесли императрицу в спальную комнату, но, не в состоянии будучи поднять тело на кровать, положили на полу на сафьяновом матрасе. Тотчас послали за докторами.

Князь Zubov, быв извещен первый, первый потерял и рассудок: он не дозволил дежурному лекарю пустить императрице кровь, хотя о сем убедительно просили его и Марья Савишна Перекусихина, и камердинер Зотов. Между тем прошло с час времени. Первый из докторов приехал Рожерсон. Он пустил в ту же минуту кровь, которая пошла хорошо; приложил к ногам шпанские мухи, но был, однако же, с прочими докторами одного мнения, что удар последовал в голову и был смертельный. Несмотря на сие, прилагаемы были до последней минуты ее жизни все старания; искусство и усердие не преставали действовать. Великий князь Александр Павлович вышел около того времени гулять пешком. К великому князю-наследнику от князя Zubova и от прочих знаменитых особ послан был с извещением граф Николай Александрович Zubov; а первый, который предложил и нашел сие нужным, был граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.

В тот самый день наследник кушал на Гатчинской мельнице в 5 верстах от дворца его. Пред обедом, когда собрались дежурные и прочие особы, общество гатчинское

составлявшие, великий князь и великая княгиня рассказывали Плещееву, Кушелеву, графу Виельгорскому и камергеру Бибикову случившееся с ними тою ночью. Наследник чувствовал во сне, что некая невидимая и сверхъестественная сила возносила его к небу. Он часто от этого просыпался, потом засыпал и опять был разбужаем повторением того же самого сновидения; наконец, приметив, что великая княгиня не почивала, сообщил ей о своем сновидении и узнал, к взаимному их удивлению, что и она то же самое видела во сне и тем же самым несколько раз была разбужена.

По окончании обеденного стола, когда наследник со свитою возвращался в Гатчино, а именно в начале 3-го часа, прискакал к нему навстречу один из его гусаров с донесением, что приехал в Гатчино шталмейстер граф Зубов с каким-то весьма важным известием. Наследник приказал скорее ехать и не мог никак вообразить себе истинной причины появления графа Зубова в Гатчине. Остановливался более он на той мысли, что, может быть, король шведский решился требовать в замужество великую княжну Александру Павловну и что государыня о сем его извещает.

По приезде наследника в Гатчинский дворец граф Зубов был позван к нему в кабинет и объявил о случившемся с императрицею, рассказав все подробности. После сего наследник приказал наискорее запрячь лошадей в карету и, сев в оную с супругою, отправился в Петербург, а граф Зубов поскакал наперед в Софию для заготовления лошадей.

Пока все это происходило, Петербург не знал еще о приближающейся кончине императрицы Екатерины. Быв в Английском магазине, я возвращался пешком домой и уже прошел было Эрмитаж, но, вспомня, что в следующий день я должен был ехать в Гатчино, вздумал зайти проститься с Анною Степановною Протасовою. Вошед в ее комнату, я увидел девицу Полетику и одну из моих своячениц в слезах: они сказали мне о болезни императрицы и были встревожены первым известием об опасности. Анна Степановна давно уже пошла в комнаты, и я послал к ней одного из лакеев, чтобы узнать обстоятельнее о происшедшем. Ожидая возвращения посланного, я увидел вошедшего в комнату скорохода великого князя Александра Павловича, который сказал мне, что он был у меня с тем, что Александр Павлович просит меня приехать к нему поскорее. Исполняя волю его, я пошел к нему тотчас

и встречен был в комнатах камердинером Парлантом, который просил меня обождать скорого возвращения его императорского высочества, к чему прибавил, что императрице сделался сильный параличный удар в голову, что она без всякой надежды и, может быть, уже не в живых. Спустя минут пять пришел и великий князь Александр Павлович. Он был в слезах, и черты лица его представляли великое душевное волнение. Обняв меня несколько раз, он спросил, знаю ли я о происшедшем с императрицею? На ответ мой, что я слышал об этом от Парланта, он подтвердил мне, что надежды ко спасению не было никакой, и убедительно просил ехать к наследнику для скорейшего извещения, прибавив, что хотя граф Николай Зубов и поехал в Гатчину, но я лучше от его имени могу рассказать о сем несчастном происшествии.

Доехав домой на извозчике, я велел запрячь маленькие сани в три лошади и чрез час прискакал в Софию. Тогда уже было 6 часов пополудни. Тут первого увидел я графа Николая Зубова, который, возвращаясь из Гатчины, шумел с каким-то человеком, приказывая ему скорее выводить лошадей из конюшни. Хотя и вовсе не было до смеха, однако же тут я услышал нечто странное. Человек, который шумел с графом Зубовым, был пьяный заседатель. Когда граф Зубов, по старой привычке обходиться с гражданскими властями, как с свиньями, кричал ему: «Лошадей! лошадей! Я тебя запрягу под императора», — тогда заседатель весьма манерно, пополам учтиво и грубо, отвечал: «Ваше сиятельство, запрячь меня не диковинка, но какая польза? Ведь я не повезу, хоть до смерти изволите убить. Да что такое император? Если есть император в России, то дай Бог ему здравствовать; буде Матери нашей не стало, то ему виват!» Пока граф Зубов шумел с заседателем, прискакал верхом конюшенный офицер, майор Бычков, и едва он остановил свою лошадь, показались фонари экипажа в восемь лошадей, в котором ехал наследник. Когда карета остановилась и я, подошед к ней, стал говорить, то наследник, услышав мой голос, закричал: «Ah, c'est vous, mon cher Rostopschin!»¹ За сим словом он вышел из кареты и стал разговаривать со мною, расспрашивая подробно о происшедшем. Разговор продолжался до того времени, как сказано, что все готово; садясь в карету, он сказал мне: «Faites moi le plaisir de me suivre; nous arriverons ensemble. J'aime à vous

¹ А, это вы, мой дорогой Ростопчин! (фр.)

voir avec moi»¹. Сев в сани с Бычковым, я поскакал за каретою. От Гатчины до Софии встретили наследника 5 или 6 курьеров, все с одним известием от великих князей, от графа Салтыкова и прочих. Они все были с записками, и я, предвидев это, велел из Софии взять фонарь со свечою, на случай, что если будут письма из Петербурга, то можно бы было читать их в карете. Попались еще в встречу около 20 человек разных посланных, но их мы ворочали назад и таким образом составили предлинную свиту саней. Не было ни одной души из тех, кои, действительно или мнительно имея какие-либо сношения с окружающими наследника, не отправили бы нарочного в Гатчину с известием; между прочим, один из придворных поваров и рыбный подрядчик наняли курьера и послали.

Проехав Чесменский дворец, наследник вышел из кареты. Я привлек его внимание на красоту ночи. Она была самая тихая и светлая; холода было не более 3°; луна то показывалась из-за облаков, то опять за оные скрывалась. Стихии, как бы в ожидании важной перемены в свете, пребывали в молчании, и царствовала глубокая тишина. Говоря о погоде, я увидел, что наследник устремил взгляд свой на луну, и, при полном ее сиянии, мог я заметить, что глаза его наполнялись слезами и даже текли слезы по лицу. С моей стороны, преисполнен быв важности сего дня, предан будучи сердцем и душою тому, кто восходил на трон Российский, любя Отечество и представляя себе сильно все последствия, всю важность первого шага, всякое оно влияние на чувства преисполненного здоровьем, пылкостью и необычайным воображением, самовластного монарха, отвыкшего владеть собою, я не мог воздержаться от повелительного движения и, забыв расстояние между ним и мною, схватя его за руку, сказал: «Ah, Monseigneur, quel moment pour Vous!»² На это он отвечал, пожав крепко мою руку: «Attendez, mon cher, attendez. J'ai vécu quarante deux dans Dien m'a soutenu; peut — être, donnera-t-il la horce et la raison pour supporter l'état, au quel il me destine. Espérons tout de Sa bonté»³.

¹ Пожалуйста, следуйте за мной; мы приедем вместе. Я хочу, чтобы вы были со мной (фр.).

² Ах, ваше величество, какой момент для вас! (фр.).

³ Обождите, мой дорогой, обождите. Я прожил сорок два года. Господь меня поддержал; возможно, он даст мне силы и разум, чтобы выполнить предназначение, им мне уготованное. Будем надеяться на его милость (фр.).

Вслед за сим он тотчас сел в карету и в 8 ¹/₂ часов вечера въехал в С.-Петербург, в котором еще весьма мало людей знали о происшедшем.

Дворец был наполнен людьми всякого звания, кои, собравшись будучи вместе столько же по званиям их, сколько из любопытства или страха, все с трепетом ожидали окончания одного долговременного царствования для вступления в другое, совсем новое. По приезде наследника всякий, кто хотел, подвигнутый жалостью или любопытством, входил в ту комнату, где лежало едва дышащее тело императрицы. Повторялись вопросы то о часе кончины, то о действии лекарств, то о мнении докторов. Всякий рассказывал разное, однако же общее было желание иметь хоть слабую надежду к ее выздоровлению.

Вдруг пронесся слух (и все обрадовались), будто государыня, при отнятии шпанских мух, открыла глаза и спросила пить; но потом, чрез минуту, возвратились все к прежнему мнению, что не осталось ожидать ничего, кроме часа ее смерти.

Наследник, зашед на минуту в свою комнату в Зимнем дворце, пошел на половину императрицы. Проходя сквозь комнаты, наполненные людьми, ожидающими восшествия его на престол, он оказывал всем вид ласковый и учтивый. Прием, ему сделанный, был уже в лице государя, а не наследника. Поговорив несколько с медиками и расспросив о всех подробностях происшедшего, он пошел с супругою в угольный кабинет и туда призывал тех, с коими хотел разговаривать или коим что-либо приказывал.

На рассвете, чрез 24 часа после удара, пошел наследник в ту комнату, где лежало тело императрицы. Сделав вопрос докторам, имеют ли они надежду, и получив в ответ, что никакой, он приказал позвать преосвященного Гавриила с духовенством читать глухую исповедь и причастить императрицу Святых тайн, что и было исполнено. Потом он позвал меня в кабинет и изволил сказать: «Я тебя совершенно знаю таковым, каков ты есть, и хочу, чтобы ты откровенно мне сказал, чем ты при мне быть желаешь?» Имея всегда в виду истребление неправосудия, я, не останавливаясь нимало, отвечал: «Секретарем для принятия просьб». Наследник, позадумавшись, сказал мне: «Тут я не найду своего счета; знай, я назначаю тебя генерал-адъютантом, но не таким, чтобы гулять только по дворцу с тростью, а для того, чтобы ты правил военною частью». Молчание было моим ответом. Хотя мне и не хотелось быть опять в военной службе, но непристойно было от-

казаться от первой милости, которую восходящий на престол государь собственным движением мне оказывал. Потом с четверть часа он разговаривал с камер-пажем Нелидовым, вероятно о тетке его Катерине Ивановне, которая столь важную роль играла до восшествия и после восшествия императора Павла на престол; она уже восемь месяцев жила в Смольном монастыре, поссорившись с великою княгиней в Гатчине.

Между тем все ежеминутно ожидали конца жизни императрицы, и дворец более и более наполнялся людьми всякого звания. Граф Безбородко более 30 часов не выезжал из дворца. Он был в отчаянии: неизвестность судьбы, страх, что он под гневом нового Государя, и живое воспоминание благотворений умирающей императрицы наполняли глаза его слезами, а сердце горестью и ужасом. Раз два он говорил мне умиленным голосом, что он надеется на мою дружбу, что он стар, болен, имеет 250 тысяч рублей дохода и единой просит милости: быть отставленным от службы без посрамления. Вместе с тем, соболезнуя, просил он о Трощинском, который был его творение, и объяснил мне, что уже восьмой день, как подписан указ о пожаловании его в действительные статские советники, но не отослан Грибовским в Сенат.

Вошедши к наследнику и отвечая на вопрос его: «Что делается во дворце?» — я нашел удобным описать отчаяние графа Безбородко и положение Трощинского. Тут я получил повеление уверить графа Безбородко, что наследник, не имея никакого особенного против него недовольства, просит его забыть все прошедшее и что рассчитывает на его усердие, зная дарования его и способность к делам; указ же о пожаловании Трощинского приказал мне взять и отослать в Сенат, что и было мною исполнено. Грибовский, в виде человека, желающего исчезнуть, принес и отдал мне указ, сказав, что не он виноват, а князь Zubov, который приказал не отсылать указа в Сенат.

Наследник, позвав графа Безбородко, приказал ему заготовить указ о восшествии на престол, а мне поручил написать к князю Александру Борисовичу Куракину, бывшему тогда в Москве, чтобы он поспешил своим приездом в С.-Петербург. Я, в моем письме, дав знать князю Куракину об отчаянной болезни императрицы, отправил оное с курьером.

В час пополудни в коридоре, за спальною комнатою, накрыли стол, за которым наследник и его супруга кушали двое.

В три часа пополудни приказано было вице-канцлеру графу Остерману ехать к графу Маркову, забрать все его бумаги, запечатать и привезти; но не знаю, из чего граф Остерман вздумал, что препоручение привезти бумаги налагало на него обязанность, чтобы он сам внес их во дворец; а как они были завязаны в две скатерти, то Остерман сквозь все комнаты дворца тащил эти две кипы бумаг точно так, как дети, играя, таскают маленькие салазки, нагруженные не по силам их.

Наследник, отдав мне свою печать, которую навешивал на часах, приказал запечатать, вместе с графом Александром Николаевичем Самойловым, кабинет государыни. Тут я имел еще два доказательства глупости и подлости Александра Николаевича. Быв с ним сперва знаком и им любим, я подпал у него после под гнев за то, что о свадьбе моей сказал графу Безбородко прежде, чем ему. Увидев теперь мой новый доступ и ход, он вздумал сделать из меня опять друга себе и стряпчего: начал уверять в своей преданности и рассказывать о гонениях, кои он претерпел от императрицы (которую называл уже покойною) за то, что представил к награждению какого-то гатчинского лекаря. Но ничто меня так не удивило, как предложение его, чтобы, для лучшего и точного исполнения повеления наследника касательно запечатания вещей и бумаг в кабинете, сделать прежде им всем опись. Согласаясь, однако же, со мною, что на сие потребно несколько недель и писцов, мы завязали в салфетки все, что было на столах, положили в большой сундук, а к дверям приложили вверенную мне печать.

Наследник приказал обер-гофмаршалу князю Бярятинскому ехать домой; должность его поручил графу Шереметеву, а гофмаршалами назначил графов Тизенгаузена и Виельгорского.

С трех часов пополудни слабость пульса у императрицы стала гораздо приметнее; раза три или четыре думали доктора, что последует конец; но крепость сложения и множество сил, борясь со смертью, удерживали и отдаляли последний удар.

Тело лежало в том же положении на сафьянном матрасе неподвижно с закрытыми глазами. Сильное хрипение в горле слышно было и в другой комнате; вся кровь поднималась в голову, и цвет лица был иногда багровый, а иногда походил на самый живой румянец. У тела находились попеременно придворные лекаря и, стоя на коленях,

отирали ежеминутно материю, текшую изо рта, сперва желтого, а под конец черноватого цвета.

В комнате, исключая императорской фамилии, внутренней услуги и факультета, была во все время камер-фрейлина Анна Степановна Протасова, погруженная в горесть. Глаза ее не сходили с полумертвого тела ее благодетельницы. Еще до прибытия наследника в С.-Петербург великие князья Александр и Константин были в мундирах тех батальонов, коими они командовали в гатчинском модельном войске.

Часов в пять пополудни наследник велел мне спросить у графа Безбородко, нет ли каких-нибудь дел, времени не терпящих, и хотя обыкновенные донесения, по почте приходящие, и не требовали поспешного доклада, но граф Безбородко рассудил войти с ними в кабинет, где и мне приказал наследник остаться. Он был чрезвычайно удивлен памятью графа Безбородко, который не только по подписям узнавал, откуда пакеты, но и писавших называл по именам. Сие не так покажется чрезвычайным, когда отличим бумаги одни от других: все были или от генерал-губернаторов, или от начальников разных частей, кои еженедельно, для формы, присылали государыне свои донесения, а важные и интересные дела предоставляли переписке с князем Zubовым, графом Салтыковым и генерал-прокурором. При входе графа Безбородко с бумагами наследник сказал ему, показывая на меня: «Вот человек, от которого у меня нет ничего скрытного!» Когда же граф Безбородко, окончив, вышел из кабинета, то наследник, быв еще в удивлении, объяснился весьма лестно на его счет, примолвив: «Этот человек для меня дар Божий; спасибо тебе, что ты меня с ним примирил». В течение дня наследник раз пять или шесть призывал к себе князя Zubова, разговаривал с ним милостиво и уверял в своем благорасположении. Отчаяние сего временщика ни с чем сравниться не может. Не знаю, какие чувства сильнее действовали на сердце его; но уверенность в падении и ничтожестве изображались не только на лице, но и во всех его движениях. Проходя сквозь спальную комнату императрицы, он останавливался по несколько раз пред телом государыни и выходил рыдая. Помещу здесь одно из моих примечаний: войдя в комнату, называемую дежурной, я нашел князя Zubова сидящего в углу; толпа придворных удалялась от него, как от зараженного, и он, терзаемый жаждою и жаром, не мог выпросить себе стакана воды. Я послал лакея и подал сам питье, в коем отказывали ему

те самые, кои сутки тому назад на одной улыбке его основывали здание своего счастья; и та комната, в коей давили друг друга, чтоб стать к нему ближе, обратилась для него в необитаемую степь.

В 9 часов пополудни Рожерсон, войдя в кабинет, в коем сидели наследник и супруга его, объявил, что императрица кончается. Тотчас приказано было войти в спальную комнату великим князьям, княгиням и княжнам Александре и Елене; с коими вошла и статс-дама Ливен, а за нею князь Зубов, граф Остерман, Безбородко и Самойлов. Сия минута до сих пор и до конца жизни моей пребудет в моей памяти незабвенною. По правую сторону тела императрицы стояли наследник, супруга его и их дети; у головы призванные в комнату Плещеев и я; по левую сторону доктора, лекаря и вся услуга Екатерины. Дыхание ее сделалось трудно и редко; кровь то бросалась в голову и переменяла совсем черты лица, то, опускаясь вниз, возвращала ему естественный вид. Молчание всех присутствующих, взгляды всех, устремленные на единый важный предмет, отдаление на сию минуту от всего земного, слабый свет в комнате — все сие обнимало ужасом, возвещало скорое пришествие смерти. Ударила первая четверть одиннадцатого часа. Великая Екатерина вздохнула в последний раз и, наряду с прочими, предстала пред суд Всевышнего.

Казалось, что смерть, пресекши жизнь сей великой государыни и нанеся своим ударом конец и великим делам ее, оставила тело в объятиях сладкого сна. Приятность и величество возвратились опять в черты лица ее и представили еще царицу, которая славою своего царствования наполнила всю вселенную. Сын ее и наследник, наклоня голову пред телом, вышел, заливаясь слезами, в другую комнату; спальная комната в мгновение ока наполнилась воплем женщин, служивших Екатерине.

Сколь почтенна была тут любимица ее Марья Савишна Перекусихина! Находившись при ней долгое время безотлучно, будучи достойно уважена всеми, пользуясь неограниченною доверенностью Екатерины и не употребляя оной никогда во зло, довольствуясь во все время двумя, а иногда одною комнатою во дворцах, убегая лести и единственно занятая услугою и особой своей государыни и благодетельницы, она с жизнью ее теряла счастье и покой, оставалась сама в живых токмо для того, чтоб ее оплакивать. Твердость духа сей почтенной женщины привлекала многократно внимание бывших в спальной комнате; занятая единственно императрицей, она

служила ей точно так, как будто бы ожидала ее пробуждения: сама поминутно приносила платки, коими лекаря обтирали текущую изо рта материю, поправляла ей то руки, то голову, то ноги; несмотря на то, что императрица уже не существовала, она беспрестанно оставалась у тела усопшей, и дух ее стремился вслед за бессмертною душою императрицы Екатерины.

Слезы и рыдания не простирались далее той комнаты, в которой лежало тело государыни. Прочие наполнены были людьми знатными и чиновными, которые во всех происшествиях, и счастливых и несчастных, заняты единственно сами собой, а сия минута для них всех была тем, что страшный суд для грешных. Граф Самойлов, вышедши в дежурную комнату, натурально с глупым и важным лицом, которое он тщетно принуждал изъяслять сожаление, сказал: «Милостивые государи! Императрица Екатерина скончалась, а государь Павел Петрович изволил взойти на Всероссийский престол». Тут некоторые (коих я не хочу назвать, не потому, чтобы забыты были мною имена их, но от живого омерзения, которое к ним чувствую) бросились обнимать Самойлова и всех предстоящих, поздравляя с императором. Обер-церемониймейстер Валуев, который всегда занят единственно церемониею, пришел с докладом, что в придворной церкви все готово к присяге. Император со всею фамилиею, в сопровождении всех съехавшихся во дворец, изволил пойти в церковь. Пришедши, стал на императорское место, и все читали присягу вслед за духовенством. После присяги императрица Мария, подошедши к императору, хотела броситься на колена, но была им удержана, равно как и все дети. За сим каждый целовал крест и Евангелие и, подписав имя свое, приходил к государю и к императрице к руке. По окончании присяги государь пошел прямо в спальную комнату покойной императрицы, коей тело в белом платье положено было уже на кровати, и дьякон на налое читал Евангелие. Отдав ей поклон, государь, по нескольких минутах, возвратился в свои собственные покои и, подзвав к себе Николая Петровича Архарова, спросил что-то у него; пришедши же в кабинет, пока раздевался, призвал меня к себе и сказал: «Ты устал, и мне совестно, но потрудись, пожалуйста, съезди с Архаровым к графу Орлову и приведи его к присяге. Его не было во дворце, а я не хочу, чтобы он забывал 28 июня. Завтра скажи мне, как у вас дело делается».

Тогда уже было за полночь, и я, севши в карету с Арха-

ровым, поехал на Васильевский остров, где граф А. Г. Орлов жил в своем доме. Весьма бы я дорого дал, чтобы не иметь сего поручения. Не спавши две ночи, расстроенный всем происшедшим и утомленный менее телом, чем душою, исполняя поминутно один целые сутки все приказания, я должен был при том бегать несколько раз чрез Эрмитаж в комнаты Анны Степановны Протасовой, где во все то время была моя жена, преданная не словом, но сердцем покойной императрице и находившаяся в столь горестном положении, что мое присутствие было ей весьма нужно.

Николай Петрович Архаров, почти совсем не зная меня, но видя нового временщика, не переставал говорить мерзости насчет графа Орлова и до того, что я принужден был сказать ему, что наше дело привести графа Орлова к присяге, а прочее предоставить Богу и государю. Я имел предосторожность взять с собою один из печатных листов присяги, под коими обыкновенно подписываются присягающие. Архарову, который своего милостивца и повелителя при Чесме хотел вести в приходскую церковь, я сказал наотрез, что на это никак не соглашусь. Приехал к дому Орлова, мы нашли ворота запертыми. Вошедши в дом, я велел первому попавшемуся нам человеку вызвать камердинера графского, которому сказал, чтобы разбудил графа и объявил о приезде нашем. Архаров, от нетерпения или по каким-либо неизвестным мне причинам, пошел вслед за камердинером, и мы вошли в ту комнату, где спал граф Орлов. Он был уже с неделю нездоров и не имел сил оставаться долее во дворце; чрез несколько часов по приезде наследника из Гатчины он поехал домой и лег в постель. Когда мы прибыли, он спал крепким сном. Камердинер, разбудив его, сказал: «Ваше сиятельство! Николай Петрович Архаров приехал». — «Зачем?» — «Не знаю: он желает говорить с вами». Граф Орлов велел подать себе туфли и, надев тулуп, спросил довольно грозно у Архарова: «Зачем вы, милостивый государь, ко мне в эту пору пожаловали?» Архаров, подойдя к нему, объявил, что он и я (называя меня по имени и отчеству) присланы для приведения его к присяге по повелению государя императора. «А императрицы разве уже нет?» — спросил граф Орлов и, получа в ответ, что она в 11-м часу скончалась, поднял вверх глаза, наполненные слез, и сказал: «Господи! Помяни ее во царствии Твоем! Вечная ей память!» Потом, продолжая плакать, он говорил с огорчением насчет того, как мог государь усомниться в его верности; говорил,

что, служа матери его и Отечеству, он служил и наследнику престола и что ему, как императору, присягает с тем же чувством, как присягал и наследнику императрицы Екатерины. Все это он заключил предложением идти в церковь. Архаров тотчас показал на это свою готовность; но я, взяв уже тогда на себя первое действующее лицо, просил графа, чтобы он в церковь не ходил, а что я привез присягу, к которой рукоприкладства его достаточно будет. «Нет, милостивый государь, — отвечал мне граф, — я буду и хочу присягать государю пред образом Божьим». И, сняв сам образ со стены, держа зажженную свечу в руке, читал твердым голосом присягу и, по окончании, приложил к ней руку; а за сим, поклонясь ему, мы оба пошли вон, оставив его не в покое.

Несмотря на трудное положение графа Орлова, я не заметил в нем ни малейшего движения трусости или подлости.

Архаров завез меня в дом, в котором я жил, говоря во всю дорогу о притеснениях, давая чувствовать, что он страдал за преданность государю. Кто не знал его, тот на моем месте мог бы подумать, что он был гоним за твердость духа и честь.

Таким образом кончился последний день жизни императрицы Екатерины. Сколь ни велики были ее дела, а смерть ее слабо действовала над чувствами людей. Казалось, все было в положении путешественника, сбившегося с дороги; но всякий надеялся попасть на нее скоро. Все, любя перемену, думали найти в ней выгоды, и всякий, закрыв глаза и зажав уши, пускался без души разыгрывать снова безумную лотерею слепого счастья.

Ноябрь 15-го дня 1796 года



ОХ, ФРАНЦУЗЫ!

*НАБОРНАЯ ПОВЕСТЬ ИЗ БЫЛЕЙ,
по-русски писанная*

Глава I.— Поднесение.

Сочинитель, просто одетый, с кротким и почтительным видом, с книжкой в руке, подходит к лицу, или к особе, и говорит: «Позвольте, ваше сиятельство,— или ваше превосходительство,— или просто сударь, или сударыня,— поднести вам мое сочинение. Вы русские, я русский. Многие лекаря лечат не учась от всех болезней. Ну, и я сделался глазным лекарем. Хочу снимать катаракты, и если не вылечу, то по крайней мере не ослеплю никого».

За сим приветствием сочинитель — два поклона, потом из одной горницы — в другую, из передней — в сени, из сеней — на улицу, да и был таков.

Кто он? — Никто не знает. Где живет? — Господь ведает. Ну, черт с ним!

Глава 2.— Возражение.

Зачем сочинителю таскаться по домам и подносить всем без разбора книгу, которую не все читать будут, от которой пользы мало, за которую станут ругать, которая больше брань, чем поучение, и о которой вот что заговорят:

- Какой вздор написан!
- Дурное подражание Тристрама Шанди.
- Автор, видно, стряпчий за бороды.
- Какой-нибудь бродяга!



- Либо голодный студент!
- Кто ж его послушает?
- Верно, сердит за то, что сам не учен по-французски.
- Либо не на что нанять учителя.
- Выскочка! Плетью обуха не перебьешь.
- Собака лает, ветер носит.
- C'est un fou!
- Un enragé!
- Un démoniaque!
- Un barbare!
- Un pédant ridicule!
- Un homme à jeter par les fenêtrés¹.

Ну, а если после всех этих восклицаний, брани, послловиц, французских пустых слов, после того, что меня в ином доме не пустят, в другом насмеются, в третьем обидят холопы, в четвертом оболют горячим, в пятом потравят собаками, в шестом, в седьмом сочтут за сумасшедшего, — ну, да если наконец хоть один отец, хоть одна мать сберегут детей от разврата, то я и доволен и счастлив. Сяду в кресло, посмотрю с удовольствием на свою чернильницу, потру лоб и скажу: «Доброе дело! Велика милость Господня!»

Глава III.— *Кому подносится книга.*

Всем отцам, матерям, вдовым и вдовам, коих Бог благословил детьми.

Всем женатым и замужем без детей, не старе сорока лет.

Всем холостым мужчинам до пятидесяти пяти лет.

Всем девушкам до тридцати лет.

Разумеется, благородным, по той причине, что сие почтенное сословие есть подпора престола, защита отечества и должно предпочтительно быть предохранено. Купцы же и крестьяне хотя подвержены всем известным болезням, кроме нервов и меланхолии, но еще от иноземства кой-как отбиваются, и сия летучая зараза к ним не пристаёт. Они и до сих пор французов называют немцами, вино их — церковным.

¹ — Сумасшедший!

— Безумец!

— Бесноватый!

— Варвар!

— Смешной педант!

— Человек, которого следует выбросить в окно (фр.).

Один ученый и умный духовный, разговаривая со мною о богатстве и силе российского слова, сказал: «Наш язык так изобилен и столь красноречив, что мало его хорошо знают и от сего мало хорошо говорят, а еще меньше хорошо пишут».

Сущая истина!

А все-таки пишут да пишут, говорят да говорят: всяк пляшет, да как скоморох, и я пляшу, и мы пляшем, и они пляшут.

Глава IV.— *Что за название?*

Да ведь надобно как-нибудь назвать книгу! Если кто ее читать станет со вниманием, тот, верно, до конца несколько раз вздохнув, скажет: о, французы! а кто пробежит наско-ро, тот на конце увидит: о, французы! И моя книга с головы до ног одинакова.

Но если вам хочется правильного доказательства по грамматике, извольте! Вот задача:

Склоняйте французов:

Именительный. Французы — много зла наделали.

Родительный. От французов — много зла вышло.

Дательный. Французам — ничего святого нет.

Винительный. Французы — на все готовы.

Восклицательный. О, французы!

Вот и название книги! Оно, право, не меньше прилично, чем минутное заблуждение, тысяча и одна глупость, несчастное ослепление, пагубный предрассудок и проч. Если ж название моей книги все-таки вам не нравится, я переменею. Только прочтите ее и подумайте, пожалуйста.

Глава V.— *Откуда берется.*

Когда стали перебирать французов и думали, что их вышлют всех за границу, тогда я у одного богатого русского купца в бороде, который держит все посты, ходит по субботам в торговую баню и выпивает по три самовара в день чаю, боится смертного часа, быв истинным христианином, спросил: рад ли, что французы выезжают? А он отвечал: да как не радоваться, и клопы иное место одолеют, так не знаешь, что делать, не только что французы.

Глава VI.— *Не взыщите.*

Может быть, в этой книжке кто-нибудь из читателей и найдет что-нибудь на себя похожее, или приключение, или имя, или речь, с натуры списанное, то я при начале всех прошу на свой счет ничего не принимать и уверяю честным словом, что я не живописец, не ругатель, не вестовщик, не трещотка и сору из углов не выношу, хотя до чистоты охотник. Но мало ли чего похожего на свете? Кажется, все люди на один покрой; но сила не в том, что нос покорооче или подлинней, ростом выше, или ниже, тяжеле или легче. Это наружность, а внутренность, кажется, у всех одна, сердце на левом боку, легкое на правом, желудок посередине, и хоть кажется, все на месте и все в порядке, — ну, а как станет мозг действовать, то и толку не найдешь! Велик ли человек, а что в нем помещается? Невероятно! Полк страстей, корпус слабостей, армия вздора, и места нет добродетелям. Сидят голубушки в уголку да стонут, совсем в загоне; дела не делают, а от дела не бегают, точно как при герольдии.

Глава VII.— *Лень.*

Вот уж десь бумаги измарал, а истории еще начала нет. Знаю, что писать надобно, и время есть, и фасада, и расположение, и входы, и выходы, и проходы, все готово. Что ж не начинаю? Ох, батюшки, матушки, вить я человек, — лень. Пожалуйста, не браните; ей-Богу напишу историю. Хороша ли будет, или нет, сам не знаю — это ваше дело судить. Но в моей истории все есть: изобилие и богатство редкое, людей куча, и Москва, и Петербург, вся почти Европа, и крестины, следственно, и родины. Приключения, диковинки, свадьбы, побеги, похищения, смерти; только нет погребений. Но если кто из охотников потребует, то я тотчас черный лист привяжу к книге. Пусть сам распорядит церемонией. Трудно на земле управляться с живыми людьми, а в землю их прятать безделица. Чем знатней, тем скорей. Порядок один: наперед певичие поют, там духовенство идет, потом тело везут, за ним родня в масках, постарее пешками, помоложе в каретах; холопи, пьяные в слезах, трезвые только что не пляшут, а наконец народ, сперва кланяется покойнику, потом говорит «смотреть нечего», а там бранит, а все смотрит: на то глаза!

Но редко кто, видя мертвого, о смерти своей сам поду-

мает, и хоть старее и слабее тащимого покойника, но мнит, что сам бессмертный, оттого что умереть никому не хочется. Скольких захватила смерть без покаяния, в разврате, в тяжких грехах, и тут, вместо того, чтоб употребить последние дни, часы, минуты на полезное, подумать о душе, о ближних, все мы почти сетуем, все говорим: ах, кабы знал! можно ли было ожидать! батюшки, попа! отцы мои, доктора! голубчики, бумаги! сударики, спасите! пустите кровь! пропустите шалфейцу! припустите пивок! впустите ромашки! трите бок! виски! ноги! ай! ай! ай! плохо! ой! ой! ой! беда

Но, час ударит! смерть махнет, — и всему конец.

Иной умирает без исповеди, другой в долгу, третий в ссоре, четвертый в разврате. Редкий заслужил живой хорошее имя, едва из тысячи один оставит добрую память...

Страшно!

Умереть не хочется, а книгу писать надобно.

Так и быть!

Глава VIII.— *Необходимо.*

Всегда, когда рассказывают в обществе примечательное о ком-нибудь, то мы, если тот, о ком речь, нам неизвестен, спрашиваем обыкновенно меньше о нравственности, о дарованиях и о делах его, чем о приметах, и так подробно, как будто бы в полиции заявить надобно о побеге: велик ли ростом? каков лицом? какое платье? и, по мере красоты, лет и росту, усиливается или ослабевает участие, радость, внимание и сожаление. Беда старикам и старухам, хромым, кривым, горбатым, заикам или безобразным! Пропали они! уж никто не пожалеет. А у всех на языке: туда ему и дорога. Всему есть время и предел; но добродетель, великие дела, отличные дарования и важные заслуги должны бы по справедливости оставлять память вечную. Да память-то на доброе у людей коротка, и большая часть, зная, что об них самих помнить нечего, не хотят и сами помнить о тех, кои переживают смерть, достав себе место в истории, в почтенном кругу, в честной семье; для этого-то я и опишу подробно своих актеров, из коих два человека редкие, несколько изрядных, а прочие дрянь; однако ж они в действии. Иначе нельзя. Пороки для добродетелей столько же нужны, как тень для живописи или черная

фольга для брильянта. Если б дурных людей не было, то бы не замечали и хороших; одних больше, других меньше. Ну, да и свет велик! всем есть место и дело. Везде люди, и на земле, и в земле, и на водах, даже и по воздуху летают... Вот куда залетел! попросту — заврался.

Не в первый раз и не в последний, было бы известно.

Глава IX. — *Позвольте представить: это Лука Андреич Кремнев.*

Сей почтенный человек, отец, муж, россиянин редкий, родился в 1739 году, в одной из тех изобильных губерний, где круглый год никто ни в чем не знает нужды. Родители его, старинные дворяне, были люди богатые и в большом уважении. Воспитание дали детям хорошее, укрепили тело, поселили в душе страх Божий, любовь к отечеству, почтение к государю, уважение к начальству и сострадание к ближнему. Отец Луки Андреича, Андрей Богданович, жил 82 года и умер горячкою, простудясь зимою на пожаре в чужой деревне. Его тут уговаривали, чтоб себя поберег, но он отвечал: «Чего себя беречь, когда люди погибают».

Глава X. — *Приказания отца при смерти.*

Когда Андрей Богданович почувствовал, что трудно болел, то исполнил долг христианский, с смиренным сердцем, с добрым духом, в чистой памяти и с незазренною совестью. Лекарства принимать не хотел, говоря: «Умирать время, а лечиться поздно». Призвал сыновей и говорил большему: «Слушай, друг мой, Николай! Тебе двадцать шесть лет, и ты своим умом жить можешь, а брат еще молод; мать ваша недолго с вами останется: она за мной в гроб пойдет, — так будь ты брату отцом, оставь его на ноги, правь имением и не плошай. Я вам оставляю имя честное и кусок хлеба. Что мне больше вам приказывать? Молитесь Богу и соблюдайте заповеди Его. Жизнь ваша будет честна и конец христианский». Потом благословил детей, каждого образом, обнял, вздохнув, жену, простился с людьми, попросил священника, чтоб читал отходную, и отошел к подателю всех благ. Дом, село наполнились воплем, и слышны были одни слова: «Не стало отца нашего Андрея Богдановича».

Вот его надгробная!

Глава XI.— *Настасья Матвеевна.*

Сия достойная жена предостойного мужа жила с ним в союзе, то есть в счастье, пятьдесят два года. Любила мужа, детей и молилась за них Богу. Она была барыня, мать, жена, друг, советник, наставник, хозяйка, няня, мама и сущая христианка. Видя опасность мужа, испугалась, упала духом и, истощив силы, не давая себе ни днем, ни ночью покоя, должна была лечь, и легла в одной горнице с умирающим мужем. Когда же он скончался, то она приказала снять с него золотой крест с мощами, надела на себя и стала сама готовиться к смерти. Ни слезы детей, ни родных, ни людей, ни увещания умного и почтенного священника, ничто не могло влить каплю отрады в душу ее, погруженную в тяжкую печаль. Она не вздыхала, не стонала и не плакала, но гасла три дня; занималась детьми, учила их доброму; приказывала чтить память отца и, отдав большому сыну обручальное свое кольцо, сказала: «Когда Бог сочетает вас, вот мое кольцо на счастье, да будет благословение мое над вами и над детьми вашими. Простите. Бог с вами. Он милосердие свое являет надо мною грешною и не оставляет меня одну в мире». За сим она посмотрела нежно на сыновей своих, положила им руку на голову, взвела взгляд к небу, произнесла: «Верую во единого», — но сил не стало, свет помутился в глазах ее, и она заснула вечным сном.

Дети стояли на коленях под рукою матери, наконец взглянули и увидели, что они сироты.

Через два дня одни дроги отвезли оба гроба в церковь; в одно время погребены муж и жена, единокровные; одна могила сокрыла тела их. Вечная вам память, благословенная чета!

Глава XII.— *Николай Андреич.*

По завещанию отца заступил его место и хранил свято волю его. Недреманным оком смотрел за братом и за именем, записал его в службу, снабжал всем, и когда, после полученной раны, брат принужден был оставить службу, то он уговаривал его жениться, имения делить не хотел, говоря: «Я нездоров, умру холостым, все достанется тебе или детям твоим. У нас все общее, а ты управителя лучше и честней меня не найдешь». Для сего, после кончины родителей, пошел в отставку. Но случась на Волге в своих деревнях, во время разбоев Пугачева, остановился в одном маленьком городке, где не было начальника и все было

в тревоге. Он пришел на площадь и сказал народу: «Злодей идет вас грабить и губить. У вас и ружья, и порох, и руки есть, а нет командира. Я майор, рад служить и умереть с вами». — «Нам то и надо!» — закричала чернь. Николай Андреич сколько мог и успел, учредил все. Через два дня пришел Пугачев, стал брать город. Защищать некому. Смелые бросились в окоп с храбрым начальником, расстреляли весь порох, большая часть легла на месте, остальные сдались, а Николай Андреича смертельно раненного привели к злодею. Он ему предложил присягу или смерть и вот какой получил ответ от достойного сына Андрея Богданыча: «Я дворянин Кремнев, майор, и присягал в верности Великой Екатерине. Как ты злодей смеешь думать, чтоб я осрамил себя и весь род мой изменою? Конец — минута, позор — вечность. Спешу казнить, или я умру своею смертию».

Злодей и толпа, его окружающая, разъяренная сею речью, кою они постигать не могли, но слышали, бросились на него и изрубили его в мелкие части. Пал герой! Злодей пролил кровь драгоценную, но она под ним текла реками.

Глава XIII. — Смешной вопрос.

Полно, правда ли? Неужли в самом деле был майор Кремнев с таким большим духом?

Вот тут меня и бросит в жар: одна щека покраснеет, другая побледнеет, губы затрясутся, глаза заморгают, руки сведет в кулаки, и я, заикаясь, стану проповедывать.

Разве я виноват, что вы ничего не знаете и знать о своей земле не хотите; что говорят о ней, того не слышите, а что услышите, то забудете. Стыдно! непростительно! Да вы в состоянии иные и тому удивиться, что Николай Андреич так говорил и так умер, а что он был? Дворянин, майор и сын Андрея Богданыча. Отцы ваши, деды и прадеды этому бы не удивились; отцы бы сказали «спасибо», деды: «не диковина», прадеды: «нашего поля ягода».

А вы говорите: «Полно, правда ли?» Да полно, слышали ли вы, что сделал...¹ при Дмитрие Самозванце. Исповедался, причастился и пришел ему доказывать при всех, что он не царь, а Гришка расстрига. Тут его и изрубили.

А бомбардир, который попался к Пугачеву и, нарочно приведя разбойников ночью на батарею, закричал своим:

¹ Пропуск в рукописи. Имеется в виду дьяк Тимофей Осипов.

«стреляйте, ребята, вот изменники!» — и был убит с ними?

Знайте, что геройству, верности государю и отечеству, великодушию и бескорыстию русских нет конца, и для того прежде сим никто не хвастал, что было не в диковинку. Где был Пожарский, Минин и Еропкин?

Еще вот новая беда: те, кои мало знают или вовсе не знают знаменитых своих соотчичей, а наизусть вытвердили анекдоты французской монархии от Фарамонда до Людовика XVI, те, верно, все помнят историю сержанта Жилета и капитана д'Ассаса для того, что они французы, что учителя про них твердили и что их портреты везде. Жилетов и я, помню, видел в Зимогорье и в Кременчуге в трактирах. Цена им, я думаю, 10 копеек, да и дело бездельное. Жилет, инвалидный сержант, шел подле лесу, кричат разбой, он на шум — видит двух воров, девку, привязанную к дереву. Жилет одного вора ранил, другой ушел, девку отвязал, отвел домой, историю огласили, портрет списали, награвировали, собрали денег, в театре надели лавровый венок и, вместо Жилета просто, стали звать — храбрый Жилет. А д'Ассас, в Семилетнюю войну, пошел ночью дозором по лесу, шел впереди. Его остановили прусские гренадеры и сказали: «Молчи, или смерть!» Д'Ассас вскрикнул: «Ко мне, овернские! вот неприятели!» (*à moi d'Auvergne! voilà les ennemis!*), и д'Ассаса награвировали, но он дорог и в трактирах его нет, а находится в домах, где жалуют эстампы.

К стыду общему, у нас, может быть, есть и не один такой, который, смотря на д'Ассаса и на Жилета, воспламеняется духом, завидует французам и не в первый раз жалеет, что и сам не француз. Закричи: «А moi mes amis!»¹ — он рад в окно выпрыгнуть. Зареви: «наших бью!» — он спросит: «чьих?»

Отец их, не отворачивайся, мать, не прячь лица. Я дождусь, как выйдут дети, и скажу вам: «Жаль вас, жаль время, жаль детей: вас — что вам в старости не будет утешенья; время — что напрасно пропало; детей — что они ни то ни се, ни рыба ни мясо».

Глава XIV.— *Артельщик.*

Шел я, гуляя, по Фонтанке, в ноябре, в то самое время, как река только лишь стала; увидел толпу людей и посреди

¹ Ко мне, друзья (*фр.*).

девку в дурном платье, которая хотела было утопиться; вид у ней был и странный и развратный. Все ее бранили, все упрекали и давали не вовремя поучения. Я спросил, кто ее вытащил, и один из толпы сказал: «А вон в синем-то». Тогда, подошед к этому человеку, который, дрожа от холоду, выжимал кулаки, я начал с ним следующий разговор:

Я. — Ты, брат, вытащил девку-то из воды?

Синий. — Я-с; мне Бог помог.

Я. — Да отчего это она хотела утопиться?

Синий. — А Господь ее знает; видно, блажь нашла. Я вот шел от хозяина с письмом, иду, а она, дурища, прибежала на ту сторону, посмотрела, знашь, через перила-то да и бултых; а я перекрестился да туда же за ней.

Я. — И не раздевшись?

Синий. — Куда раздеваться! Уж тут нечего кафтана жалеть; как-нибудь бы да душу-то спасти.

Я. — И скоро ты ее схватил?

Синий. — Схватил-то скоро, да долго бился. Знашь, лед; он, правда, хоть и тонок, да плыть-то несподручно, а подсобить некому, вот што! Она же меня схватила за руку да и замерла, видно, от испуга; такая пострел, топиться-то топилась, а на дно не хочется.

Я. — Ведь и ты мог бы с нею утонуть? А уж ей без тебя не быть бы в живых.

Синий. — А почему ж так? Народу много ходит; ну, не я, так другой бы вытащил. Пожалуй, не диковинка; ну, да вот вишь спас обех.

Я. — Доброе дело ты сделал; ведь не смотреть на нее. Вот, брат, тебе двадцать пять рублей: ты прозяб; выпей да согрейся.

Синий. — Да я-с и вина-то сроду не пью, а озябать нам не привыкать. Деньги-то лучше, барин, дай этой девке; не диви, она от бедности и руки-то на себя наложила.

Я. — Скажи же, друг сердечный, откуда ты?

Синий. — А вот недалеко, от Вологды; я артельщик, служу на конторе. Прощайте, барин; доброе вам здоровье. Пойти выпить сбитню с перечком.

Сказав сие, синий друг человечества пошел по Фонтанке, так, как бы он не делал славного дела, не подвергал жизнь свою опасности, и пристыдил меня отказом. Я вошел опять в толпу; девку узнали, что она чухонка, не знала говорить. Чему дивить! И утонуть-то не умела. Я от ней хотел узнать, что ее принудило к самоубийству; но она ни говорить, ни смотреть не хотела. «Вишь кака рыжая! Эка чертовка!» На-

род разошелся, девку взяли на съезжую сушить, спрашивать и увещевать; а у меня остался навсегда в памяти артельщик. Я его как теперь вижу: мужик лет тридцати, невелик, борода черная и взгляд свой, то есть честный. Он, верно, тотчас забудет, что спас человека, и вспомнит разве иногда зимою, когда прозябнет.

Вот вы слышали о чухонке и о синем кафтане; прошу сказать, каков вологодский мужик? Взглянул, увидел опасность, забыл себя, спас человека, встряхнулся и пошел!.. Вот д'Ассас! Вот Жилет! Вот работа для живописца, для стихотворца; вот пища для сердца и души, но не для всякой!..

Глава XV.— *Рождение и крестины Луки Андреича.*

Лука Андреич родился в селе у отца, 1 октября, то есть в самый Покров, и в память сего происшествия обрадованные его родители, по обещанию, обложили местный образ в богатую кованую ризу. Радость их была оттого велика, что Настасья Матвевна (матушка Луки Андреича) шестнадцать лет не рожала после родин первого сына, так что Андрей Богданыч уж отчаивался иметь еще детей. Иногда, сидя с женой, говаривали они так:

Муж.— Настасья Матвевна, надобно б еще детей!

Жена.— Где ж взять, друг мой? Бог не дает, что делать!

Муж.— Ну, как что делать? Молиться Богу. Николай малой хоть куда, да что-то слаб; воля твоя, а не худо бы еще нам ребеночка другого.

Жена.— Что ж? Мы люди не совсем старые; может быть, Бог в немочи нам и поможет!..

Муж.— Вот ты тут всегда немочь-то и примешаешь. Эх, с тобой о деле говорить нельзя!

Жена.— Ну, как тебе угодно; да с тобой все невпопад.

Андрей Богданыч, после этих разговоров, бывал иногда сердит по нескольку часов, отговаривался в сердцах верхом садиться и на лестницу идти, повторял, придираясь ко всему: «Да где мне? Я уж из сил выбился. Где мне силы взять? Мы люди старые, не наше дело; только смеху наделаешь». И когда тут случалась жена, то она ему говаривала: «Вот ты, мой друг, ко всему придерешься; у тебя всякое лыко в строку». Андрей Богданыч, будто не ей, всегда, бывало, сквозь слез проворчит: «Да коли нет ремешка, так и лычку обрадуешься».

После родин второго сына, когда разговор обращался на старость, слабость и проч., тогда Андрей Богданыч более

уже не серживался, а вместо ответа всегда засвистит и велит малому сказать маме, чтоб принесла или привела Лукашу, и, приласкав дитя, посмотрит лукаво на жену и всегда, бывало, ей скажет: «Настасья Матвевна! Это не наше дело», — а она ему: «И, мой друг, что за шутка? Пожалуйста, полно». А он ей: «Что делать, матушка! Люблю мешать дело с бездельем».

Итак, родился Лука Андреич; а когда точно, это можно отыскать в метрических книгах и в святцах (если целы) Андрея Богданыча, в которых он своею рукою записал: «1739 года 1 октября, по власти Божией, родился у нас сын Лука, коего крестил воевода Сидор Евстафьевич Поборов с Пульхерией Евстигнеевной Кастиловой». Чему ж верить, как не этому?

Глава XVI.— *Примета.*

Мы думаем, что все знаем, а выходит, ничего или очень мало. Иной заявляет, что ничему не верит, а ни в чем не сомневается; другой над всем смеется, а все уважает; третий ничего не боится, а от всего дрожит. Рассудок запрещает верить снам, предчувствиям, приметам; но многие примеры заставляют колебаться в отвержении существа многих вещей, совсем уму человеческому непонятных. Сны больше всего занимают, радуют и печалят многих людей. Доктора доказывают, что сон есть произведение обремененного слабого желудка, раздраженных нервов, паров, кои, поднимаясь в голову, теснят мозг, приводят в действие воображение и расстраивают сон, определенный всякому животному для восстановления истощенных бдением сил, — все это хорошо; однако ж это все пустословие, потому что до сих пор ни один доктор не знает причины действия нервов, оттого что анатомят тела мертвые, в коих жизненного движения уже нет. Три века анатомия была главный предмет медицинской науки и служила ей фундаментом; думали все, что она доведена до совершенства; но вдруг какой-то Галл открыл первый, что мозг в черепе сложен как салфетка и что его можно развертывать. Следовательно, судить по неодушевленному телу о действии моральном живого человека все равно, что узнавать людей по домам, в которых они некогда живали; но зато варение желудка в точности доказано, надобно думать, оттого, что без воображения, без деятельности, без пылкости и без ума жить легко можно, а без еды никак; да она же главный предмет эскулапов в практике; от ней они сыты сами и от

них аптекари, столяры, каменщики, резчики, даже и мелкие стихотворцы, потому что стихи на смерть знатного или богатого столь же по благопристойности необходимы, как плёрезы, черная фланель, мавзолей и вызов должников.

Накануне рождения Луки Андреевича отец его видел во сне, будто пришел к нему в дом человек, маленький, сухой, бледный, и убил сына; что он бросился на него, но маленький человек обратился в ветер и исчез, сказав: «Не первого и не последнего». Андрей Богданович проснулся, перекрестился, плюнул, перевернулся на другой бок и заснул; а на другой день в шутку рассказывал соседям свой сон, заключая: «Верь, пожалуй, снам! такой вздор иногда лезет в глаза, что и не сообразишь».

После родін бабушка повивальная хотела ребенку впустить в рот капельку белого вина, но ошибкой ей подали французской водки, и дитя чуть не захлебнулся — по счастью, не проглотил. Кормилице сделали из французского штофа телогрею; но ребенок, когда она в праздничные дни бывала в наряде, ни под каким видом не брал груди, до тех пор, пока кормилица переоденется.

Из всего этого Андрей Богданыч и сделал заключение, что сын его новорожденный французов любить не будет. «Смотри-ка, — говаривал он Настасье Матвеевне, — ведь это недаром Лукаша-то штофной телогреи не любит; видно, водкой-то его так отбаловала, что душа его ничего французского не принимает».

Настасья Матвевна. — И, друг мой, захотел ты ума от ребенка! он блажит так; будто он знает, что такое водка и штоф французский! Да за что ему французов не любить?

Андрей Богданыч. — Ну, да и любить-то не за что; народ пустой и люди сумасбродные, все гаёры. Я хоть мало их видел, да довольно с меня; они мне совсем не по натуре.

Настасья Матвевна. — Да они, сказывают, такие люди учтивые.

Андрей Богданыч. — Я этого-то и не люблю. Коли человек все кланяется: либо нищий, либо плут, — право, так!

Настасья Матвевна. — Вот ты и готов бранить.

Андрей Богданыч. — Да хоть и побить.

Настасья Матвевна. — Помилуй! За что же?

Андрей Богданыч. — Да так. Все-таки лучше дать острастку.

Прошу не забыть сон отцов, водку бабушки и телогрею кормилицы. Следствие покажет, что это все не даром.

Глава XVII.— Воспитание.

Кормилицу выбрал сам Андрей Богданых, молодую и здоровую бабу, расспросив подробно и проведая всячески о ее нравственности и поведении. Много при сем случае было искательства и происков: о иной бабе просил прикащик, о другой ловчий, о третьей казначей; но просьбы остались втуне, и до родин барин отговаривался одним словом: «посмотрим»; а как родился дитя, то послал за назначенной им бабой, и она была приведена, объявлена кормилицей новорожденного и введена без присяги в должность, получа следующее поучение от господина: «Смотри ж, Анисья! береги ребенка, как глаза, твое счастье в том: коли выкормишь порядочно, то тебе 20 рублей, и муж и ты в отставку; а коли не то, так взашей прогоню, да и на глаза ко мне не показывайся! Слышишь? Было б тебе сказано».

Анисья поклонилась в пояс и отвечала: «вестимо дело», — и обратилась в холмогорскую корову. В то же время определена к ребенку и мама. Она хаживала некогда за барыней, а после за ключами, была умная и честная женщина. Андрей Богданых за то ее любил, что муж ее утонул в Оке, бросившись спасать его в одно время, как он, переезжая весною, провалился на льду, и когда речь доходила до опасности, до верности и до хороших слуг, то Андрей Богданых всегда со вздохом говаривал: «Много людей, а другого Филиппа вряд ли нажить! Сердечный! вечная ему память!»

Эта мама была при дитяти до 9 лет, сыпала в одной с ним горнице и поселила по-своему в него страх Божий и любовь к родителям, приучила к чистоте и опрятности и столь умела довести ребенка себя любить и почитать, что когда она умерла, то он с неделю был неутешен.

Физическое воспитание, надобно думать, было хорошо, потому что Лукаша 10 месяцев стал ходить; в три года Герасимовна (имя мамы) не могла его догонять; в шесть лет уж он хаживал верст за пять в поле ловить перепелов, а в 9 мог по целому утру ездить на иноходце с собаками.

По-русски его учил священник, арифметике сам отец, а после смерти его — по-немецки, геометрии и на скрипке играть Иоган Христофорович фон Бутергаузен, отставной инженерный штык-юнкер. И не мудрено! он не знал простуды и неварения желудка, — пил и ел чего сколько душа хотела, по субботам хаживал в гсенгу, то есть в баню, сыпал равно на сквозном ветре и на лежанке; в горнице сживал в тулузе, а на дворе в мороз бегивал в халате, квас пил на

молоко, чай на репу, познакомился с 3 лет с ленивымищами, с ботвиньем, с няней, с рубцами, с блинами, с киселями, кашами, чинеными желудками; и когда спешил есть, то отец, улыбаясь, говаривал: «Э, как Лукаша уписывает! за ушми пищит!..»

Глава XVIII.— Няня.

Поместя в числе кушаньев няню, намерен тем, кои не знают, что это за блюдо,— его описать. Няня-составляется из телячьей головы, из гречневых круп и свежего коровьего масла; все кладется в горшок, замазывается тестом и становится на сутки в печь; потом из горшка выходит кушанье, в коем мудрено решить: что вкусней — каша или мясо? Почему же такое смешное название? А почему же оно смешнее котлетов в бумажках (*en papillotes*), котлетов с жабами (*à la sarreraudine*) и ста других блюд, имеющих смешные и незначащие названия? Что нужды до имени, когда знаешь вещь; желудку надобна пища, а не слова; няня же, ей-Богу, здоровей, питательней и вкусней, чем бир-суп, габер-суп, клёцки, луковый суп (*soupe à la l'origan*), макарони и пуддинги с изюмом.

Может быть, я напрасно выдаю эту главу; но хотел остеречь тех, кои, плохо зная русское, могут подумать, что дитя был людоед и кушал нянюшку; следственно, это просто объяснение в непросвещении, да и куда мне учить ученых! Я не философ, а русский, живу по-русски, думаю по-русски, и если б не родился русским, то сокрушался бы, что не русский.

Глава XIX.— Должно бы —

Найти другое слово для означения воспитания нравственного, потому что слово «воспитание» больше относится к телесному, происходя от глагола питать, выкармливать; в старину в этом нужды не было, потому что нравственность и наука заключались в научении закону Божию и в присяге; но тогда молодые люди, по примеру родителей, знали священное писание наизусть, и луч святой истины в юном еще возрасте проникал в глубину души и просвещал умы, неподверженные умствованиям и незараженные вольнодумством. Люби Бога, государя, отечество, честь; стой и умирай за них,— вот поучения, приказания отцов и матерей... Они тогда умели любить, умели и наказывать детей. Тогда косой взгляд отца или матери был поразите-

лен, даже для седого сына или дочери. Почтение и повиновение столько же тогда были свойственны детям, как ныне чуждость и неуважение.

Так как старики были люди умные, то они и знали всю цену здоровью; без него нет счастья, нет пользы, нет утешения... Мне возразят: много было и есть людей с слабым здоровьем, но с отличными дарованиями? Я не спорю, но и со мной спорить не можно в том, что эти же самые люди, с крепким сложением, имели бы еще гораздо больше и ума и знаний и, занимаясь меньше сохранением слабого здоровья, больше бы могли быть полезны. Как сильно работать головою и быть деятельною, когда нет надежды довести к концу начатое, когда должно делить время между болезнями и докторами! Как думать свободно о чем-нибудь, когда должно поминутно быть заняту собою... пять месяцев бояться воздуха, а семь — сидеть взаперти!.. Поверьте, что без хорошего желудка человек и себе и другим в тягость. Все те, которые произвели великие дела, были крепкого сложения и варили пищу хорошо. Посмотрите, что произошло от дурных желудков! Сколько прибавилось докторов, аптекарей, карликов, дураков и проч... Праотцы наши с трудом наедались, а мы всего объедаемся; доказательство тому, что почиталось за обиду, когда почетный гость откажет кушанье или вино, уговаривали словом: «За что же такая немилость? не обидьте нас»... Ну, да если желудки испортились, на что же ездить по званым обедам? а где же почваниться, как не у подчиненного, у челобитчика, у купца, у приверженного? Они зовут из чина, из дела, из подряда, из хвастовства, чтоб сказать: «Его сиятельство, или высокопревосходительство, изволил, по милости своей, у нас кушать», — и спасибо за такой обеденный стол никто не скажет хозяину; из пяти четыре, объевшись, его же бранят, приговаривая: «Обкормил, черт его побери». Черт у людей всегда в чести и главный поверенный во всех делах.

Глава XX. — Мамы.

Хоть мамы эти, кои хаживали за детьми и были простые барские барыни, без просвещения, в набойчатых или ситцевых кофтах, с повязанным на голове платком, но они отнюдь у детей ни умов, ни сердец не портили; хотя и пугали их волками, мертвецами и смертью-курноской, но не говаривали, что отец дурак, мать зла, что все после детям достанется. И чем жены английского конюха, швейцарского пастуха и немецкого солдата должны быть лучше,

умней и добронравней жен наших прикащиков, дворецких и конюших? Но это мамы, а те *bonnes* — все для того, чтобы ребенок первые нужные слова, которые после и забудет, выговаривал не по-русски; однако ж из него сделают не серого попугая, скворца, сороку; эти говорят: «*veux tu déjeuner Jacquot?*»¹, «поп у ворот», «сорок каши», а дети: «*bonjour, papa*», «тенк'ю (*thank you*)», «гут морген (*gut morgen*)». Тут мне скажут: да как: нынче маму выпустить? сын мой не Митрофанушка. Ну! берите иноземок!.. Да и барских барынь нынче уж мало, а все девушки, которые днем и вечером под окном, днем в доме, а ночью на улице, и они больше знают воспитательный дом, чем приходскую церковь.

Глава XXI.— *Послужный список Луки Андреича.*

В 1755 году записан в преображенский полк солдатом и в том же году пожалован капралом. В 1756 в фурыеры, в 1757 в подпрапорщики. В 1758 выпущен по именному указу в поручики, быв в Царском Селе на ординарцах при получении известия о победе над пруссаками, и определен в санктпетербургский полк. В 1759 пожалован в капитаны за взятие в плен роты с офицерами. В 1760, за отличие, в секунд-майоры, отбив у неприятеля 8 пушек. В 1762, при производстве по армии, произведен в премьер-майоры. В 1766 в подполковники, в 1771 в полковники, за храбрость, при взятии штурмом Бендер. В 1773 ранен и отпущен до излечения, пожалован кавалером военного ордена. В 1774 отставлен бригадиром. В 1776 женился.

Глава XXII.— *Помилуй, батюшка!*

Зачем изволил поместить женитьбу в послужной список? Это, право, ни к селу ни к городу! — Извольте выслушать, а там подведите под военный артикул. Благословен и многосчастлив тот человек, которого Бог наделит женой честной, умной, благонравной и великодушной. В ней супруг имеет любовницу, жену, друга, советника для себя, наставника, попечителя и пример для детей. Ею удвоется счастье самого благополучного человека, умножаются забавы, спокойствие, утешение и отрада в жизни. Расставаясь со светом, муж сей жены сокрушается больше о ней, чем о самом себе. Полвека счастья кажется ему минутой;

¹ Ты хочешь завтракать, Жако? (*фр.*)

он не видит в предстоящем ни разврата, ни невежества, ни напастей для детей своих, представляя их в глазах и под покровом добродетельной матери, и, умирая, просит у Бога единой милости — чтоб продлил жизнь жены его... Вот союз, где все дни ознаменованы взаимным счастьем, единодушной молитвой благодарности к Творцу мира!.. Союз завидный, примерный, — но редкий, и очень редкий; однако ж у нас есть, — и я его описал, не выходя из своего дома. А там далее — обыкновенно по тому, что мы знаем, что видим, что слышим, счастье часто, кажется, будто женится на любви или дружба на добродетели, — ничего не бывало: беда на проказе или скука на дурноте... Отчего же это? Оттого, что женятся большая часть по страсти слишком молоды; тут ни рассудка, ни глаз, ни ушей быть не может; а там и найдут причины, и вот в каком порядке: 1) страсть, 2) богатство, 3) знатность, 4) чины, 5) покровительство, 6) подлость, 7) скука, 8) огорчение, 9) странность, 10) свычка, 11) скотство, 12) страх, 13) так. Как же, вынужден из этой лотереи два номера, то есть мужичка с бабочкой, не найти картину военной службы в неудачной женитьбе: сперва служба легкой кавалерии и конной артиллерии, потом тяжелой кавалерии, осадной артиллерии, гарнизонная, инвалидная... Муж с женой в войне — редко в перемирии, ошибки частые, жена в разъездах, муж на часах ходит дозором, всех окликает, ловит курьеров, шпионов, языков. Жена, как открытый город или крепость с проломом, сдается — кто ни подступит, и берут ее подкопом, переговором или обманом, изнуренную форсированными маршами и трудами, приведя все в беспорядок и затопя окрестности. Когда муж появляется, неприятель отступает, а он исправляет все испорченное, осушает залитое, засыпает ворота. Часть гарнизона гоняет шпицрутенами, нескольких, для страшного примера, отправляет в каторжную работу и сидит вооруженный у подъемного моста, увещевает, напоминает любовь, закон, присягу; но только лишь вон из крытого пути и вышел в форштадт, то другой неприятель, или тот же опять, занимает его место, и крепостца, по превратности вещей в мире сем, ежедневно переходит из рук в руки; нет в ней ни дня ни ночи покою, только и видно, что и свои и чужие взад и вперед входят и выходят. Теперь, прошу сказать, можно или нет поместить в послужной список ту женитьбу, в которой муж попадает в крепость? Можно и должно!!!

Глава XXIII.— Дополнение к русским мамам.

Спорил, один раз, я до слез с приятелем, который, прича себя терпеть французов, читав много их книги, проводя много время в их земле, сделался несколько к ним пристрастен и несправедлив насчет своей земли. Он нападал слегка на многие русские обычаи, охуляя их, а я защищал все грудью, приводя пример подобный или похожий на наши в чужих краях. Главное прение было о воспитании, и он ополчился крепко против мам и нянь русских. «Что это за дрянь!— кричал он.— Чему от дур научиться? они прививают глупость детям, продолжают их невежество, населяют в них предрассудки, удаляют просвещение и закаливают их головы». — «А французские няни, или, по-вашему, *bonnes* (добрые), не врут при детях?» — «Совсем нет, или меньше, они сказывают басенки, историйки, поют песенки, и во всем есть что-нибудь поучительное, занимательное и нравственное». — Поздравляю! прошу выслушать: я видал много и русских мам и нянь и чужестранных; вспомню, что те и другие говорят, и станем сравнивать. До четырех лет детей забавляют, унимают от слез или мешают плакать; обыкновенно держит няня ребенка на руках или на коленях и сказывает ему, что знает, а все одно.

Англичанки говорят:

See, saw,
Margery Daw
Lord her bed
And laid upon straw.
Was not she
A nasty slut,
To sell her bed
And lay in the dirt?

Перевод:

Си, са,
Маржере Да
Подала постелю
И легла на солому.
Не была ли она
Замаранная потаскушка,
Что постелю продала
И в грязь легла?

To market goes the
gentleman,
So we do, so do we.
There goes a lady,
An amble, an amble.
There goes a Mylord,
A trot, a trot.
There goes a footman,
A gallop, a gallop.

Едет на торг господин,
Так и мы, так и мы;
Там едет барыня,
Иноходью, иноходью;
Там едет милорд,
В рысь, в рысь.
Там едет лакей,
В скок, в скок.

Француженки :

Oeil oeillet,
Joue bru'ee,
Joue rotie,
Menton bis,
Bouche d'argent,
Nez cancan,
Craque, Margotte!

Перевод:

Глаз гвоздика,
Жженая щека,
Жареная щека,
Черный подбородок,
Серебряный рот,
Прямой нос,
Хватай, Маргота!

Русские:

Сорока, сорока,
Кашу варила,
На порог поскакивала,
Гостей посматривала.
Вот этому дала
И этому дала,
А этому не дала,
Он оплошал.
Тут пень,
Тут колодезь,
Тут тепленькая водица.

И в эту минуту сперва щекотят ребенка на ладоне, там на сгибе рук, а наконец под мышкой — как смеется! А от 4 до 7 лет обыновенная история по-французски:

De la Barbe Bleu,
Du petit Poucét,
Du prince Riquet.

Синяя борода,
Мальчик-с-пальчик,
Принц Рикет.

Песни:

Compère, dors-tu?
Et si je ne dormais, pas me
veux tu?
Prêtes-moi ton âne pour
aller à Peron.
Ah! compère, je dors.

— Кум, спишь ты?
— А если не сплю, что тебе
надо?
— Ссуди своим ослом съез-
дить в город.
— Ах, кум, я сплю.

Что за поучение — обманывать? притвориться сонным и отказать грубым и глупым голосом осла куму?..

J'ai du bon tabac dans ma
tabatière,
J'ai du bon tabac, tu n'en
auras pas.
J'en ai du fin
Et du rappé,
Mais ce n'est pas pour ton
vilain nez.

У меня есть славный табак
в табакерке,
У меня есть славный табак,
да не для тебя.
Есть хороший
И стертый,
Но не для скверного твоего
носа.

Что тут хорошего: дразнить табаком и упрекать носом?..

Давно уж я приметил, как приятно быть горбатым. Это что за непристойность? и как приучать ребенка насмеяться над безобразием, от коего не в нашей воле избавиться?.. Наши сказки о Бове Королевиче, о Евдоне и Берьефе, о Еруслане Лазаревиче, о Илье Муромце заключают нечто рыцарское, и ничего неблагопристойного в них нет.

Глава XXIV.— Поведение.

Когда Луку Андреича брат записал в гвардию, то оставил жить в доме у капитана той роты, который был внучатный дядя недорослю, человек старый, расположенный умереть в гвардии, отказав полковничий чин в армии; он жил дома по старине, был хлебосол, комадир и наставник добрый. При Луке Андреиче оставлен был его дядька — Анисимыч, у коего и деньги были на руках, и он, неохотно их давая молодому своего барину, приучал его нечувствительно к бережливости, а чтоб лучше отделаться в случае требований, имел всегда готовый ответ: «Деньги не мои; пожалуй, извольте брать, да ведь я братцу отдам отчет, тогда не мне стыдно будет, хоть я за вас и дурное слово прийму». Да, в тогдашнее время и слуги подобные бывали и присмотр другой. Недовольно родные да и знакомые или сослуживцы старикам заступали их место у детей. Трактиров не знали; и если не можно никак было поместить у себя в доме, то заставляли молодых людей жить поблизости себя, чтоб иметь всегда под глазами. Беда, когда день не побывает — заленился на службу или замотался: тотчас поучение и наказание. От этого самого молодые люди сохраняли нравственность, здоровье, честь, почтение к старикам и уважение к начальству. Долг этот обращался в привычку; им в голову не приходило, чтоб должность их, законами предписанная, и старый или заслуженный человек могли быть смешны; и, проводя молодость в сем честном житии, в совершенных летах они сами содеывались примерами, а в старости наставниками, возвращали внучатам правила, переданные им дедами, — и вот этот-то долг красен был платежом. И так Лука Андреич ходил до смерти по стопам добродетели, молодым был замечен по службе исправностью, поведением, ревностью и отличной храбростью начальниками, был учтив, но не искателен, с подчиненными ласков, строг, всю жизнь весел, шутив, хлебосол, защитник притесненных, благодетель бедных, утешитель несчастных. Офицеры, солдаты, слуги его и крестьяне называли отцом;

и он точно был нежный отец для всех тех, кои от него зависели. Что же счастливее могло быть. Подождите, он еще жив.

Глава XXV. — Портрет.

Росту он был 2 арш. 10 вершков с четвертью, широкоплеч, прям, по-русски богатырь, по-заморски Геркулес, черноглаз и черноволос. Хотя черты его лица были несколько и грубы; но глаза, в коих была его душа, имели силу привлекательную: взгляд его подзывал всех, никому не говорил: «не подходи». Сила была чрезвычайная, и он с прусской войны заклился никого из своих рук не бить, ударив раз по щеке жида, укравшего артельные деньги; но еврей живучи, и плут Исаак, полежав запертво часов с шесть, в госпитале с месяц и поплевав кровью с год, оправился и перестал красть, что почти невероятно. После раны Лука Андреич потерял с силою часть здоровья и под старость имел предпочтенный вид; сохранил до конца жизни волосы и зубы, и всегда и везде в нем виден был воин, барин и молодец. Одевался по летам без всякой странности и всегда в георгиевском кресте, говоря: «Это мой грудной аттестат и паспорт». Портретов его не осталось, хотя два раза писали: один не полюбился за то, что живописец, желая дать ему вид геройский, дал вид злой; а другой написал его с книжкою, и он говорил мне: «В портретах неудача: на одном представили мизантропом, а на другом философом с адрес-календарем».

Глава XXVI. — Анекдоты.

Когда он был ранен, то вылечившему его фельдмаршалу доктору офицеры подарили, собрав между собой, 1000 рублей. — Под Хотинном сказали в лагере, что Лука Андреич убит, весь полк прибежал в отчаянии; увидя его невредима, солдаты стали креститься, и, узнав, что убит майор фон Газенхирон, иные сказали: «Ну, туда и дорога!» Лука Андреич их за это стал было бранить; но гренадеры отвечали: «Майоров много, можно и пожаловать, а тебя, отца нашего, Бог одного создал». — Во время мирного торжества, когда он был с почтением у кагульского победителя, то сей ему сказал: «Знаете, мне жаль вас видеть в отставке, служба об вас всегда жалеть будет; ведь я вам говорю это истину; я с вами служил и вас знаю, да кто же вас и не знает?»...

Когда сын его представлен в армии был непобедимому Суворову, то сей герой, спрося и узнав, что он сын Луки Андреича, сказал: «Батюшка твой отличный человек, храбрый офицер, христианин, патриот; коли ты в него, то далеко пойдешь, помилуй Бог; пожалуйста, будь в отца, лучше быть нельзя; попы запоют «Тебе Бога хвалим». — Во всей губернии при спорах все говаривали: «Да, я прав, хоть сейчас на суд к Луке Андреичу». В доме, когда он сыпал, то ни один человек громко не говаривал и все ходили на цыпочках, передавая друг другу: «Барин изволит почивать; ему покой дать надо; не шумите, братцы». — Если в разговорах кто в приветствие или в похвалу напоминал об этих лестных случаях и просил подтверждения у самого Луки Андреича, то он из скромности перебивал разговор двумя речами: «Мало ли чего было, не все припомнишь!» Как хочется обнять Луку Андреича! А я б у него и руку поцеловал...

Глава XXVII. — *Свой язык.*

Лука Андреич любил пошутить, но никогда в обиду; многим вещам у него были собственные названия, коим здесь прилагается список:

- Англоман — клеперк.
- Французоман — стригун.
- Немцоман — моренкопф.
- Щеголь — Леандр.
- Романическая женщина — лунатик.
- Гордец — волынка.
- Игрок банкир — лихой татарин.
- Банк или фараон — застенок.
- Игрок-понтер — малолетний.
- коммерческий — сидень.
- Влюбленный — астроном.
- Путешественник — микроскоп.
- Человек совершенный — феникс.
- дурной — прописной.
- плут — уголовный.
- Болтун — мельник.
- Приветственник — колмогор.
- Потакатель — виолончель.
- Грубиян — дубинка.
- Джун — газетчик.
- Женщина маленькая — капелька.
- Красавица — жемчужина.

Дурная лицом — держи право.
 Распутная — лоханка.
 Худая — лучинка.
 Жирная — маканая.
 Ханжа — земляная.
 Человек подлый — туфля.
 — гибкий — поклонный.
 Пьяница — кубик.
 Попрошайка — насос.
 Красавица — душа.
 Горбун — кisa.
 Хромой — кавылюк.
 Справедливый человек — солнечные часы.
 Смерть — конфискация.
 Заика — скрипун.
 Ученый — кладовая.
 Философ — землекоп.
 Скучный — могильный.
 Вольнодумец — римский шут.
 Добродетельная жена — дар Божий.
 Винокур — полугарный.
 Знатный барин — Юпитер.
 Дама-сплетница — кружевница.
 — модная — шармант.
 Модный молодой человек — дезертир.

Глава XXVIII. — *Готовится.*

Лука Андреич, раненый бригадир в отставке, прекрасный мужчина, известный богач — если бы и не хотел жениться, то б на нем женились. Привыкнув с малолетства заниматься службою, принимать или давать приказания, он почувствовал в одиночестве скуку и часто бывал задумчив. Объехал свои деревни, но не мог в них долго остаться. В елецких не было дома, в саратовских кончина брата сильно действовала над его чувствами. В Рязани, где было отцовское пребывание, картина малолетства его, вместо приятных и живых напоминовений, представляла всегда любовь и кончину почтенных родителей; там все было дело рук и трудов их: палаты, церковь, сад, заведения. Хотя прошло 25 лет после смерти; но благодеяния их живы еще были в памяти у всех, и в селе старый и малой, проходя мимо кладбища, кланялись праху благотворительных господ. Многопочтительный сын пролил слезы над родительскою могилою и, неутешно оплакивая потерю их, утешался

тем, что походил на них сердцем и душою. Поехал в Москву и нечувствительно решился посягнуть на брак, о чем следуют пункты.

Глава XXIX.— *Невеста.*

Княжна Глафира Юрьевна Мишурская осталась десяти лет после своих родителей; отец ее был человек простой, но надутый своим родом; не умея ни служить, ни жить порядочно, женился на прекрасной избалованной девушке, потянулся за богатством — и лопнул. Имения часть описали в казну, другую продали с публичного торга, — и муж с женой, упрекая взаимно друг друга в разорении, не имели ни довольно твердости, ни закону, чтоб перенести великодушно бедность, и от раскаяния, а больше от стыда, оставили мир сей, в коем будто отжили благородно по глупости и по вольности дворянства. Дочь взяла к себе тетка — старая девушка, и сберегла ей 200 душ под Москвой, записав за себя по закладной. Деревня эта оброчная была мерзкая, мужики бедные от пьянства, стриженный сухой сад, пруд сердцем — с карасями, и дом без полов, без окон и с тещю; а как тетка была сама довольно богата и жила в Москве, то и дала, что называется, отличное воспитание племяннице, т. е. выучила болтать по-французски, по-итальянски, петь и танцевать; хотя она читала всякий вздор и жила единственно для забав и похвалы, но веселье и рассеянность не развратили ее сердца: оно с природы было доброе, и семя добродетели в нем не завядало. Лицом она была очень хороша, стройна, умна и правила удивительно парюю прекрасных глаз. Женихов за нее много сваталось, но ни один ей не нравился, и она просила тетку ее не неволить. Старушка ей все одно твердила: «Мне хочется твоего счастья, чтобы при себе пристроить к месту; тебе уж 20 лет, ждать нечего, лучше не будет; чтоб не заест молодости». Племянница ж, в удовольствие тетки, замечала, что она и сама не была замужем, а жила счастливо, и получала в ответ: «Да ведь мало ли что кажется?.. Я, конечно, уж свой век отживаю, да что за жизнь? Все одна да одна, а Бог не на то человека создал». Племянница несколько раз принималась думать, отчего тетка так скучала, быв старой девушкой, — и нашла, что она не любила молодых мужчин, детей, свадебных балов, весны и проч., но отгадать загадки не могла — и это делает обеим честь; племяннице, что не все знала, а тетке, что не хотела узнать.

Глава XXX.— *Отхолкали.*

В псовой охоте всяк тот, кто затравит русака или зайца, должен дать о сем знать голосом, которого на ноту никак положить нельзя; а он походит на ржание лошади, и это называется по-охотничьи: отхолкать. Уж близ года как травят Луку Андреича, но он силен, от всех отделяется: и от псовых, и от хортых, и от тех, что в завитках. Иногда угонят вкруте, но он ушел назад, или завидит — и был таков; но не все увилить, зверь бежит на ловца — отхолкают!

Глава XXXI.— *Начало.*

Лука Андреич увидел Глафиру Юрьевну в одной из тех церквей, куда, под предлогом певчих, съезжаются из всего города к обедне и, вместо молитвы о старых грехах, запасаются свежими. Вид девушки привлек его внимание, голос ее тронул, а взгляд поразил. Он расспросил на паперти: кто и что она. Через три дня съехался с нею на ужине, играл с теткою в ломбер, а племянница, сидя подле нее, в продолжение игры вмешалась в разговор, а под конец рассуждала с Лукой Андреичем, помещая кстати пустые речи, составляющие часть занятий хорошего общества, то есть: «вы б могли вскрыть» — «просить позволения», «напрасно не козыряли», «тетушка! как вам пассивать?» Лука Андреич из всех сил любезничал и Леандром резвился, нарочно проигрался, но остался в выигрыше тем, что видел княжну и почти влюбился; а она и тетка в карете об одной материи лишь разговаривали, то есть о Луке Андреиче; тетка говорила: «Вот человек-то! и молодец, и богат, и с репутацией, когда б да носватался»... А племянница свое говорила: «Что ж! не просить его, свешить нечего, надобно покорооче узнать; да он, может быть, обо мне и не думает». Но тетка и племянница шептались про себя: «Дай Бог».

Не знаю, икал или нет Лука Андреич, но про него было разговору часа два. Ужинали они на Воронцовском Поле, а жили на Остоженке и от тяжести кареты, старости лошадей и лишнего пьянства кучера едва к подъезду притащились и стали на якорь во втором часу. Их выгрузили благополучно. Племянница пошла спать, а тетка стала на молитву и часто повторяла со вздохом: «О, Господи! утешь меня хоть на старости», что, слыша, девка Машка сказала: «Живой о живом и думает».

Тетка с племянницей искали Луку Андреича, а он их. Следственно, часто и сходились вместе. Он и княжна старались всякими благопристойными способами понравиться друг другу; а как у них на уме было одно, то они скоро друг друга без объяснения поняли. Лука Андреич для гулянья пешком и верхом и в карете лучше улицы не находил Остоженки, и несколько раз жизнь его была в опасности от кареты, дрожek и скотины. Всякая лошадь и человек могли его толкать и в грудь и в спину. Занятой княжною, он спешил или ее видеть, или опять на нее взглянуть. Решился открыть свою любовь при первом свидании, но язык не говорил, и он до того уж влюбился, что даже помешался и стал всего бояться. Племянница сделалась ангелом, а тетка чертом, и он, забыв себя, не смел уже и думать, что может успеть в женитьбе. По ночам сбирался скрывать от всех свою несчастную страсть. Но город весь был в тайне. Большая часть матерей, теток и девушек занялись разбивать свадьбу и отнять у Глафиры Юрьевны завидного жениха. Стали шептать, кричать, клеветать, ругать и хоть без успеха, но до дня свадьбы у зависти и сплетней надежда не исчезала; барыни и барышни, бывшие в заговоре против княжны, одобряли себя словами: «Мы на своем поставим».

Стали смеяться над княжною и злословить ее Луке Андреичу, описывая дурной нрав, кокетство, сплетая тысячу преглуных историй, и с видом кротости, добродушия, живого участия и жалости помещали и кстати и некстати следующее: «Остерегайтесь, Лука Андреич. Вы человек здесь новый, чтоб после не тужить; уж будет поздно; поразведайте, когда мне не верите. Что за находка? кокетка ли счастье? много она бедняжка в свой век терпела от мужчин; пора ей отдохнуть, гонявшись за всеми! Ведь я знаю давно: похвалить не за что, и писать мастерица: переписочек десять уж и побольше. Никто ее в публике терпеть не может; жениться на ней всякому можно, а жить с ней — не знаю; эта штука хоть куда загадка коза-рара». Это говорили Луке Андреичу о тетке и княжне. — «Не погубите, матушка, Глафиру Юрьевну: он мот; самый верный человек меня уверял, что пьет по ночам. Сказывают, что женат на молдаванке: уж она и просьбу подала. Дом у него настоящий сераль турецкий; варвар с людьми; долг неплатный, едва ли и вылечится, — чтоб не идти по миру; заест век ни за что ни про что; головорез».

А вот действие, какое производили все эти злые сплет-

ни. Лука Андреич, по твердости духа, здравому рассудку, презирал все, что ему ни говорили про княжну. Любовь и добродетель его были ее ходатаи.

Тетка стояла упорно в своем мнении и только лишь все время качала головой, приговаривая: «Мудрен свет. Кто на него угодит! Когда б я и сама меньше вздору в молодости слышала, то б понапрасну не сохла». Племянница все слушала, но ничему не верила. Она умела разобрать все достоинства Луки Андреича, отгадала качества души его и заключила в ней свое благополучие; надеялась, что злость останется без успеха. Но боялась действия клеветы, и неудача свадьбы была бы ей приговор смертный.

Желающие же Луки Андреича в зятя, племянники, мужа, мерзкие гончие собаки, разбойницы союзов, видя дурной успех клеветы, не прежде, как в день свадьбы определили между собой, что жених дурак, невеста дура, тетка дурища и они сами дуры, что хотели им добра.

Глава XXXIII.— Уголовное преступление.

Законы и государи наказывают все преступления и вины, нарушающие спокойствие общее, благосостояние каждого. Для всякой вины есть соразмерное наказание, и строгость закона укрощается лишь властью царствующего, которому от Бога вручены с судьбой подданных и весы правосудия, и дар отирать слезы несчастных милостию, надеждою, великодушием.

Но сколь много жизнь, собственность и права людей покровительствуемы правлениями, столь мало и слабо защищена и ограждена честь. И это первое украшение рода человеческого, приобретаемое трудною и непорочною жизнью, угнетаемо повсюду злостью, завистью, корыстью, клеветою и коварствами. Наука вреда от времени до времени и употребления дошла до совершенства. Нападая везде на добродетель, гонит до крайности и упорством в своих предприятиях часто доводит драгоценную честь до унижения — просит себе у порока помилования от гонений и спасения от позора.

Сколько великих и достойных, честных и добродетельных людей обоего пола стали несчастною жертвою вооруженной против них толпы, скаредов, одушевленных одними лишь гнусными страстями! Закон требует доказательств; но какие может представить оклеветанный тысячами людей, из которых все виноваты тем, что пересказывали и утверждали выдуманное одним? К стыду общества, клевета

в нем принята с большим удовольствием. Слова ее ловятся наподхват, передаются с прибавлениями и с поспешностью, и когда новая ложь заменит другую, тогда эта помещается в памяти в статью неоспоримой истины.

Но пусть у мужчины есть много способов переменить сбитое с пути мнение, защитить свою честь, изблечить, опозорить посягнувших на нее; но что может наградить и утешить оклеветанную, тихую, скромную и добродетельную женщину? Преступления ее в глазах порока суть дары небесные: целомудрие, нравственность, содрогательное сердце, благородная душа, дарования, красота. Уважение общества; любовь родни, мужа, искания женихов вооружают против нее зависть, злобу и мщение. Они кидают яд на добродетель, помрачают блеск ее, отравливают бытие и наконец, преобразя невинность в порок, для безрассудной и повторяющей толпы не престают гнать до тех пор, пока грусть, скука и страдание вырежут, вычертят на лице глубокие следы свои или смерть даст убежище во гробе. О, зависть! Сколь ты гнусна, опасна и вредна. Свет тебя старше 129 лишь годами. Ты оросила землю первою человеческою кровью, ты подняла руку Каинову на брата. Неразлучная с огорчением, злобою и негодованием, ты вселяешься в сердце человеческое, убиваешь чувства, оглушаешь сострадание, человеколюбие и раскаяние, рождаешь ненависть к ближнему, дышишь злобою на все живущее, ищешь гибели добродетели и посягаешь на благоденствие, тишину и успехи каждого.

Ликург, в наказание клеветникам, прикалывал им язык; Солон предавал их народному поруганию. В Англии сажают на площади в клетку, у нас берут с них по чину бесчестие. Но клевету должно бы поместить в числе преступлений над смертоубийством, и, имена виновников оглася всеместно, их самих ссылатъ в монастыри на покаяние, и позволять им употреблять дары слова единственно на исповеди.

Легковерие, дерзость, наклонность к дурному, презрение к людям, желание смешить, занимать общество делают нас неразборчивыми насчет разговоров. Злословие, которое любезные французы называют душою беседы, есть предшественник клеветы. Нет вздора, глупости, нелепости и мерзости, которые бы не были приняты с жадностью. Чем выдуманное невероятней, вредней и предмет злости уважения достойней или известней, тем скорей ложь утверждается, находит подтвердителей, защитников, свидетелей, ревностных рабов, громких трубачей и неутомимых гонцов: в самом большом городе через сутки все повторяют слы-

шанное, верят чему угодно. Новость столь же легко пустить в свет, как сигнал в лагере: примись бранить — тотчас сойдутся, зачни хвалить — все по местам или перебьют речь. Все злословят больше или меньше, но никто не думает, что трогает честь, губит человека; иные злословят по привычке, другие аккомпанируют, третьи — чтоб не сочли их немыми; но никто не подумает, что, употребляя орудие клеветы, подвергается сам ее ударам. Все мы хотим занимать других собою и отличиться в мгновенную жизнь нашу. Но и Эрострат и Робеспьер спасали свое имя от забвения. Если б Диоген вздумал искать в наших обществах подобных сему сумасшедшему зажигателю, то б начал все комнаты, задувая поминутно в фонаре свечу.

Глава XXXIV.— *Не в силах.*

Лука Андреич и очень познакомился с тетушкой и племянницей. Старая девушка уже давала ему некоторые препоручения, допускала сводить себя с лестниц, шутила над его нерешимостью жениться, просила, если, паче чаяния, когда вздумается, чтоб ей препоручил его сватать. Все эти старые внушения препровождаемы были уверениями о его изящных качествах, о счастье будущей жены, о благодарности ее и пр. Чего же бы лучше, как при этом случае Луке Андреичу объяснитьсь без затей и сказать тетушке, что душа желает племянницы? Но нет; он, до третьего часа ходя у себя по горнице, говорил в иступлении: «Какая я скотина! люблю, и не смею сказать; ищу счастья и боюсь отказа; был молодец, теперь стал баба. Ходил на штурм, бил пруссаков, турок, поляков, заслужил георгиевский крест. Если б не было во мне страха Божия и почтения к родителям, то бы наложил на себя руки». Полно, Лука Андреич; ложись-ка, батюшка, спать; утро вечера мудреней, возьмишь и эту крепость. Вперед да вперед; коли и кричи «ура!».

Желание нравиться довело княжну даже до угождения. Приметя, что Лука Андреич не охотник до танцеванья и до румян, перестала почти совсем танцевать и румяниться; уделяла большую часть утра на чтение истории, географии и познание России. Она всегда боролась с любовью скромностью и надеждой и, слыша один раз, что ее возлюбленный намеревался через несколько месяцев объезжать родину по деревням, не могла преодолеть действия пораженного воображения, и из обоих глаз покатались ручьи слез. Лука Андреич взглянул, увидел и побледнел, не зная, что думать

и что делать. Тетка, от привычки и опытности, тотчас нашлась и стала будто бы с сердцем выговаривать племяннице, что она не бережется и не лечит насморка. Лука Андреич с радостью сему поверил и пристал тут же пенять княжне в большом замешательстве, что она не бережет своего здоровья, не думает о здоровье и хочет быть нездоровой. Княжна принуждена была остальное время утирать поминутно носик, закрыв ротик платком, будто от простуды, и уехать, для лучшего успеха в обмане, ранее обыкновенного домой. В карете начались не вовремя упрёки, увещания, утешения, поучения. Тетка бранила и ворчала, племянница плакала и рыдала. Наконец, подъезжая к дому, тетка сказала: «Да полно, сударыня, плакать-то; уймись, ведь все люди узнают, что плакала». Ответ был: «Какая мне нужда! я вижу, что я погибаю, что мое счастье в смерти!» Вышли из кареты и простились сухо; тетка не поцеловала и не перекрестила племянницы, а та не чмокнула в костяные руки. Жалея о княжне, но не хотя по старости сама себе признаться, что она всему была причиной, повторяла часто, лежа на спине: «Господи, уж ли я на то создана, чтоб все хотеть без успеха? увижу ли я когда-нибудь конец? мало ли страдала за себя и теперь еще больна за других». Долго она не могла заснуть от неизвестности, жалости, старости, духоты в комнате, мух, блох и клопов.

Племянница не могла затворить глаз от любви, отчаяния и сильного воображения.

На другой день обе явились — одна в виде флюса, другая — рожи, — и, не хотя признаться в настоящей причине бессонницы, обвиняли друг перед другом, племянница — гнев тетюшкин, а старуха — лишнее ядение разварной малины.

Глава XXXV. — *Счастье от кареты.*

Насморк прошел, но ничто еще не решено: влюбленные все в прежнем положении, то есть в любви, в беспокойстве и в отчаянии. Лука Андреич чрезмерно хотел ездить в дом к тетке, но не умел этого сделать, думал, думал и ничего не придумал, наконец решил его судьбу дикий камень, называемый голыщ, выбитый из мостовой, которого с неделю все бранили, проклинали, но оставляли посреди улицы. Это странно, но точно правда. Все знают, читали и слышали, что от малых причин рождаются большие происшествия.

Камень родил толчок, а от толчка и вычислить нельзя, что произойти может.

Под Донским было гулянье и достаточный повод городу ехать туда, ездить взад и вперед, людей смотреть, себя показать, ломать у лошадей ноги, у карет колеса и глотать пыль, которая ничем не хуже парижской грязи. Лука Андреич, в прекрасном визави, на сером кургузом цуге, с страшным усатым кучером, с скороходом, егерем и лакеем, богато одетыми, проехав раза два и не видя той, для которой он ходил, ездил и жил, приказал везти себя на Остоженку, перешел Москву-реку на Крымском броду, слышит: «Стой!», смотрит и видит толпу народа, запрудившую всю улицу; посылает спросить, что такое, и получает в ответ, что сломалась карета. «Кто в ней?» — «Тетка и племянница». Выскакивает из визави, бежит как сумасшедший, кричит: «Ах, Боже мой! владыко мой!», толкает встречного и поперечного; все валится, все раздается, и княжна у ног его, и точно у ног — вот как.

Карета тетюшки была на пассах, наехала на выше означенный камень, толкнулась, пассы обрушились — и кузов пал на мостовую; тетка, племянница, калмычка, моська, брюнетка и болонская собака венерка остались на своих местах, ничем невредимы, но выйти на свет никак не могли, потому что кузов спустился между дрог и стал на пути недвижим, презирая все силы рода человеческого. Лука Андреич занялся изведением заключенных в сей темнице, давал деньги, помогал сам, но все напрасно, народ прибавлялся: иной подсоблял, другой мешал, некоторая часть зевала сложа руки, а большая насмехалась, говоря громко между собою: «Смотри-ка, какая беда! Не диво, что тут ночуют! ведь экой рыдван! Да что в него и напихали-то! Словно как ковчег. Нет, уж некуда ехать; тут и сиди! Небось лошади-то рады, что ей конец. Словно как в садке! И собаки-то тут... Вишь, вишь, вон калмычка. Уж куда господа-то охотники до всего! Уж затейливы-то, затейливы! Посидят, посидят, да и голод проймет! Жаль, что барышня-то тут попалась, сердечная! Без вины виновата. Смотри, чтоб собаки-то их еще не съели! Чего доброго, пожалуй! Да и калмычка-то пособит: вить они охотники до сырого мяса». — «Вот, дурачина, захотел мяса у старухи; видишь, кожа да кости».

Эта шутка полюбилась; смех сделался электрическим, и во всю улицу несколько тысяч человек принялись хохотать, не зная чему и спрашивая: «Что такое, что такое?»

Луку Андреича это взбесило; да как и вытерпеть, чтоб

кто мог смеяться над кузовом, где княжна? Тут подоспел полицейский офицер и, в силу своей инструкции, по коей сборище черни нетерпимо, погнал бездельников прочь. Народ потек, как вода, с неудовольствием, говоря про себя: «Ведь мы худого не делаем; ведь карета не наша! Пожалуй, гнать не диковина, на это у всякого ума станет. Все беда нашему брату; смеяться не дают, а бьют, — плакать не велят. Да ведь и завсегда так бывало; нам не привыкать стать». Но тетка, племянница и находящиеся при них, все сидят в кузове, теряют терпение и надежду. Тетка сердится, княжна стыдится, калмычка плачет, моська рычит, венерка лает, а Лука Андреич бесится, не зная, что делать. Наконец, выходит из ворот в синем камзоле и в кушаке человек вполпьяна, подходит и говорит: «Барин, что же? ведь матушке-то вашей да сестрице не жить на улице. Дело к ночи; разве караул к ним приставить, чтоб, помилуй Бог, чего не сделалось. Всяко бывает! Об карете уж думать нечего — провались она; да ей уж и конец: она свой термин отъездила, ведь людьми ее не осилить, только сердечушки надрываются. Коли прикажете распилить дроги, так вот будет и порядок, спасибо скажете. Этой манерой все смаху в резонт приведу. Я каретник, не хуже немца иного. Мое дело сторона...» Голос его принят, тотчас дано приказание; камзол явился с пилой, принялся за работу, завел было спор с сбитенщиком, что дроги буковые, а не дубовые, хотел доказывать, но окриком Луки Андреича стал паки действовать. Дроги затрещали, задок отдернули, и осужденные вечно на кузовное заточение получили свободу. Они сели в карету, а вышли из портшеза.

Лука Андреич говорил: — Боже мой, как я рад!

Тетка. — Я ввек этого одолжения не забуду.

Княжна. — Какое счастье, что вы тут случились!

Полицейский офицер. — Имею честь поздравить, не прикажете ли, матушка, дрожки, до квартиры доехать?

Каретник. — Уж я охулки на руку не положу, кабы дали, я и кузов-то на мелкие части расколю: нам не учиться...

Лука Андреич предложил тетке свой экипаж, который и принят; сам взялся проводить калмычку и псовую охоту, отдав ее на руки скороходу. Каретнику выдано достаточно жить месяц, и тем кончилось достопамятное разрушение пассивов и падение кузова.

Княжна в карете сказала тетке: «Ужли, тетушка, вы Луку Андреича не позовете к себе?» Ответ был: «Пожалуй-

ста, Глафирушка, не учи; я, право, тебя не глупей. Я из деликатности это сделаю». И вслед за сим, только лишь появился у дома влюбленный наш герой с собаками, то к нему вышел теткин человек и сказал: «Степанида Кузьминишна приказала вас просить: ужли вы, дескать, батюшка, не зайдете к нам, выпить чашку горячева?»

Лука Андреич наш влетел и поселился. Речь была о происшествии, и через час весь дом наполнился однолётками хозяйки, которые, из благопристойности, узнав через разосланных от племянницы, приехали навестить убиенных и привезли с собою все болезни, удручающие страждущее человечество в старости, пошли толки о пассах, о каретах, о подобных приключениях, похвала Луке Андреичу, удивление о присутствии ума каретника в синем камзоле, брань полиции за мостовую, а потом доказательства, что в старину все было лучше. Но ни одна старуха не заметила, что вечного ничего нет, что карета была одних с ними лет и что и ей должно было кончить когда-нибудь свое трясучее бытие.

Сели играть в карты — тетка с тремя подругами в кадрили, племянница с Лукою Андреичем и с глухою старою бабушкою в ломбер. Влюбленные занимались собою и смотрели больше друг на друга, чем на карты, а бабка между тем стирала свои ремизы, писала лишние на них, прикупила по два раза, брала вдвое за игры, крада матадоры, фишки и имела бесстыдство хвастаться счастьем. Княжна напомнила Луке Андреичу, что каретник принял ее за его сестру; любовник неосторожно вскрикнул: «О, помилуй Бог!» — и оба покраснели — княжна, отгадав мысль, а он, проговорясь. Но игра все успокоила; влюбленный сказал, «позвольте», влюбленная: «я вскрою», и бабка: «сампрандер». Пока играли, то все домашние девушки и женщины, растворя немного дверь, смотрели на Луку Андреича, и все в один голос говорили: «То-то молодец! то-то красавец! Дай Бог княжне быть за ним! Уж этот за себя постоит».

Девки знали от людей, а люди от себя, что барыня, барышня и Лука Андреич затеяли сватьбу. От людей у господ не может быть тайны: нет барина, который бы утаился от ближнего человека, и нет слуги, который бы не проникнул господина. Узнает один — узнают и все, и для этого нет никогда тайны на свете.

Наконец, день кончился, все разъехались; влюбленный приглашен ездить, когда ему угодно, и уехал доволен своею судьбою и тем, что проговорился; но к успеху у него ничего не прибавлялось, а у тетки убавилась карета.

Глава XXXVI.— Жизнь покойной кареты.

Карета делает в жизни Луки Андреича столько же важное происшествие, как в древней истории похищение золотого руна, Троянский конь и походы Александра Македонского. Она имела на свете сем подобную участь общих красавиц, которые в молодости дают в мире законы и моды, в совершенных летах идут на мир, а в старости ходят по миру. Она произведена была на свет в 1725 году, в городе Брисселе, славным каретником Симоном, на заказ одному духовному курфирсту, по случаю коронации Римского императора в Франкфурте. Там была в употреблении у его светлости; сын каретника перед отпуском ее объездил и умял; потом переходить стала из рук в руки к обер-гофмаршалу, к шталмейстеру, к президенту, к профессору, к трем немецким баронам, к содержателю наемных карет, к прусскому майору, к саксонскому камергеру, к бременскому сенатору, к гамбургскому бургомистру, к любекскому синдику, к калмыцкому князьку, к русскому воеводе, к архимандриту, к Степаниде Кузьминишне и наконец каретнику в синем камзоле, который, вынув из нее все годное, ободрав дочиста, определил ей быть садком для курнаседок.

Впоследствии сих переходов удивительно покажется лишь то, как она попала в руки к калмыцкому князьку; но сие объясняется занятием в 1759 году нашими войсками Берлина, при чем были и калмыки. Нет нужды сказывать, что сия действительно изъясненная карета множество раз была переделана и в починке, сколько раз ее перекрашивали, лакировали снаружи, набивали, обивали внутри, окывывали, переменили ход, дышла, мазь, и первые ее хозяева тысячу раз ее б увидели, но никак не могли б подумать, что и они сами в ней езжали.

Сравняйте с каретою одну из тех красавиц, кои из прелестей своих делают открытый дом и подвижной магазин; и согласитесь, что с каретою много сходства: она переходит так же из рук в руки, перекрашивается, чинится, клеится и продается за новую, только не к чему применить дышла и мази,— можно б, да не должно: охотники до вольных художеств отгадают.

Глава XXXVII.— Неприятное донесение.

Сколь мы быть должны благодарны провидению, что оно сокрыло от нас предстоящее! Забывая легко прошед-

шее, мы спешим жить в настоящем, нисколько не думаем, что с нами случиться может чрез минуту; а если когда попущенное воображение покушается проникнуть в будущее, найти в нем сходственно с желанием беды или утехи, тогда неизвестность останавливает человека в его забвении, принуждая признаться, что он перешел пределы дарованных ему чувств. Тот смеется за минуту жестокой напасти; другой хвастается счастьем перед совершенной гибелью, третий полон затей и предприятий на 50 лет, а через пять минут не будет в живых; все думают, придумывают, обдумывают, но не вздумают о косе смертной, коей удары с большою точностью и верностью размерены и распределены, как зубцы на колесах у самых лучших брегетовских часов. Но если бы мы знали час смертный так, как день рождения, то бы вместо, чтоб наслаждаться жизнью, занимались бы единственно и беспрестанно концом ее; тогда бы суеты сует обратились в печаль печали.

На другой день после падения кареты тетка и племянница все утро занимались приятным разговором о надежде, что общее желание их увенчано скоро будет успехом. Устраивали ход сватанья, сговора, свадьбы и счастливой потом жизни; говоря о всем утвердительно, довели себя до того, что совершенно уверились в непременно исполнении своего намерения. Тетка уже уговорила, чтоб Лука Андреевич заплатил за нее небольшой долг, а племянница обещала. Но это восхитительное расположение было в горнице; а что стояло за дверью и явилось — чудо!

У Степаниды Кузьминишны правил домом и назывался дворецким крепостной ее человек, Сафрон Феклистов, коего она, для отличия, называла Феклистычем. Он был некогда женским портным, спился было до того, что кричал на барыню: «слово и дело», но после как-то установился и, быв женат на любезной сенной девушке, долгою жизнью схирая всех получше себя людей, дошел до высшей степени почестей в дворянском доме, то есть до дворецких. Он мужик был толстый и глупый, и грубый, и хотя из зависти и из места много раз были на него доносы в воровстве и в упущении господского интереса, но он во всем себя очистил и получил полное удовольствие приказанием наказывать на теле доносчиков. На улице его все знали, да как и не знать, увидя один раз? Лучшее его упражнение было сидеть в колпаке и в халате на лавочке у ворот и заставлять мальчиков, для своей забавы, играть в бабки. Но теперь, — в синем застегнутом предлинном сюртуке, в башмаках, на шее черная тафтяная веревка, неделю небритая борода

и с кудрявою, хохлатою головою, в коей от седины не виден был пух, Феклистыч входит и начинает с барынею разговор.

Б а р ы н я. — Что́, батюшка, зачем? верно, денег просить? Или Абашку на съезжую опять взяли?

Ф е к л и с т ы ч. — Нет, сударыня, деньги еще не все вышли, а Абашку я из стула не выпускал. Я пришел милости вашей доложить, неравно вздумаете со двора ехать, так кареты ведь нет.

Б а р ы н я. — Что ты мне это сказываешь? Ведь ты дурак, а я, благодаря Бога, с ума не сошла. Разве ты продал, или украли желтую и мордаре́ карету?

Ф е к л и с т ы ч. — Нет, сударыня. Пропажи в вашем доме нет, — что ж, грех сказать! — а кареты эти две хотя и стоят в сарае, да в них ездить опасно очень: того и смотри, что рассыпятся; а мне ведь ваше здоровье пуще всего на свете. Долгие вам лета; а после вас куда мы годимся!

Б а р ы н я. — Да разве я тебе, старый черт, не приказывала еще на первой неделе починить мордарееву-то карету? ты забыл? Был глуп, а теперь еще глупее стал.

Ф е к л и с т ы ч. — Воля ваша, сударыня, в мои лета люди не глупеют. Я все в одной поре. Да эти кареты и чинить нечего: до них дотронуться нельзя. Вот я и пытался отдавать, да никто не берется. Здешний же каретник, Обросим, причитает на вас 13 рублей с полтиной прежних. Что ж мне делать? Ведь не связать его.

Б а р ы н я. — Тебя слушать, так и конца не будет. Вот вчерашнюю-то карету если б ты осмотрел, так бы сраму не было со мною на улице.

Ф е к л и с т ы ч. — Матушка, да уж ее чинили-чинили, да и в пень стали, и рук-то марать никому не хочется; а на леченой кобылке недолго ездить.

Б а р ы н я. — Врешь, дурак, врешь. Вот я пошлю Крисанфовну осмотреть.

Ф е к л и с т ы ч. — Да хоть сами изволите пойти, а все то же будет. Я вам точно докладываю.

Барыня тотчас закричала девку. Девка вошла, вышла, и явилась потом Крисанфовна, которой барыня приказала так: «Поди, пожалуйста, голубушка, в каретный сарай; посмотри, что там с каретами делается. Этот старый черт все у меня поломал и ни за чем не смотрит». Барская барыня, сказав: «Слушаю, матушка, сей же час вам обо всем представлю», — отправилась с сим важным предложением и с полной доверенностью. Не прошло десяти

минут, как раздался крик, вопль и влетела в комнату стремглав Крисанфовна, простоволосая, без косынки и с разодранной юбкой, отчего сделался у ней шлейф. За нею, по пятам, все девки, люди: «Что такое, что с тобой? Опомнись! перекрестись!» Но едва через полчаса могли получить ответ и реляцию от Крисанфовны.

«Ох, мать моя! Ох, государыня ты наша, сударыня, Степанида Кузьминишна! Ах злодей! что он со мною сделал! обругал, проклятый! Это дьявольское наваждение. Ох, матушка, прикажи дать испить; язык во рту не воротится. Ну, дошла была до року! Околеть бы без покаяния! Полно бы вам служить!»

Тут дали ей выпить стакан кислых щей. Девки оправили на ней, смеючись и отворачиваясь, косынку и платок; и Крисанфовна, держа свой шлейф в руке, начала сарайную повесть, охая везде, где запятая.

«Вот, матушка, как вы мне изволили приказать сделать осмотр каретам-то, я и пошла прямо в сарай; пришла, а он заперт. Я вызвала Петра, рыжего кучера, говорю ему: «Петр, стопри сарай!» Он мне: «Да тебе какое, дескать, дело!» — «Отопри, — я говорю, — вор! Барыня изволила приказать». Он и отпер, — точно так было, хоть сейчас с места не сойти, — и говорит: «Ну, Крисанфовна, поди же ты сама смотри, чтоб после не кричать караул». Я его тут выбрала, — что ж! согрешила, нечего сказать, — да и в сарай; подошла к желтой карете, отворила дверцы, — как запрыгают крысы, и видимо-невидимо! одна вскочила под платье, а я за хвост да об землю — ведь я человек не робкий! Да что и за крысы: иная с кошку, такие крупные. Как я заглянула в карету-то, и там живого места нет — все съедено, все источено, а где сидень-то, там гнезда с крысятами, и дух такой, что способу нет; а в шишках-то наверху воробы гнезда натаскали. Ну, хорош присмотр! уж есть за что сказать спасибо Феклыстычу! Да все это ничего, все б дело плёвое. Я, ни думая, ни гадая, только чтоб вам, матушка, сделать угодное, осмотра желтенькую-то карету, да и пошла к малиновой; только лишь я за дверцы, — вот не лгу, Бог свидеть! — ан как выскочит, как вопьется в меня, что же сударыня? Собачища с медведя: хам-хам, да и на меня. Тут я уж свету не взидела, так и бухнула на землю; а собака-то и ну меня, то туда, то сюда, облапила да и сидит. Я ни жива ни мертва, кричу во все горло, а она пуще сердает, то тут рванет, то в другом месте; уж как глаза уцелили, диковинка! Ну уж я кое-как выкарабкалась да бежать; а собачища схватила за юбку, да и ну драть! Ох, матушка,

видела страху, благодаря Феклистычу! Счастлив он, вор, что не попался мне, а то бы я его не хуже собаки-то приняла. Вот он, матушка, как вам служит верой и правдой, тавлинец проклятый! Небось вы не изволите знать, что и в той карете, что сломать-то изволили, делалось по ночам... Да при княжне говорить-то будто непригоже».

Должно знать, что Феклистыч и эта Крисанфовна были злодеи непримиримые и вражда между ими столько же была сильна, как в роде Атридов, Монтеки и Капулетов, турков и христиан. Крисанфовна в молодости желала за Феклистыча замуж, а он желал выйти из сомнения на счет ее добродетели, как-то слишком поверил и слишком углубился в открытия, — а вышло ничего, и он женился на другой. У них частые бывали спибки, и Феклистыч два раза ее невинно подвел под гнев: один раз сказав, будто она на сапоге прожгла утюгом дыру, а в другой взвел, будто она разбила банку медового варенья, отпуская повару на сладкий слоевой пирог. — Тетка запылала справедливым и законным гневом на глупого раба своего. «Позови Феклистыча сюда! подай его сюда! Вот я его, бестию! Нет, уж терпения недостает!»

Дворецкий встречен был бранью и вопросом: «Затем разве я тебя, шельму, пою и кормлю, чтоб ты травил крысами и собаками Крисанфовну и перегноил мои кареты?»

Ф е к л и с т ы ч. — Помилуйте, сударыня, да чем я тут виноват? Ведь крысы меня не послушают; уж мы не знаем, как от них отбиться: на погребе держать ничего нельзя, то и дело битую живность кидаем в соседский колодезь. Вон на святой у лакея Зиновья пукли прочь так и отъели, не успел прилечь, сердечушка, отдохнуть на лавку. Денег на мышьяк не жалуете: что ж мне делать? Ведь в карете этой ездить нельзя: что ж ей понапрасну пустой стоять?

Б а р ы н я. — О, скотина! о, лошадь безмозглая! а в другой карете-то зачем зашла собака? Что́ это, псарня, что ли?

Ф е к л и с т ы ч. — Да извольте прежде спросить, что за собака; это дворникова нашего дворная сука. Время пришло, вскочила в карету да и оценилась. Ее и черт оттуда не выживет, ништо сама выйдет.

Б а р ы н я. — Хорошо. Ты было меня отправил самой в каретный-то сарай! Ну, да если бы я пошла, а собака-то на меня бросилась, ведь я бы умерла от страху.

Ф е к л и с т ы ч. — С вами б этого, сударыня, не случилось: все собаки знают. Как она смеет?.. А что Крисанфовна говорит про ту карету, что сломалась, так ведь это ее дело за девками смотреть. На мне, сами изволите знать, весь дом

лежит. День велик, умаешься. Рад как бы довалиться; уже ничто на ум не идет. Только смеркнется, девки и пошли ерзать, словно как черт на них поедет, — сущий содом! Воля ваша с ними, а что им потачка большая!

За сим словом с великим сердцем, но слабою рукою Степанида Кузьминишна вlepила Феклiстычу две пощечины, выгнала вон и запретила являться, дондеже не простит.

Племянница, стыдясь за тетку, давала ей чувствовать, что драться непристойно, и получила нравственный ответ: «Да ты, сударыня, рада за них стоять! Поживи-ка с мое, так и узнаешь, каково домом править! Дай им хоть немного воли, да они верхом поедут. Уж что я выношу! Не понимаю, как уцелела. Вить с ними один манер: что побьешь, то свет и увидишь». — Изорванной в клочки Крисанфовне приказала укушенные места натереть рижским бальзамом, отчего ехидная старуха на стены лезла.

А Феклiстыч пришел домой, разбудил всегда спящую свою жену и бранил: «А тебе все равно, хоть свету будь преставленье, ты все дрыхнешь, старая хрычовка, смерти на тебя нет!» Жена, зевая и потягиваясь, спросила перекрестясь: «Аль на тебя барыня изволила гневаться?»

— То-то гневалась, да и задела в барышах. А тебе все рассказывай! Ты рада слушать! Меньше знаешь, больше спишь. Дай халат да колпак.

Оделся в обыкновенное свое дезабилье и пошел на улицу сидеть на лавке, пока позовет на еду.

Сидя, что ж он делал? размышлял или думал? Нет, он думать не умел и сроду не размышлял, а сидел и смотрел. И гусь, и крот, и сова, и свинья не думают, а живут; и Феклiстыч так же жил, и многие люди так живут.

Оно покойно, нехлопотно, здорово и никому невредно.

Глава XXXVIII. — *Непростительный поступок.*

Хотя после всех сих важных происшествий на другой день другого следа не было, как на грешном теле Крисанфовны, и все осталось по-прежнему, то есть Феклiстыч дворецким, крысы в желтой карете, сука с детьми в мордаре, а барыня дома; но она сбила людей с ног в один день, посылая к своим знакомым с письмами, и хотя и употребляла все ласковые слова для состава убедительного слога, повторяя «жизнь моя, милая, душа, голубчик, сударчик, одолжи, не откажи» и проч., но понапрасну: все те, у коих она просила на несколько дней кареты, ей отказали справедливыми, а больше ложными отговорками; да и просьба

была основана на лжи: тетка не хотя написать из чванства и от стыда, что ездить не в чем и кареты купить не на что, припутала тут каретников, мастеровых и составила из всех цехов один цех — обманщиков для ее одной.

Княжна очень бы желала сидеть дома, быв уверена видеть всякий день Луку Андреича и разговаривать с ним без всех помешательств, кои неизбежны в многочисленной беседе; но тетке жить дома было невозможно: она любила людскость, карты, еду, горячее и новости, кои она, точно как на Кяхте товар, разменивала с прочими городскими вестовщицами. Дома же ей сидеть одной за большим пасьянсом, с меледой и проч. К ней никто почти не ездил оттого, что кушанье у ней было дурное и все почти из годового домашнего запаса; чай и кофе жидкие, молоко зауряд сливками; питье: горькие щи и клюковный морс с увереньем, что очень здоров, а ко всему этому кресла и стулья часто подламывались и подвергали явной опасности седоков.

Что же делать? как быть? денег нет, займы никто не дает.

Но нужда рождает ум. Он явился и внушил тетке дурную мысль.

Обо двор с ней жил Сидор Абрамыч Оплотов, который неотменно всякий год уезжал из Москвы на санях, по грязи на пятой неделе великого поста в медынскую деревню, откуда приезжал в Филиповки обратно для переписки закладных и векселей и продажи хлеба и мясов. В отсутствие его домишка препоручался в смотрение дворнику с женой; а в нем ничего не оставалось, кроме в сарае кареты, а в кладовой оловянного сервиза и двух людских винчур. За все сии сокровища отвечала дворничиха; муж ее делил время между полицейской должности и табаку, который тер беспрестанно в горшке оглоблю, сидя у будки, мешая золы на половик и отпуская на деньги мерочкой не свыше копейки и не ниже полушки. Расход был велик, потому что Маську Губана (имя будочника) все знали: он балагур и кричал, как соловей с раскатами:

Чок чок!
Табачок —
Ахтырский,
Богатырский,
Из рожка,
С соколка,
В натряску,
На закуску,
Красичок,
Каблuchок,

Пучок,
Сморчок,
Лезь в горшок,
Ах, табачок!..

Степанида Кузьминишна, преодолев без большого насилия отвращение к неизволительному, отправила того же ФеклISTRYЧА к соседу на двор, и он в одну конференцию заключил с дворничихой следующий свободный трактат:

1) Степанида Кузьминишна обязуется платить дворничихе по 50 коп. за всякий раз, что возьмет карету.

2) Дворничиха обязуется давать Степаниде Кузьминишне карету всякий раз, как она потребует.

3) Деньги платить всякий раз наперед и отдавать в руки.

4) Починку всякую делать Степаниде Кузьминишне на свой счет не отговариваясь.

5) Если карета сгорит в езде, или утонет, или развалится, то Степаниде Кузьминишне дворничиху защитить, чтоб ей не пострадать от барина.

6) Степанида Кузьминишна выдает для разных потребностей, чтоб пустить карету в ход, дворничихе денег вперед 2 рубля, кои после и зачтутся.

А как никогда трактатов не бывает без сепаратных и секретных артикулов, то и в этом прибавлен один такого содержания:

А дабы Степаниде Кузьминишне не быть без кареты, а дворничихе без пропитания, то они взаимно обещаются наблюдать свято и ненарушимо, дабы днем в вышеозначенной г-на Оплотова карете по городу не ездить, а ездить ночной порой, до вторых петухов.

Вот дело и с концом без ратификаций; Степанида Кузьминишна с каретой, а дворничиха с деньгами. Я знаю наперед, что многие мелочные и привязанные к формам и поседелые в истолковании смысла каждого слова дипломаты, профессеры логики и метафизики найдут упущения, ошибки и вредные быть могущие следствия в сем договоре. Но к чему придраться нельзя? Я и сам вижу, что много есть тут непредвиденного темного, необъясненного и ненужного, например: в 1-м артикуле сказано, что Степанида Кузьминишна платит по 50 коп. за всякий раз, что возьмет карету: могло бы случиться, что она, взяв карету, не рассудила бы ехать, и из сего должен выйти спор, чего б не случилось, если б сказано было «возьмет карету и поедет в ней» или «возьмет карету, хоть поедет, хоть не поедет в ней».

2-й арт. основан совершенно на взаимной доброй вере.

3-й арт. объяснен совершенно и основан на познании сердца человеческого так, что нет места ни спору, ни лишнему требованию, ни сомнению.

4-й арт. немного ветрено написан и мог бы родить тьму затруднений оттого, что не означены поименно и порознь все части, составляющие повозку под именем кареты, подверженной во всех частях равно повреждению.

5-й арт. с начала до конца вопреки здравому смыслу, чести и закону. Карета могла б сгореть и утонуть с сидящею в ней Степанидою Кузьминишною: тогда кто очистил бы статью сию? а оставшись в живых по истреблении кареты стихиями, как защищать изменницу, не боясь себя и ее соучастников? Лучше б написать: «В таком случае дворничиха получит от Степаниды Кузьминишны такое-то число денег, что откупится от следуемого наказания» или «Степанида Кузьминишна даст дворничихе убежище и приличное содержание по смерти или на такое-то время».

6-й арт. основан на предосторожности, хотя не в пользу Степаниды Кузьминишны, потому что при расчете дворничиха могла б и утаить эти два рубля.

Сепаратный артикул весь во вред дворничихи, и Степанида Кузьминишна могла бы всякий раз до свету держать карету, вина в ошибке времени петухов, сон или глухоту людей. Притом всем известно, что петухи в теплое время и в дурную погоду поют ранее обыкновенного, а для сохранения кареты, тайны измены и наблюдения времени можно бы написать тако: «А дабы Степанида Кузьминишна вовремя выезжала и возвращалась домой, то вышеупомянутой дворничихе быть завсегда при ней и советам ее следовать беспрекословно, согласуясь с обстоятельствами и с местным положением».

Вот теперь всякий и увидит, что нет вздорного дела, которое бы лучше не можно было сделать; но скорость, нетерпение и самолюбие суть большие препоны усовершенствования. Со всеми упущениями и погрешностями и неосторожностью трактат состоялся до конца и без спора: видно, в доброй час заключен.

Княжна, в первый раз как поехала в подкупной карете, выговаривала тетке с жаром, чувствуя всю гнусность подобного поступка. Но тетка отделалась словом: «А кто ж узнает?» — После этого и говорить нечего, не только выговаривать.

Это слово «а кто ж узнает?» — сын гордого ослепления точно так, как слово «живет» — сын лени. От сего выходят

недоделанная и дурная работа, а от «кто ж узнает» большая часть мерзостей в обществе, и дурные люди думают себя закрыть и оправдать одним «не я!», а там как выйдет дело их головы, рук, языка, то все прибегают к запирательству и к обвинению других, и к бесстыдству, кое до того простирается, что известные многие воры, плуты кричат: «На меня воры и плуты нападают». Но этих слушать не надобно, а, схватя за что попало, тащить к суду. Может быть, судья и хорошо посудит, узнать нельзя: правосудие ведь с закрытыми глазами; да жаль, что много портит ощупью!

Глава XXXIX.— *Кстати.*

Разрушение кареты ставя важною эпохою в жизни Луки Андреича, я стану считать вперед от нее, точно так, как магометане считают от эгиры, или побега Магометова. Итак, в седьмой день посетя тетку, она нашла случай, будто к речи, завести разговор о каретах, выхваляя все, в коих ездил Лука Андреич, обратила внимание на себя, описывая затруднение сыскать в Москве и хорошую, и крепкую, и недорогую, и год с починкою карету; боялась, что ее обманут, да где ей ехать, да кто для ней поедет,— и говорила бы до упаду, если б Лука Андреич не предложил ей избавить его от четвероместной кареты, в которой он раз только ездил и будто не мог терпеть за то, что на ней вердепомовый цвет, и что он ее отдает с уступкою за 250 рублей. Тетка без обиняков приняла щедрое предложение влюбленного в княжну и попросила подождать до Покрова денег, быв решительно намерена в душе никогда ему их не платить. Княжна бледнела и краснела за тетку. Но та будто не примечала и располагалась забирать по возможности и впредь. Она уж стоила рублей с триста жениху безделицами и плодами. Но в таких случаях угоденье есть первый предмет в любви. Лука Андреич тотчас прислал карету, и Степанида Кузьминишна так сей находке обрадовалась, что села в нее на дворе и обратила в присутственное место, разбирая просьбу мужиков на старосту, и кушая, будто отвеживая, яблоки и коврижки вяземские, принесенные в кульке ей на поклон; наконец изволила выйти и устанавливала карету в сарай, забыв все случившиеся странные происшествия с Крисанфовой во время войны с крысами и собакою. Пришед в комнату, расцеловала княжну и не в силах даже была хвалить Луку Андреича, а только повторяла с мокрыми от радости глаза-

ми: «Вот человек! вот то-то человек! ну уж человек!»

Княжна, быв сердита, сказала: «Я, право, не знаю, что он о вас подумает после этой кареты?» — «И, друг мой! в мои лета не осудит: что на мне взыскать? я его люблю, как душу, и все приму. Вот он мне подарил, в чем ездить, а ты после свадьбы — на чем: эти серые лошади показались мне бешены; помилуй Бог, что с тобою сделается!» Княжна, вышед из терпения, сказала, что еще не замужем. «Да если бы это и случилось, то какое право имею дарить лошадей? И если они для меня бешены, то для вас и еще опаснее». Затем она пошла к себе, а тетка вслед говорила: «Да меня хоть убьют, так ничего; мне и без того не долго на свете биться; а ты, плутовка, все выпросишь, только проси: в своей семье какой расчет!» Вот до чего набожная и целомудренная Степанида Кузьминишна забылась и говорила племяннице неприличное, а все оттого, что много ела коврижек, в которые много кладут гвоздики, корицы, инбирю; взяла даром карету — захотела и цуг серых жеребцов... Трудно желание удовлетворить, и она тем была виновнее, что у всех просила, а у ней никто ничего; так к сему привыкла, что это сделалось второй ее натурой.

Глава XL. — *Нельзя не поворожить.*

В продолжение нерешимости Луки Андреича тетка, погруженная в тяжкое сомнение, соблазнилась словами короткой своей знакомой Маремьяны Бобровны Набатовой, которая веровала в одну славную кофейницу, точно как древние в сибилл или оракула Апполона Дельфийского, превозносила до небес чухонскую колдунью и, тысячью примерами поколебав дух Степаниды Кузьминишны, взялась привести кофейницу, и хотя и уверяла, что та для нее все сделает, быв ее задушевым другом, но не прежде трех дней по обещанию могла с нею явиться; так много было охотниц открывать в гуще судьбу.

Кофейница была родом из Выборга и получила в наследство от матери дар брать пошлину с легковерия и глупости; в Риге и Ревеле она едва могла достать нужное пропитание и известна там была под именем медхен Минхен, то есть девка Мина; но, приехав в Москву из Риги с обозом сельдей, анчоусов и прочей гнили, которую, за негодностью, из портов отправляют в Москву ежегодно, принялась за свою профессию, через месяц перестала ездить на дрожках, а в присылаемых каретах; через два же

года купила на Моросейке домик и зажила своим домом; содержание ей ничего не стоило, потому что у нас съестное для людей и скота ни за что считают; за колдовство брала у себя по 5 р., на стороне по 10 р. Гардероб ее ежедневно умножался и хотя был не самый модный и не новый, но весь почти шелковый. И скверная эта чухонка ездит в карете, живет в своем доме, из Минхен превращается в Мину Карловну мадам Шнапгельд, упивается на ночь английским пивом, утешает, огорчает по своей воле в Москве.

Обида вам, ворожей, цыганки, колдуньи! Но вы сами виноваты, зачем вы речидись на Руси, говорите по-русски, шатаетесь пешком по подоконью и по кабакам в замаранном платье. Делать нечего, видно, так вам на роду написано; а уж этой записки никто не переправит и не подскоблит. Наука Мины Карловны состояла, смотря в чашку, выполосканную кофеем, врать вздор, описывая будто видимое. Говоря полчаса обо всем том, что в жизни каждого легко случиться может, должно что-нибудь непременно и сбыться. Деньги, чины, почести, любовь, дружба, отъезд, приезд, печальные и приятные вести, муж, жених, обожатель, смерть, родины, ссора, мир — вот загадка и отгадка науки Мины Карловны, начинка жизни нашей.

Мина Карловна, за неделю увидя в чашке, что одна знатная барыня 76 лет должна долго-долго еще жить, получила в подарок за прибавление к долголетию желтый гарнитуровый робронт, шитый дома в пяльцах разводами. Барыня умерла через два дня от паралича, а робронт остался, и это в порядке вещей. В сем-то наряде с Маремьяною Бобровной удостоила посещением тетушку выборгская волшебница. От короткости в домах, через расспросы девок и людей, через свою догадку она знала почти наперед, что могло быть приятно в тех домах, где она хозяев дурачила, и история Луки Андреича давно дошла до ее обширного сведения.

Должно при сем случае отдать справедливость княжне, что она не хотела быть свидетельницею ворожбы и просидела все время в своей комнате.

Кофе подан, поставлен на столе, люди высланы, двери затворены, и Мина Карловна, при слабом свете двух салных коптившихся вологодских свеч, завладев вниманием Степаниды Кузьминишны и Маремьяны Бобровны, начала с расстановкою во всех местах речи, где ставятся знаки правописания:

«Много, сударыня, гут хорошего. Вот тут прекрасная девица что-то сидит задумавшись. Она думает о кавалере,

и этот кавалер большого роста и большой барин; он сам очень, очень влюблен, но не знаю, что-то ему мешает открыться, какие-то дамы и несколько кавалеров. Вот эта девушка будто и плачет; а одна дама, такая почтенная, уговаривает ее и обнимает, а она все плачет; да и кавалер этот неспокоен: он все ходит будто в отчаянии; не знаю, тут что-то карета сделала. Вот все благодарят, а уж кавалер-то так и подлетает, так и тает. Много тут еще будет препятствий и слезок. Посмотрим, что в другой чашке».

Поболтала другую чашку и продолжала:

«Постойте! постойте! Вот, кажется, и конец. Церковь; идет священник; поздравляю: вот и свадьба. Жених как герой. Девушка очень довольна, но ей тошно — дурнота; вот ей дают в руки скляночку. Ах мейн гот! какое богатство в доме-то! Все золото да позументы; ну, нечего сказать, все как во дворце. Какой веселый бал! А вот тут эта другая сидит дама: как важна, какие ей подарки, и все ее так благодарят. Ну, уж теперь нечего больше сказать; все кажется благополучно и как быть должно».

В продолжении этого пустословия Набатова была в восхищении так, как ступающий по долговременном отсутствии странник на землю родины, — друг, узнавающий, что его друг жив, — нежный муж, обретающий жену и детей, или отец, видящий при рекрутском наборе, что сын его не входит в меру, — и при всяком открытии восклицала: «каково? какво?» — а Степанида Кузьминишна, обратясь вся во внимание, не смела и дыхнуть, чтоб не прервать нить счастливой своей судьбы в устах чухонской парки, изъясняя выразительно свое испугание обоими глазами, из коих один говорил «удивительно!», а другой кричал «непонятно!», смотрела сама в чашки; но так как и Мина Карловна ничего в них не видела, уважение к кофейнице преобразилось в глубочайшее почтение: она не знала, где ее посадить, как угостить и чем возблагодарить за радость, которой она ее облила с ног до головы.

— Жаль, — сказала лукаво Набатова, — что княжны здесь не было; ее бы кофей-то завял. Да где она, мать моя?

— Все утро жаловалась головою: ведь у ней мигрень очень часто бывает. Пойду ее, бедняжку, посмотрю.

Тетка вбежала к племяннице точно так же скоро, как Крисанфовна из сарая, и бросилась целовать и в щеки, и в губы, и в лоб. «Ну, Глафирушка! благодари Бога. Знаешь ли, Мина Карловна все узнала, все отгадала, и — свадьба, мой друг, свадьба. Под венец дурочку! Скажешь мне

спасибо. Велика милость Господня!» Княжна объявление приняла с насмешкою; потом, желая будто узнать, что враль кофейница, выслушала все со вниманием и оттого не объяснила своих мыслей, что вдруг хотелось сказать «не бывать» и «будет». Тетка предложила ей подарить что-нибудь чухонке; племянница отвечала, «я право не знаю, посмотрю», посмотрела — нашла и послала прекрасное платье, на коем одно лишь было пятнышко.

Не вините, пожалуйста, сей добронравной княжны; вы знаете, что она влюблена; а кто из влюбленных пользуется рассудком? Он всегда в отпуску, пока бродит голова и болтают чувства, а является в то время, как все устоится и любовь осядет на дно.

Тетка хотела было сохранить чашки, заметя номерами, как делают в кровопускании; но не знаю, что-то помешало, и я сего исследовать не мог.

Глава ХLI.— *Два случая.*

Доктор осуждает под шнипер больного и предписывает лекарство облегчить его выпуском нескольких фунтов чистой крови.

Приговор через несколько часов исполняется без отсрочки по той причине, что эти сентенции всегда подтверждает смерть. Больного сажают на стул, не велят смотреть, колют, режут ноги, руки и достают крови, сколько лекарю угодно, и для занятия и чтоб скорей она бежала фонтаном, а не ручьем, дают в руки бледному страдальцу трость, а больше щетку и велят ее шевелить, и если в сем трогательном положении застигает обморок, то оживляют спиртом или уксусом четырех разбойников, кроме лекаря.

А с простым народом меньше затей: кровь ему не пускают, а кидают до обморока: это мера, — и неоспоримым доказательством сему служат все вывески на цирюльнях, где обоего пола особы пишутся с свислою головою и в обмороке; в руки им дают кочергу или помело, оживляют спрыском холодной воды, и везде видно, что человек обезьяна и перенимает у людей. Операция та же, но цены разные: лекарю у господ обыкновенно в чашки кладут бумажки с номерами по мере, как они наполняются, и если доктор охотник до крови и уважен лекарем, или лекарь умничает, или о другом думает, то номеров выходит до 10. Чашки берегут до приезда доктора, который их осматривает, изъявляет свое мнение расстройкою лица, качанием головы или чмоканьем языка, предписывая или опять наполни-

ние чашек остальную кровью, или дает покой — часто вечный.

Не мне судить должно, так или нет. К чему этот инспекторский смотр чашек? Но вот что со мною случилось.

Мне было 19 лет; я занемог жабою, впал в бред и опомнился без шести чашек крови, кои стояли вокруг меня, как трофеи вокруг славного полководца. Доктор приехал, осмотрел, хвалил мою кровь и сказал: «Теперь довольно; увидим, что даде», — и все увидели меня здорового через четыре дня. Но ведь кровь он смотрел не мою, и никто не знает чью: слуга, который выносил чашки, упал с подносом и все пролил; но чтоб исправить, взял шесть чашек, побежал напротив дома в цирюльню и за пять копеек нацедил крови из первого человека, который явился к фельдшеру под шнипер. Сю-то смотрел доктор, по ней судил обо мне, и ею спасена моя жизнь; а дело сие вышло после через упреки двух людей: они побрались, подрались и пришли доказывать друг на друга всякого рода мерзости за три года.

Глава XLII.— *Закусил.*

Когда г. Вейсман послан был для поиска турок, найдя визиря с большою армиею, разбил его и овладел целым лагерем, тогда лучшая лошадь с богатым прибором подарена была от начальника Луке Андреичу; не знаю, арабской или барбарской породы был этот жеребец, но статей удивительных, вороной как уголь, роста большого, огненный как Везувий, легок как пух, быстр как вихрь, гибок как змея, проворен как жид, горд как временщик, поспешлив как лягавая собака; имя ему было Визирь, — и на сем-то дивном коне Лука Андреич в шитом мундире, окруженный друзьями и приятелями, в последствии толпы своих людей на прекрасных лошадях, явился на Пресне в день гулянья на Трех Горах. Он был ездок и хват; Визирь горячился, вертелся как бес, успевал всякому себя показывать спереди, справа и слева, летал как ласточка, прыгал как блоха, из ноздрей искры метал, как из трубы, а изо рта пену, как из моря. В окнах все дивились, народ останавливался и одно говорил: «Ах, лошадь! ах молодец! ну уж нечего сказать! эна! эна!» Лука Андреич, зная дом, в котором тетка с княжною сидели под окошком, подъезжая, прибрал поводья и захотел себя показать во всей верховой славе; но Визирь, оттого ли, что долго был неезжен или был слиш-

ком разгорячен, в одно мгновение ока сделал два престрашные скачка, закусил, полетел и исчез. Все это произошло в глазах княжны; она смотрела на приближение Луки Андреича со страхом, с самолюбием и с восторгом; но как лошадь его понесла, то она оцепенела, закрыла глаза и, услыша «бьет! бьет!», обмерла и упала с окна на пол полумертвая.

Ее вынесли в другую комнату, стали расшуровывать, тереть, прыскать, заставляя чихать и едва через час довели до того, что она открыла глаза и, не опомнясь еще совсем, залилась слезами, спрашивая довольно громко: «Где он? Боже мой, что со мною будет!» Дали ей выпить стакан простой воды с колонскою, нанесли всяких сильных снадобьев, все углы платков завязали узлами и отправили с тетушкою домой. Вот и гулянье.

Луку Андреича Визирь нес и бил версты три, но не сбил, и наш Александр Македонский укротил своего Буцефала, но ехать далее не мог, разодрав сапоги и оцарапав ногу о каретное колесо; поскакал к себе переодеться, но, узнав, что княжну больную привезли домой, в первом движении бросился было сам проведывать, но от застенчивости отправил скорохода спросить о здоровье и сказать, что с ним случилось, и все это было не к стати.

Пока лошадь била Луку Андреича, то на улице сделалась суматоха престрашная; в домах кричали: «Ах! ах! что такое? кто такой?»; а народ действительно с усердием вопил: «Держи! держи! ах Мати Божия! ведь это беда! убьет сердечушку! а молодец-то, молодец!» И из сего можно заключить, что красота действует сильно над чувствами: народ принимает живое участие в опасности Луки Андреича оттого, что он велик, строен, молодец и лошадь под ним богатырская; но выпустите скверного парнишку, или важного карлика, или спесивого горбунка, — пусть его понесет по улице и при народе клеперок с стриженою гривой или сухой кургузый английский пострел, то другого не услышите, как хохот и: «Смотри, смотри, как треплет! экой срам! ну, комедия! и бить-то нечего, и ох сказать не по чем. Уж штука, брат! Ах, ты уродина! туда ж за людьми. Ну, спрашивай ума!» А если кто остановит и спасет этого горбуна или человечка, того примутся бранить: «Что тебе жаль его, что ль, стало? Ну, туда и дорога; не езд; зачем, дурачина, останавливал. Да этакой потехи и не нажить!»

Глава XLIII.— Ядовитые змеи!

В том доме, где сидела под окном княгиня Глафира Юрьевна, много было гостей, и все барыни под видом сожаления пошли ее оттирать, следственно, слышали слова: «Где он, Боже мой, что со мною будет!», — и как скоро она с теткою уехала, то и пошли толки: «Жаль княжны бедненькой: она что-то не по себе и приехала». — «Этого, однако ж, не приметно было». — «Да она уж давно, как в воду опущена». — «Как не испугаться, — есть отчего!» — «И конечно, на это равнодушно смотреть нельзя, особливо ей. Уж право, дай Бог поскорее конец».

— Да-с, эта свадьба что-то идет в длинный ящик.

— Не простительно Луке Андреичу ездить на такой лошади; она же, сказывают, и турецкая.

— Матушки, какой страх! всех перепугала до смерти.

— Да ведь он и о себе не думает, не токмо что о других. Это видно по его поведению с княжною.

— Ну, в этом больше тетка виновата: она Богу даст отчет.

— Мудрено разобрать, кто причиною, а и княжну похвалить грешно. Да что́ она такое в нем нашла? мужик с гайдука; я, право, его боюсь; того и смотри, что убьет.

— Да у гайдука-то, матушка, 5000 душ и все хлебные деревни, одна другой лучше; ну да и бригадир: цугом-то поравняется со всяким.

— Вот то-то, все до случая; кабы не запрыгала лошадка, так бы княжна не облабетилась.

— Да она не помнила, что говорила; так без памяти.

— Ах, мать моя! да у ней памяти никто не отбивал.

— Да Лука-то Андреич ее убил.

— А мне так тетушка-то мила: точно как сушеный черный гриб; готовит племянницу заступить свое место. Хорошее дело — воспитание! Ах, избави Бог, детям оставаться без отцов и матерей, пронавшие бедняжки.

— Да, сударыня, пример этот мы сейчас видим. Чтоб княжна-то не умерла от испугу. Долго ли до беды! Что же? Девичий от нее не далеко; там места еще много.

— И, полно, матушка; все пройдет, изволите увидеть. Что́ за болезнь! тошнота маленькая.

— Может быть, расстроен желудок.

— Да, может быть; я так не то думаю.

— А что же такое? не-уже-ли?.. И, нет! уж этому никак не поверю, воля твоя.

— Ну, не верь, мать моя; Бог даст доживем — увидим либо услышим; ведь девять месяцев не век...

— Вообразите! Ах, Боже мой! вот до чего дожили!

— Я надеюсь, что с ней это будет в последний.

— И, полно, матушка! разве тебе жизнь надоела, хочешь свету представления!

— И дай Бог ему здоровья; мы-то чем же виноваты?

— Ну натурально!

И пошло тут толкованье, шептанье, сообщения, замечания, лжи, клеветы, и из сего дома в полночь выехало фурий с дюжину, навьюченных ядом клеветы, которая в сутки поднялась, разрослась и разнеслась, как в одно лето башня, кочан капусты и прах земной.

Проклятые злодейки, чертовы посланники, адские почтальоны, звери ехидные! достойно бы вам родиться слепыми, глухими и немыми. Что перед вами убийца? Того законы отдаляют навсегда от общества людей; а вы настоящие душегубцы. О, как жаль, что на вас не привязывают почтовых колокольчиков! Тогда бы звук их при первом движении вашем предохранял род человеческий от острого жала вашего, так как шумящий хвост змеи с колокольчиками извещает людей о приближении сей ядовитой пресмыкающей.

Глава XLIV.— *Посольство.*

Двоюродный дядя по матери Луки Андреича, человек старого века, честных правил и при грубой наружности внутренне чувствительный, узнал на другой день приключение племянника на улице и княжны в доме. Навестив расстроенного любовью Луку Андреича, рассказал ему все происшедшее, представил все пагубные следствия, молву городскую и, рассердясь, заключил вопросом: «Что ж ты думаешь, жениться или нет? Если хочешь, так напрасно откладывать. Ступай перекрестясь: у тебя люди, лошади и кареты, благодаря Бога, есть, не занимать стать; не давай на поругание будущей своей жены, не губи честной девушки. Если не хочешь жениться, так запрягай лошадей да убирайся куда глаза глядят. Полно срамиться! зачем лез, как сом в вершу? Подумай, брат племянник, ведь это дело не шутка. Да, нынче все не так, как в наше время; тогда была смерть копейка, а нынче честь полушка. Ужели надеешься на то, что сирота тебе досталась? Ты думаешь, что не знаю всех твоих шашней. Нет, брат Лука, я сам у себя: Пойди-ка к зеркалу да посмотришь: ведь краше в гробе

кладут; а она, моя милая, была как розовый цвет, а теперь в чем душа держится. Только и разговору, что о ней да о тебе: куда ни завернешь, везде в набат бьют. Ну, что это такое? Если б с моею дочерью этак кто пошутил, да я б ему, собачьему сыну, и руки и ноги переломал — воля государева со мною. Я отец; детей в обиду не дам ни под каким видом. Нет, ты не в батюшку. И изволь знать, если ты не поедешь свататься, то тебя прошу ко мне в дом не ездить. Хотя и родной племянник и сын сестры, моей благодетельницы, но я тебе ввек этого не прощусь».

Хотя Луке Андреичу было 36 лет, но дядя точно так ему говорил, потому что права были его родственные и честные; он его не обидел словами, а растрогал упреком памяти отцовской. Племянник обнял дядю и расцеловал у него руки, рассказал историю своей страсти, настоящего положения, желание и страх, что откажут. Дядя опять заговорил: «Ну, да если ты онемел и поглупел, так чего тебе лучше: изволь, я еду; скажи только слово — тетка мне человек знакомый: она в чуму у меня в карантине в Королевце сидела и до сих пор хлеб-соль помнит. Мы с ней в трех словах дело сладим — и по рукам; а вы там остальное сами доделывайте».

Опять принялся племянник дядю целовать и упрашивать, чтоб ехал тотчас; но дядя отговорился, что ему надо идти домой, что у него званые гости, что надо соснуть, одеться, и заключил пословицей «поспешим да людей насмешим».

И в самом деле, ему надобно было прибраться: он ходил пешком к обедне, а оттуда к Троице под Гору; его забрызгали грязью; он был в сюртуке и без камзола, во уважение жаркого время.

Глава XLV.— Сватанье.

Луке Андреичу показалось, будто княжна с ним переменялась оттого, что она от любви, от неизвестности и от разглашений на ее счет по городу съедаема была печалью и лишилась своего веселого нрава; а от сей мечты продозревание, ревность и гнев стали постоем в душе его, и если б Визирь не закусил удила на Пресне, то б нельзя и предвидеть, чем бы кончилось это любовное похождение. Но нет худа без добра; иногда все идет к лучшему, иногда к худшему, и это следствие общего движения в мире.

Дядя, наевшись, напившись досыта, прилег на старое канапе и всхрапнул ровно час с четвертью; сна его ничто

тревожить не могло: шум — оттого, что человек над ним читал третий том «Тысячи одной ночи»; мухи — их сгоял мальчик полотенцем.

Проснулся, засвистал, выпил пять чашек чаю, съел дыню, напудрил белую голову, надел кирасирский мундир, сырсаковый камзол, препоясал меч и отправился говорить за племянника к Степаниде Кузьминишне.

Он ее застал дома; княжна, еще не совсем здоровая, сидела тут же в комнате. Посла приняли со всею надлежашею почестью, посадили в большое место. Тетка спросила, каков Лука Андреич; а дядя отвечал: «Все охает, да крепкую думу думает», — спросил сам у княжны: «А ваше сиятельство что так печальны? в ваши б лета и грустить не об чем! право, так». За ответом: «Я не очень здорова и не могу избавиться от боли в голове», — почувствовала, что слезы хотели бежать из глаз, успела встать и пошла к себе в комнату.

Лишь она за двери, то посол и приступил к трактованию о союзе.

— Послушай, матушка Степанида Кузьминишна, мы с тобой люди немолодые, давно уже в свете толкаемся. Что пустяки понапрасну калякать? Изволь-ка милостиво выслушать. У тебя племянница невеста, а у меня есть жених; ты его знаешь довольно; мне хвалить его не годится, ибо он мне родной племянник, от роду ему тридцать шесть лет, бригадир и кавалер; имя его Лука, по отчеству Андреич, а фамилия Кремнев; имения за ним пять тысяч душ, ума палата, сущий христианин и человек много честный. Такого молодца поискать со свечкою: чего же думать? Помолимся Богу да и по рукам: нам же будет любо на них смотреть; право, так!

Хотя душа и сердце Степаниды Кузьминишны готовы были повергнуть тело ее к личным сапогам свата, но ум сохранил равновесие, дал вид важный, с прибавкою спеси, и внушил следующий ответ:

— Я, конечно, благодарна вам за сделанную честь моей племяннице, что желаете ее иметь в своем семействе, и знаю достоинства Луки Андреича, слышав много об нем доброго. Но она еще молода. Я хоть уверена, что она из воли моей не выйдет, но принуждать ее не намерена и выбор жениха предоставляю собственному ее расположению. Итак, вы не обидьтесь отсрочкою и позвольте мне подумать хорошенько и узнать мысли племянницы. Я же вам чистосердечно признаюсь, что с моей стороны желала бы очень, чтоб расположение ее могло быть согласно с вашей

пропозицией. Брак есть вещь столь важная, что... немудрено... если я... и она... вы знаете...

Ответа она не кончила от радости, от непривычки говорить речи и от нетерпения сообщить сие неожиданное известие княжне; а посол, подхватя последнее слово, продолжал:

— Да я знаю, что княжна непрочь от моего племянника. Что тут за церемонии! А для соблюдения канцелярского порядка, отправляйся, любезная сватья, к невесте да пришли ко мне записочку, изволишь ли слышать? Что мучить понапрасно молодежь? Я теперь пойду к моему, а ты пробирайся к своей. Прощай, милая; дай ручку. Вот так.

Засим он поехал прямо к племяннику, рассказал слово до слова все и описанием ответа и удаления княжны из комнаты конференции привел его сперва в задумчивость, потом в отчаяние. Тщетно добрый старик принимался утешать жениха, доказывая, что княжне неприлично было тут оставаться; но он, ходя по комнате как сумасшедший, то бил, то тер лоб и говорил с перерывкой: «Так... вот хорошо... я это знал... Ах, Боже мой!.. С чего я вздумал?.. Вот чего боялся!.. Отказ и смерть...»

Пока дядя пошел, а племянник бесновался, тетка полетела в горницу к племяннице и, обнимая ее со слезами при каждом слове, едва могла пересказать разговор с дядею Луки Андреича. Княжна перекрестилась, протянула руки к тетке, произнесла: «Что ж мне делать?» — и упала в обморок. Опять пошло оттиранье, беганье, нюханье. На этот раз обморок скоро прошел, так как и радость проходит, — а она была его причиною; тетка же, смотря на племянницу, думала: «Куда как молодые люди ныне хилы! Все в них слабости: лошадь убьет — обморок, не сватается — обморок, сватается — обморок. А я, бывало, бьюсь час об стену, а все в памяти; да ведь за меня и никто не сватался. Бог не дал этой утехы за то, что я, грешная, очень замуж хотела. Что правда, то правда!»

По возвращении чувств княжна, воображая отчаяние Луки Андреича и судя по себе, просила тетку убедительно, чтоб она отправила к дяде письмо или записочку собственной ее руки, писанную без правописания, кривыми строками и буквами, сложенную на уголок и запечатанную резной печатью. Вот содержание сего послания:

«Батюшка Фома Егорыч! Мне кажется, что племянница не имеет отвращения. Благодаря Бога, по мне хотя и зговор когда рассудите. Глафирушка слаба; пожалуйте зафтря: аба всем переговорим и паложим. Милава Луку Андреича

с племянницею желаю видеть щасливых. А я погроб ваша готовая к слугам

Сте. Позвонкова».

Письмо вручено дяде, передано им племяннику и произвело перерождение. Горесть исчезла, и явилась радость: он бросился в слезах перед образом на колени, потом к ногам дяди, и они, обнимаясь, с восторгом повторяли: «Ах, дядюшка!», «Ах, друг мой!»

Разведем всех их по кроватям: надобно отдохнуть и собраться с силами. Много успели сделать, но дело еще все впереди.

Глава XLVI.— Печатка —

та, которой Степанида Кузьминишна печатала все свои письма, была у нее лет двадцать: она ее выменяла на бирюзу у французской мадамы, которая образовала воспитание девиц в одном благородном доме. Печать была оправлена в золоте и вырезана на яшме; но от времени и частого тиснения нижняя часть стерлась, остался один петух, и так, что нельзя было видеть, на чем он сидит; внизу подпись *Gratis*; ее только два раза и толковали француз и итальянец; но так как они были не сильны в натуральной истории, еще меньше в художествах, то и не могли проникнуть и утвердительно положить, что под петухом было, и подпись истолкована двояко: француз утверждал, что *Gratis*, то есть «даром», значило, что петух может есть без заплаты, и потому вероятно, что он сидел на мешке или кульке; а итальянец, принимая литеру *e* за *i*, доказывал, что надпись значит *Grates*, то есть «скребеть», и, по его мнению, под петухом должна была быть ямка *en intaglis*.

Глава XLVII.— Сговор.

Собралась родня; священник прочел молитвы и, обруча влюбленную чету, вручил ей вместе с кольцами блаженство, утехи и надежду всего мира. Начались поздравления, поехали ко всей родне до пятого колена; сговоренные не наговаривались, не насматривались друг на друга; свет весь заключался в том углу, где они сидели; весь род человеческий в них самих, верх счастья в каждом слове, взгляде, усмешке; но каждый, однако ж, с своей стороны заботился о свадьбе, и главная причина сему была грусть разлуки, ибо хотя они с утра и до вечера были вместе и совершенно при людях и без людей одни, но хотя поздно, а должно было

всякий день жениху ехать, а невесте идти спать. Это главная неприятность в сговорном положении.

Сговор для свадьбы то, что введение для истории, паперть для храма, сени для палат и рождение для жизни.

Глава XLVIII.— *Влюбленные* —

точно как дети, коих еще водят на помочах: всего просят, всего хотят, радуются, когда выпрашивают, плачут, когда им отказывают. Точно как сумасшедшие, на одном пункте приходят иногда в память, но скоро опять впадают в безумство; со всем тем все почти выздоравливают и возвращаются в первобытное состояние. Точно как нищие, слепая братия, просят милостыню Христа ради; но поводырь их с завязанными глазами и заводит, сам не знает куда.

От 15 до 25 лет	влюбленные	жалки,
— 25 — 30 —	—	терпимы,
— 30 — 35 —	—	сносны,
— 35 — 40 —	—	смешны,
— 40 — 50 —	—	странны,
— 50 — 60 —	—	отвратительны,
— 60 — смерти	—	гадки.

Глава XLIX.— *Неблагодарность.*

Между многими странностями в нашей земле должно поместить в заглавие сговоренных: они кидаются в глаза, колят их и заставляют часто закрывать.

Что на свете боязливее влюбленного? что скромнее влюбленной? Какой предмет для мужчины почтеннее женщины, в коей он полагает найти дружбу, любовь и счастье, делить печали и утехи целой жизни и которая, преисполненная нежною страстию, жертвует настоящим благодеянием неизвестному, надеясь его найти в том, с коим она соединяет судьбу свою навек, преображаясь добровольно из властителя в невольницу? Но сколь влюбленные тихи, робки и почтительны во все время искания, столь напротив делаются смелы, дерзки и предприимчивы в минуту сговора: жених тотчас хочет пользоваться многими правами мужа, а молодая, прекрасная и часто невинная невеста, ободряясь присутствием своих ближних, снисходит на вольности будущего своего супруга, не находит в страсти своей причины, а в любви силы к отказу, сперва не хотя огорчать его, а потом себя приучает делить с ним упоение

чувств, и, вместо зрелища счастья, жених и невеста выставляют часто картины неблагопристойности.

Понимаю, что влюбленные могут забываться: они всегда, как Адам и Ева, в раю; но мудро, как матери и отцы терпят подобные вольности! При них, при большом обществе, при собрании целого города, сговоренные обнимаются, целуются, вздыхают, губами раздувают друг в друге жар, рождают в зрителях или зависть, или отвращение и сею страстную горячкой отнимают заранее всю силу у любви, у воображения, освобождаются сими задатками из плену и опускаются ко дню свадьбы на точку замерзания.

Я хотел бы, если уже нельзя переменить сего беспорядка вещей и нетерпения, чтоб сговоренные при людях не показывались, чтоб их заставляли ширмами или завешивали покрывалами, а всего лучше, чтоб надевали на них маски с длинными носами.

Возражение идет на молодых и взаимно влюбленных, коих страсть подводит под венец брачный; но отнюдь не касается до тех сговоренных, кои друг в друге видят большую дорогу, лобное место, духовную, деньги и кои, вместо легкой цепи цветов, сплетенной рукою счастья и любви, попадают в железа и на канат преступников.

А и эти целуются, но точно так, как на святой неделе со всеми и на похоронах с покойником. Вообще, большая часть влюбленных целуются, целуются, — а потом кусаются.

Глава L. — Мерка.

Только сговорят — и явится барская барыня без речи, точно как немой из серала, с тесемкою смерить диаметр шей жениховой.

Это для шитья сорочек, будто он ходил прежде нагой; но так должно.

Прежде сего шивали белье по домам русские швеи, и тогда полотно не жалели, даже и голландского; а нынче подрядом берут шить магазинные мадамы и, вместо рубашек, будто ошибась меркой, делают жилеты с рукавами. Иноземцы сперва нам обрезали бороды, потом волосы; там укоротили чувства, раздели; а нынче принимают драть кожу; но все это так нежно, легко и мило, что мы радуемся и утешаемся тем, что можем благодарить их на их языке.

Глава I.— Свадьба.

Наконец, настал день, в который брак соединил два сердца в одно, две души в одну, два рока в один. Дом был снова весь прибран, люди богато одеты, в окнах пирамиды, на улице площадки, стол удивительный, музыка огромная, и, в одно слово, и дворянство и народ согласились, что свадьба Луки Андреича Кремнева¹ была свадьба великолепная и знатная. В восемь часов пополудни в приходской церкви обвенчались два истинно влюбленные. Они молились Богу от чистого сердца о взаимном благополучии каждого и просили Его, чтоб умереть прежде другого. В девять часов возвратились домой — Лука Андреич мужем, а княжна Глафира Юрьевна женой. В десять обряд и нетерпение освободили новобрачных от свидетелей и предали их будто сну. Но Морфей, сдав их тотчас с рук на руки сыну Пафосской богини, удалился, пожелав доброй ночи.

А в десять часов с четвертью у Глафиры Юрьевны осталось лишь право писать на гербовой бумаге и на визитных билетах: «Урожденная княжка Мишурская».

Ничего, Глафира Юрьевна!

Славно, Лука Андреич.

Глава II.— Напрасно.

На что церемония в день свадьбы? не лучше ли иметь свидетелями оной с обеих сторон самую лишь ближнюю родню, обвенчаться утром, отобедать в доме, откуда невеста; потом кончить день у новобрачного и избежать тысячу неприятностей, беспокойств, тягостей в самый важный, единственный и решительный день жизни нашей.

Но как не выставить приданого, из которого три части никуда после не годятся — от перемен в моде и от сырости кладовой?

Как его не везти по улицам на чужих лошадях и как не занять целые дроги и осанистого цугу перевозом между прочим необходимой утвари, из коей, кроме дурного запаха, ничего выйти не может.

А-ай! я слышу старух, кои в один голос все крикнули: «Ах, злодей! чего хочет! прилично ли молодой бегать на низ и на двор? ей сидеть должно!»

Извольте. Честь ей и место.

¹ В рукописи ошибка — Богатырев. (Примеч. сост.)

Глава III.— *Курицу яцы учат.*

Тревожить дух, приводить в трепет юность, преобразовать милого человека в злодея, заставлять краснеть целомудрие, отравлять самую счастливую минуту любовной жизни и обращать неизвестность и стыд в страх и в любопытство, а иногда в нетерпение и обиду, — вот что делается. Какая нужда учит той одной науке, в коей ученики превосходят учителей?

Но это обычай.

А обычаи почитать должно; однако не запрещено над ними и смеяться; а смешная вещь может иногда выйти наконец из употребления.

Желаю, чтоб все смеялись со мною, — кроме молодых девушек...

Глава IV.— *Дядя.*

Тот самый Фома Егорыч, который ездил к Степаниде Кузьминишне сватом, был у Луки Андреича, в качестве родного дяди, посаженным отцом. За исключением некоторых вольных слов, непристойных шуток и двусмысленных приветствий по случаю свадебного пира, вел себя очень хорошо до тех самых пор, как все разъехались, молодые пошли спать, а он, приглася своих коротких, истребовал шампанского вина и, выдумывая разные здорovia, но не по примеру англичан, так упился, что люди племянника, опасаясь положить его в карету, положили на канапе, где он сном и временем перестал быть пьяным и проснулся опять трезвым. Тут в пьянстве он доказал, что пословица «Язык мой враг мой» справедлива; хотя он и любил чистосердечно племянника и без памяти рад был его свадьбе, приписывая оную своему красноречию и искусству, но, пив здравие новобрачных, примолвил: «Дай Бог и впредь у племянника на свадьбе повеселиться». Ах, закричит всякой: экой негодяй! хорош дядюшка! не успел племянник обвенчаться, и уж жене его желает смерти!

Извините Фому Егорыча: он сам не помнил, что говорил; он был пьян, соврал ненарочно; сколько и трезвых врут — и как долго, иной пока жив; а если хорошенько разобрать, то умные еще больше врут, чем дураки, оттого, что на этих надеются, — и правду сказать, есть на кого.

Глава LV.— Тетка.

Сколь ни довольна она была предстоящим счастьем племянницы, сколь много ни видала она приятностей и выгод для себя самой, но минута разлуки с ней была тяжела — не от любви, не от привязанности, не от чувствительности, а просто от привычки и от любви к себе. Она выражала сие двумя речью: «Она со мною жила 9 лет; с кем я останусь?» Но посреди слез, вздохов, укусов и спиртов должна была отпустить племянницу в церковь венчаться. Она ей сделала пристойное наставление касательно обязанностей жены, госпожи, матери и заставила наедине выслушать на первый раз сокращенный курс, который преподала одна коротко знакомая теткина, бывшая три раза замужем и два раза у разбойников на Волге.

Тетка, благословя образом племянницу, просила ее неотступно, чтобы она ступила прежде жениха на подножие. Но должно отдать справедливость княжне, что она презрела сей совет, — и хорошо сделала, а дурно то, что через несколько месяцев в разговоре сказала о сем мужу.

Этот предрассудок происходит, верно, от принятого правила, что все зависит от первого шага; но спотыкаются после; а всего лучше, чтоб муж и жена ходили в одну ногу.

Глава LVI.— Белая горячка.

Что за вздор! что за чудо! на другой день свадьбы в новой карете везут замкнутую шкатулку, и она для родни невесты суций ящик Пандоры, в коем оставалась единая надежда.

— Что это?

Трофеи после Кагульской баталии или окровавленная тюника Юлия Кесаря, коей Марк Антоний хотел вооружить чернь римскую и подвигнуть ее на отмщение убитого, который был слишком затейлив?

О, честь, честь! везде ты сокрыта, закрыта и притеснена! Одно мгновение ока тебя истребляет навеки; подобная ночным птицам, ты убегаешь света дневного и прячешься от глаз людских, обыкших в тесном месте твоего скрытого пребывания находить иногда, вместо тебя, следы гнусного порока!

Глава LVII.— *Продолжение бреда.*

Зачем, выведя обвенчанную, представить ее опять пред лицом всех созванных в легком ночном платье, допустить, чтобы все с нею прощались и большая часть говорила глупые приветствия, завсегда обидные или непонятные истинной добродетели?

От них краснеет невинность от стыда и замешательства, а порок от нетерпения и сладострастия.

Все сие происходит у подножия брачного кровавого ложа, которого она не ведала девушкой...

Глава LVIII.— *Колпаки.*

Высокие и смешные колпаки надевают на домашних, на дураков, на ленивых учеников и на обветшалых женихов.

Лука Андреич от колпака не ушел: надели на него; но он не будет домашним дураком; он не ученик и не ленив. Какая ж нужда представлять супруге супруга, в первый день брака, в смешном виде испанского дона Лимпордаса, итальянского оперного шута или немецкого профессора?

Но, как говорится, любовь слепа. Если невеста не очень жеманна, так и слюбится. Сила — не его колпак.

Глава LIX.— *Форточка.*

В полночь между Глафирой Юрьевной и Лукой Андреевичем произошел следующий разговор.

- Что ты, мой друг, там делаешь?
- Затыкаю форточку, сквозит ветер.
- Заткни покрепче. Я боюсь, что ты простудишься.
- Ничего, милая, согреюсь.
- Что же ты? Уже кончил?
- Нет еще, вить дует.

Глава LX.— *Просьба.*

Помилуйте, отцы мои, матушки! сжальтесь над сиротою, дайте дух перевести. Я измучился, на человека не похожу. Мало ли трудов было? Родителей и брата Луки Андреича погреб, его воспитал, записал в службу, вывел в люди, в отставке женил и спать положил. Сколько хвалил, сколько бранил... Ну, позвольте и мне отдохнуть.

Если узнаю, что хоть один глаз прослезился и один рот

рассмеялся, то опять примусь за перо; зачну чертить новые истории. Если же несчастный книгопродавец сей книги пойдет по миру, то не взыщите, — я уже тогда сам заплачу и засмеюсь: заплачу — что погубил человека, засмеюсь — что вздумал быть цензором Катоном, и писать уж больше не буду, как к своим родным и к прикащикам. Сколько сберегу бумаги, перьев, зрения и покоя!.. Но судьба Луки Андреича, детей его и моя в ваших руках. Несколько вас, составляющих общество, несколько обществ публику, а публика — вещь бессмертная, премудрая, ветреная, орденская дума, уголовная палата, Тит, Нерон, мать и мачеха... Впрочем, имею честь пребыть с истинным почтением и преданностью,

милостивая государыня, публика,
ваш покорнейший слуга N.N.



МЫСЛИ ВСЛУХ НА КРАСНОМ КРЫЛЬЦЕ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНИНА СИЛЫ АНДРЕЕВИЧА БОГАТЫРЕВА

Ефремовский дворянин Сила Андреевич Богатырев, отставной подполковник, израненный на войнах, три выбора предводитель дворянский и кавалер Георгиевский и Владимирский, отправился из села Зажитова, по случаем милиции, в Тулу для закупки ружей и, узнав о победе под Прейсиш-Эйлау, проехал в Москву для разведывания о двух сыновьях, брате и племяннике, кои служат на войне. Отпев молебен за здравие государя и отстояв набожно обедню в Успенском соборе, по выходе, в прекрасный день сел на Красном крыльце для отдохновения и, преисполнен быв великими происшествиями, славою России и своими замечаниями, положи локти на колена, поддерживая седую голову, стал думать вслух так:

«Господи помилуй! да будет ли этому конец? долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум, сотворить молитву и, плюнув, сказать французу: «Сгинь ты, дьявольское наваждение! ступай в ад или восвояси, все равно, — только не будь на Руси».

Прости Господи! уж ли Бог Русь на то создал, чтоб она кормила, поила и богатила всю дрянью заморскую, а ей, кормилице, и спасибо никто не скажет? Ее же бранят все не на живот, а на смерть. Приедет француз с виселицы, все его наперехват, а он еще ломается, говорит: либо принц, либо богач, за верность и веру пострадал; а он, собака, холоп, либо купчишка, либо подьячий, либо поп-расстрига от страха убежал из своей земли. Пома-

нерится недели две да и пустится либо в торг, либо в воспитание, а иной и грамоте-то плохо знает.

Боже мой! да как же предки наши жили без французского языка, а служили верой и правдой государю и отечеству, не жалели крови своей, оставляли детям в наследство имя честное и помнили заповеди Господни и присягу свою? За то им слава и царство небесное!

Спаси, Господи! чему детей нынче учат! выговаривать чисто по-французски, вывертывать ноги и всклокачивать голову. Тот умен и хорош, которого француз за своего брата примет. Как же им любить свою землю, когда они и русский язык плохо знают? Как им стоять за веру, за царя и за отечество, когда они закону Божьему не учены и когда русских считают за медведей? Мозг у них в тупее, сердце в руках, а душа в языке; понять нельзя, что врут и что делают. Всему свое название: Бог помочь — *Bon jour*, отец — *Monsieur*, старуха мать — *Maman*, холоп — *Mon ami*, Москва — *Ridicule*, Россия — *Fi bonc*¹. Сущие дети и духом, и телом, так и состареются.

Господи, помилуй! только и видишь, что молодежь одетую, обутую по-французски; и словом, делом и помышлением французскую. Отечество их на Кузнецком мосту, а царство небесное Париж. Родителей не уважают, стариков презирают и, быв ничто, хотят быть все. Завелись филантропы и мизантропы. Филантропы любят людей, а разоряют мужиков; мизантропы от общества людей убегают в трактиры. Старухи и молодые сошли с ума. Все стало каша кашей. Бегут замуж за французов и гнушаются русскими. Одеты как мать наша Ева в раю, сущие вывески торговой бани либо мясного ряду. Даже и чухонцы сказываются лифляндцами, а те немцами. Ох, тяжело! дай, Боже, сто лет здравствовать государю нашему, а жаль дубины Петра Великого: взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры да выбить дурь из дураков и дур. Господи, помилуй, согрешил грешный.

Прости, Господи! Всё по-французски, всё на их манер; пора уняться. Чего лучше быть русским? не стыдно ни где показаться, ходи нос вверх, есть что порассказать, а слушать иной раз не рад, да готов. Вить что за люди к нам ездят и кому детей своих мы вверяем! Того и смотрим, чтоб хорошо выговаривал, а впрочем, хоть иконы обдери: ей-Богу, стыд! Во всех землях по-французски учатся, но для того, чтоб умел писать, читать и говорить внятно.

¹ Добрый день. Месье. Маман. Друг мой. Смешная. Фу (фр.).

Ну! не смешно ли нашему дворянину покажется, есть ли бы русский язык в такой моде был в иных землях, как французский; чтоб псарь Климка, повар Абрашка, холоп Вавилка, прачка Грушка и непотребная девка Лушка стали воспитывать благородных детей и учить их доброму. А вот, с позволения сказать, это-то у нас лет уж тридцать как завелось и, по несчастью, не выводится. Дожить, ей-Богу, до беды!

Владыко мой! да чего отцам и матерям хочется? чего у нас нет? всё есть или может быть. Государь милосердный, дворянство великодушное, купечество богатое, народ трудолюбивый. Россия известна лет с полтора ста. А какие великие люди в ней были и есть! Воины: Шуйский, Голицын, Меншиков, Шереметев, Румянцев, Орлов и Суворов; спасители отечества: Пожарский и Минин; Москвы: Еропкин; главы духовенства: Филарет, Гермоген, Прокопович и Платон; великая женщина делами и умом — Дашкова; министры: Панин, Шаховский, Марков; писатели: Ломоносов, Сумароков, Херасков, Державин, Карамзин, Нелединский, Дмитриев и Богданович. Все они знали и знают французский язык, но никто из них не старался знать его лучше русского.

Царь небесный! мало этого, вот еще вам. Слушайте, что такое Русь. Государь пожелал милиции — и явилась; да какая! не двадцать тысяч, не пятьдесят, не осудите — шестьсот двенадцать! одета, обута, снаряжена и вооружена; а кто начальники? кто чиновники? русские дворяне, верные слуги государские, верные сыны отечества, с грудью гордою, с рукою сильною. Потешили дух предков своих, кои служили верой и правдой под Казанью, под Полтавой, под каменной Москвой; миллионы посыпались, все вооружились; и от Ледяного моря до Черногого от сердца и души закричали: «Все готовы, идем и побьем!»

Господи, помилуй! да что за народ эти французы! копейки не стоит! смотреть не на что, говорить не о чем. Врет чепуху; ни стыда, ни совести нет. Языком пыль пускает, а руками все забирает. За которого ни примись — либо философ, либо римлянин, а все норовит в карман; труслив как заяц, шалостлив как кошка; хоть не много дай воли, тотчас и напроказит. Да вот то беда, что наша молодежь читает Фоблаза, а не историю, а то бы увидела, что в французской всякой голове ветряная мельница, гошпиталь и сумасшедший дом. На делах они плутишки, а на войне разбойники; два лишь правила у них есть: всё хо-

рошо, лишь бы удалось. Что можно взять, то должно при-
брать. Хоть немного по шерсти погладят, то и бунт. Вить
что, проклятые, наделали в эти двадцать лет! все истре-
били, пожгли и разорили. Сперва стали умствовать, по-
том спорить, браниться, драться; ничего на месте не оста-
вили, закон попрали, начальство уничтожили, храмы оск-
вернили, царя казнили, да какого царя! — отца. Головы
рубил, как капусту; всё повелевали — то тот, то другой
злодей. Думали, что это будто равенство и свобода, а ни-
кто не смел рта разинуть, носу показать и суд был хуже
Шемякина. Только и было два определения: либо в пет-
лю, либо под нож. Мало показалось своих резать, стрелять,
топить, мучить, жарить и есть, опрокинулись к соседям и
почали грабить и душить немцев и венгерцев, итальян-
цев и гишпанцев, голландцев и швейцарцев, пригова-
ривая: «После спасибо скажете». А там явился Бонапарт;
ушел из Египта, шикнул, и все замолчало. Погнал сенат
взашей, забрал все в руки, запряг и военных, и свет-
ских, и духовных и стал погонять по всем по трем. Спер-
ва стали роптать, потом шептать, там головой качать, а на-
конец кричать: «Шабаш республика!» Давай Бонапарта
короновать, а ему то настать. Вот он и стал глава фран-
цузская, и опять стало свободно и равно всем, то есть:
плакать и кряхтеть; а он, как угорелая кошка, и пошел
метаться из угла в угол и до сих пор в чаду. Чему ди-
вить: жарко натопили, да скоро закрыли. Революция —
пожар, Франция — головешки, а Бонапарте — кочерга.
Вот оттого-то и выкинуло из трубы. Он и пошел драть.
Италию разграбил, двух королей на острова отправил,
цесарцев обдул, пруссаков донага раздел и разул, а все
мало! весь мир захотел покорить; что за Александр Ма-
кедонский? Мужичишка в рекруты не годится: ни кожи, ни
рожи, ни виденья; раз ударить, так след простынет и
дух вон; а он-таки лезет вперед на русских. Ну, милос-
ти просим! Лишь перешел за Вислу, и стали бубнового
короля катать: под Пултуском по щеке, стал покашли-
вать; под Эйлау по другой, и свету Божьего невзвидел.
Думал потешными своими удивить, а наши армейские
так их утешили, что только образцовых пустили живых.

Слава тебе, Российское победоносное христианское
воинство! Честь государю нашему и матушке России!
Слава вам, герои российские: Толстой, Кожин, Голи-
цын, Докторов, Волконский, Долгорукий! Вечная память,
юноша храбрый Голицын! Молодые у тебя научатся,
братья тебе позавидуют, старики вздохнут не раз, раз-

делят печаль тяжкую с отцом твоим, матерью и не скроют от них слезы горькие о несчастной судьбе твоей. Радуйся, царство русское! Всемирный враг пред тобою уклоняется, богатырской твоей силой истребляется! Он пришел, как свирепый лев, хотел все пожрать, теперь бежит, как голодный волк, только озирается и зубами пощелкивает. Не щади зверя лютого, тебе слава и венец, ему срам и конец. Ура, русские! вы одни молодцы. Победа пред вами, Бог с вами, Россия за вами».

За сим Сила Андреевич взвел с восторгом глаза к небу, слезы покатались из них на землю и смешались в ней с слезами радости и печали, пролитыми в течение двух веков на месте сем сынами отечества; потом он встал, посмотрел на Кремль, вынул табакерку с Полтавской медалью, перекрестился и пошел в Спасские ворота домой. Мир с тобой, Сила Андреевич, многие тебе лета здравствовать!



ПИСЬМО СИЛЫ АНДРЕЕВИЧА БОГАТЫРЕВА К ОДНОМУ ПРИЯТЕЛЮ В МОСКВЕ

Любезный друг Кузьма Филатыч!

Получая от скуки московские газеты, увидел, что я напечатан и расхвален без спросу. Господь ведает, по какой причине. Не мудрено, что меня кой-кто в Москве знает, потому что многие честные люди по милости своей не оставляют, а как подслушали, что у меня в голове бродило, то это, право, диковина. Видно, много праздношатающих, или уши длинней старинного стали, или я и заправду таки речи говорил. Ну, да что за беда. Господи, помилуй! я мужик старый, кто осудит — ему же стыдно будет. Бранить не диковина, да было бы за что? А у меня что на уме, то и на языке. Каков в колыбельку, таков и в могилку. Как я прочитал, что меня хвалят, то сказал: «Ба! опять в честь попал. Смотри, пожалуй! дай Бог, чтоб впрок пошло». Подслушивать охотников много и слушать-таки есть, а слушаться мало. Право, так! я рад сидя разговаривать один, пусть говорят, что с ума сошел, от слова ничего не подеется, дай Бог мне доброе здоровье, а им типун на язык. Согрешил грешный! Ну, да это бы все и так и сяк, да вот что больно. Зачем перекроили меня? Вить я думал, что хотел, а другой изволил придумать иное. Кто просил? Иного всунули, другого вытолкнули, а там оговорка: жестка, дескать, речь. И ведомо так, вить правда не пуховик. Это нынче из нее делают помаду. Про меня грех сказать, что мягко стелит, да жестко спать. И уж вышло мне Красное крыльцо соком! в кой-та веки

присел отдохнуть, на нем потел да и от него потею. Господи, помилуй, да будет ли этому конец! а про вас то слово, я говорил дело. Пусть мои речи толкуют, да своих не примешивай.

А я, мой друг, по отпуске сего письма жив и здоров. Ездил нарочно в Калугу смотреть пленных французов. Как гусей стадами гонят. Насмешили проклятые, оборваны, как нищие; видно, у них комиссариату нет, и что за мелочь! что за худерба! любим в курилку играй. Ну, уж настоящий народ заморский. Все обросли бородами, да и не дивы, с каторги! рады, что в полон попались. Уж тут не до цукерброду. Так ржаной хлеб уписывают, что за ушми пищит. А нахальство все есть. Один увидел меня в мундире, говорит: «Бон жур, капитен!» Уж я так ему спустил, не захотел рук марать. Бог и Каина живого оставил на свете. А милиционные наши так и валяются со смеху. Спрашивают, где остальные? Хотят до тех добраться. Один крикнул французу на ухо: «Ура!», а он и оземь, только ножками подрягивает. Хорош воин! да их шапками замечут. Только боюсь, чтоб пленных-то не разобрали по домам в учителя. Вот уж будет беда. Тогда и я скажу: «Фи дон»¹. Прощай, друг сердечный!

Твой доброжелательный Сила Богатырев

А сын Левушка пишет, что на третий день после баталии опять при роте. В этом нуть будет. Его ранили в руку да голову порубили; говорит, что кровью было изшел — туда ей и дорога — за отечество.

29 апреля 1807 года
Село Зажитово

¹ Фу (фр.).



ПИСЬМО УСТИНА ВЕНИКОВА
К ИЗДАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1807 ГОДА
ИЗ СЕЛА ЗИПУНОВА

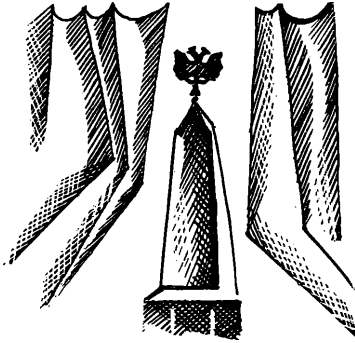
Милостивый государь мой издатель «Русского вестника»!

Хотя я имел и сам человек с десяток заморских учителей, зевал на чужой земле и говорю на нескольких иностранных языках, но со всем тем Бог охранил меня от заразы. И я узнал свою отчизну, помня примеры предков, поучения священника Петра и слова мамы Герасимовны, остался до сих пор совершенно русским. Отдавая должную справедливость перу и уму сочинителя «Сумбеки» и «Натальи, боярской дочери», увидел я обнародование ваше о «Российском вестнике»: хвалю столько же благое намерение, сколько дивлюся смелости духа вашего. Вы имеете в виду единственно пользу общую и хотите издавать одну русскую старину, ожидая от нее исцеления слепых, глухих и сумасшедших, но забыли, что неизменное действие истины есть колоть глаза и приводить в исступление. Конечно, вас читать будут многие; все благомыслящие и любящие законы, отечество и государя (следственно, и честь) отдадут справедливость подвигу вашему. Но для сих прошедшее не нужно, ибо они сами настоящим служат примером. А как заставить любить по-русски отечество тех, кои его презирают, не знают своего языка и по необходимости русские? Как привлечь внимание вольноопределяющихся в иностранные? Как сделаться тернимым у раздетых по моде барынь и барышень? Упрашивайте, убеждайте, стыдите — ничто не подействует. Для сих, отпадших от своих и впадших в чужих,

вы будете проповедником, как посреди дикого народа в Африке. До сего одни лишь иностранные за наше гостеприимство, терпение и деньги ругали нас без пощады, а ныне уже и русские к ним пристают. Я не удивлюсь, есть ли со временем найдется какой-нибудь бесстыдный враль, который станет нам доказывать, что мы не люди и что Бог создал одно наше тело, а души вкладываются иностранными по их благорассмотрению; что мы без них обратились бы в четвероногих, без языка... и без их поворов ели бы траву и желуди. Мы с первого раза вытверживаем имя всякого иностранного искидка, а они до сих пор не могут правильно писать Суворов, а что еще лучше, что сим великим именем называют в Лондоне белого медведя; и в Париже в 1785 году показывали за деньги француза, одетого в звериную кожу под вывеской: «Здесь можно видеть страшное чудовище, которое говорит природным своим московским языком». Принимая живое участие в успехе вашего сочинения, советую приучить к слегка забытой русской были тех из соотечичей наших, кои телом на Руси, а духом за границей; советую называть подлинные сочинения наши переводными, разжаловать всех наших именитых людей в иностранных, украсить каждую книжку французским и английским эпитафием и картинкой, представляющей невинную в новом вкусе насмешку. Например, представьте парикмахера, стригущего русского, с надписью: «подстриженный северный Самсон», или обезьяну, которая учит медведя танцевать, с надписью: «сержусь, но поклонюсь», или беса, раздевающего русского, с надписью: «облегчится и просветится».

Вот советы, кои русский старик почитает нужными для вас, подтверждая, что опытность его и долгое обращение с людьми уверили в неоспоримой истине, что нет ничего труднее, как исправлять поврежденных и проповедовать добродетель тем, кои ее ищут в словарях для переводу.

Впрочем, имею честь пребыть и проч. Устин Веников



ВЕСТИ, ИЛИ УБИТЫЙ ЖИВОЙ

Комедия в одном действии

Действующие лица

Сила Андреевич Богатырев.

Наталья Семеновна, жена его.

Фока Феклестыч Горюнов, дальний родственник и кум Богатырева.

Михайло Федорович Развозов

Николай Иванович Пустяков

Маремьяна Бабровна Набатова

} знакомые в доме
Богатырева.

Петр Алексеевич Победин, жених дочери Богатырева.

Кашпар Богданович Моренкопф, доктор.

Евграф Гардеич Петасовский, стихотворец.

Ганцблут и два слуги без речей.

Действие в Москве в доме Богатырева.

Театр представляет гостиную комнату, чисто прибранную. Напереди стол и несколько кресел.

ЯВЛЕНИЕ 1

Богатырев и Горюнов

Богатырев

И! да полно, братец! уж ты на меня тоску нагнал. Ох! да ох! всё крехтишь да стонешь. Дай мне и себе покой! Опомнись, друг сердечный! Что тебе за вздор в голову лезет? ты дворянин, мужик здоровый, а все охашь, как будто у тебя колотье в боку.

Г о р ю н о в

Нет-с, я, благодаря Бога, здоров; а чтоб спокойну быть, то воля ваша, Сила Андреич, это не натурально.

Б о г а т ы р е в

Да ведь я не люблю с тобою об этом разговаривать. Тебе что ни говори, а ты свое несешь. Не хотя рассердишься, право, так. Ну что за беда война? разве это первая? Для других она страшна, а нам дудки.

Г о р ю н о в

Да как по чужой-то дудке запляшешь, да еще и впри-
сядку...

Б о г а т ы р е в

Пустое, кум! Ведь ты был в Петербурге в арсенале? Ну, какой краской стены выкрашены, скажи?

Г о р ю н о в

Стены? (*Задумавшись.*) Дай Бог память! да стен не видно; все знаменами завешаны.

Б о г а т ы р е в

Ну, вот тебе и лекарство от страха! Эти знамена чужия, взяты на войне, и после каждой государство и слава наша увеличивались. Зависть и злоба против России всех вооружали; а Русские их били, гнали, и след замечали.

Г о р ю н о в

Неуж ли, батюшка, знаменами?

Б о г а т ы р е в (*в сторону*)

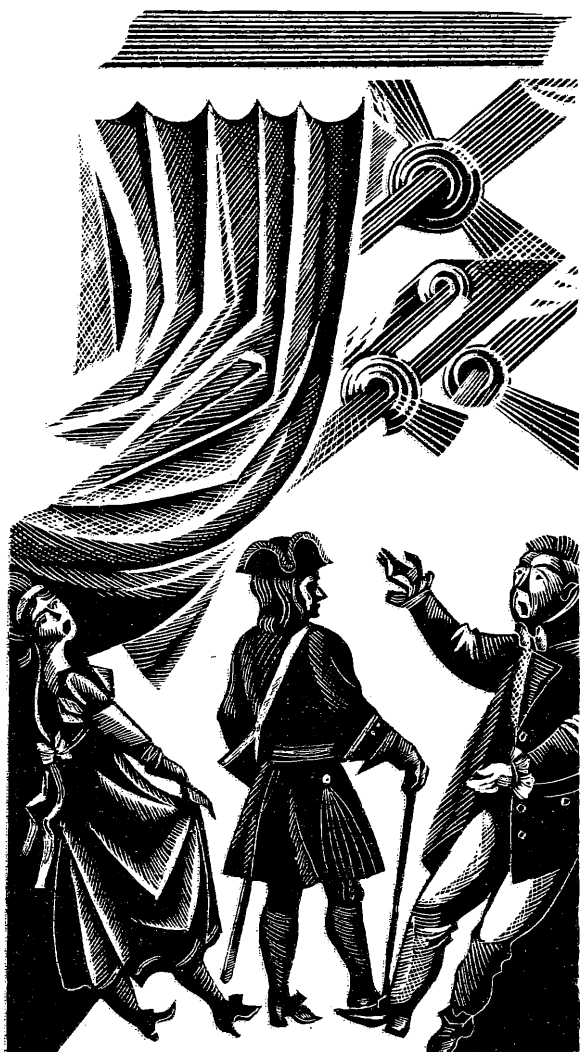
Фу, какой дурак! (*ему*) да-да, знаменами.

Г о р ю н о в

Конечно-с! кто против этого спорит? Россия — она всё Россия, откуда ни зайдя. И заправду, Сила Андреич! нам нечего бояться; скажите, по совести, как-с?

Б о г а т ы р е в

Ну право, кум, ты меня осердишь. Разве я боюсь говорить правду? я другого языка не знаю. Да посмотри ты, упрямое животное! что была Россия прежде и что она теперь? И Днестр у нас течет, и Черное море у нас, и Балтий-



Пушкинский кабинет ИРЛИ

ское, и Польша, и Крым, и Лифляндия, и Эстляндия, и Финляндия, и Курляндия, все в нашей меже. О, матушка Россия! проволокли цепь детушки твои богатырскими руками; отмежевались живым урочищем; поставили, вместо столбов, памятники побед, вместо межника, могилы врагов твоих. Сто лет не была нога их на твоей земле, а теперь и ворон костей не занесет.

Г о р ю н о в

Неужли, батюшка, от соседей спору не выходило?

Б о г а т ы р е в

Был, да не приняли.

Г о р ю н о в

А! то есть, попросту, отвод делали силкою. Теперь принимаю. Ну коли аказия пропущена, так — так этому делу и быть. Уж это пойдет в благоприобретенное.

Б о г а т ы р е в

И в наследственное на веки веков.

Г о р ю н о в

Все это так, конечно, так — и иначе быть не может. Да ведь и неприятель-то не дюжинной — ведь что за армия! со всего свету собрана, сущия ерошки: чего хочешь, того просишь; небось миллионов десять, коли не боле; и все, сказывают, в кучке, так и идут, куда глаза глядят. Хоть бы на них куречья слепота нашла!

Б о г а т ы р е в

А ты откуда эту дрянь берешь? Французов осталось тысяч с восемьдесят, да всяких других с пятьдесят. Вот тебе и вся сказка тут!

Г о р ю н о в

Помилуйте, Сила Андреич! да ведь у них поголовщина: старый да малый остался; а во Франции народа несметна сила. Ну, да чего лучше? Ведь мы далеко, кажется, от них живем, ну далеко; а куда ни загляни, и в домах-то, и в лавках, и на улице: и учат, и говорят, и ходят, и летают, кто? — мусья да мадамы. Ну, а ведь это еще одни благородные.

Б о г а т ы р ё в

Какие благородные! Вольно нам принимать их за равных, отдавать детей, деньги, душу и радоваться, что к нам пожаловали. Их, я думаю, на одном Кузнецком мосту целый департамент.

Г о р ю н о в

Ах, Мати Божия! Верно, уголовный; чтоб не петь кукареку.

Б о г а т ы р е в

Ты ничего не понимаешь; у них, по-нашему, губерния называется департамент.

Г о р ю н о в

И знать не хочу; у них на одном часу пять пятниц; что ни день, то новое: а мне хочется, чтоб башкиры и калмыки поскорей подошли. Тут-то заварят кашу; все побежит и не остановится. Плохо французам будет — то уж плохо.

Б о г а т ы р е в

Да куда ж ты думаешь их загонят?

Г о р ю н о в

Как куда? в море, точно в море.— Что тут делать? В Америку разве плыть? Вот и концы в воду.— А! забыл вам сказать: я видел пленных офицеров; ну, нечего — люди как люди.

Б о г а т ы р е в

Да ведь они не трех пядей во лбу, такие ж, как и в магазинах. Француза всегда узнаешь: сух, бледен, мал, говорит, спешит и назад оглядывается.

Г о р ю н о в

Ох, уж мне эти французы! проворны, то уж проворны; как бес вертится. Каман ву портеву? Фор бьен, дедаржан, се шарман:¹ вот и весь тут язык! Нечего греха таить: не люблю я их да и боюсь — точно боюсь.

¹ Как вы поживаете? Очень хорошо, деньги, прекрасно (*фр.*).

Богатырев

Ну, братец, оставь меня в покое! что тебе за удовольствие меня сердить? Ну бойся их: будь один на Руси; ты ж ни на кого и не походишь. Рад я, что у тебя нет детей и что ты в роде своем последний.

Горюнов

Ну вот, Сила Андреич! вы тотчас и осерчаете. Я с глупости сказал, то есть по дружбе, а вы на меня и взвалили беду. С вами тотчас в лабет: долго ли в публику выпустить.

Богатырев

Я сору из избы не выношу; а ты, право, слишком гадок, и не могу понять, что ты за урод: стыд в тебе есть, а русского духа нет.

ЯВЛЕНИЕ 2

Богатырев, Горюнов, Богатырева.

Богатырева (*Горюнову*)

Здравствуйте, Фока ФеклISTRY! (*Мужу, поцеловав его в щеку.*) Каков ты, мой друг! был ли у тебя Кашпар Богданыч?

Богатырев

Нет еще; у меня голова совсем почти не болит, и я был спокоен, да вот дражайший кум посетил. Он не может утерпеть, чтоб не врать, а я ему не мешать.

Богатырева

Охота вам обоим; ты хочешь, чтоб все думали, как ты, а он, чтоб никто не думал.

Горюнов

Живой живое и думает. Прежде я говаривал: много знай, да не плошай; а нынче говорю про себя: много знать, дурно спать.

Богатырев

Да у тебя сон и пушкой не отобьешь. Это твое дело пить, есть, спать и бояться. Взгляни, на кого хочешь: у инаго брат, сын, родня на войне, а все радуются победам; мо-

лятся Богу за здравие государя и за победоносное воинство. Посмотри в церкви, не по-прежнему, уж точно все в храме Божиим, а не в собрании, где все веселятся, все радуются; удовольствие сильнее беспокойства, а если и ждуть мира, то для чего? старики и старухи, чтоб обнимать отличившихся; девушки, чтоб идти за них замуж; а молодые, чтоб брать их в пример.

Г о р ю н о в

Ну, конечно, робеть не от чего; что ж в самом деле? а я, признаюсь, люблю мир.

Б о г а т ы р е в

А все лезешь на брань. Ведь это счастье, что тебя знают за пустаго человека; а то бы ты иного сбил с пути: разумеется, с такую же голову, как твоя.

Г о р ю н о в (*Богатыревой*)

Вот, Наталья Семеновна, каково мне житье! кому от чужих, а мне от своих. Там французы, тут сожитель ваш, в деревне попал было в милицию.

Б о г а т ы р е в а

Да вам шестьдесят лет, не выбрали бы: напрасно вы боялись.

Г о р ю н о в

У страха глаза велики, а у баллов нет. Упрячут в избирательный, тут и сиди.

Б о г а т ы р е в

Ну, вот, не правду ли я говорил, что он один эдакой урод в России? Все рвались и шли в милицию. Все стали одного чину, одних лет; здоровы, свободны и готовы исполнять волю государеву и служить еще Отечеству; а он всё один да один; слава Богу, что не два!

Б о г а т ы р е в а

Какова, мой друг, Сонюшка?

Б о г а т ы р е в

Я с полчаса у ней был. Жару нет, и она, покойно сидя, стала читать книжку; но ей выезжать еще дни три нельзя.

Б о г а т ы р е в а

Да я и рада, чтоб она дома сидела; а то услышит что-нибудь о женихе, так опять будет история. Вранью нет конца. Дай Бог, чтоб от него поскорей было письмо!

Г о р ю н о в (*Богатыревой*)

А вы, матушка, ничего не изволили слышать новинькаго?

Б о г а т ы р е в а

Все те же вести, только с прибавлениями.

Б о г а т ы р е в

Это обыкновенно: половина города за тем в нем и живет, чтоб вестьми питаться, и есть люди ненасытные. Вестям есть фабрики, конторы, и, смотря по людям, курс вестовой бывает ниже и выше, а в иных домах, как в Кяхте, делают вестям промен и спешат их с рук сжить с барышком. При всяком известии о сражении и пустятся по городу, как почтальоны в почтовый день, и примутся, как им угодно, производить в чины, в кавалеры, в герои, в тусы; отправят на тот свет живых; возвращать оттуда мертвых; и на другой день множество карет, нагруженных вестьми, ложью и сплетнями, скачут радовать и печалить. Я это вижу, сидя под окном. И как сломается карета, то уж никто не остановится прибрать цеховаго вестовщика или вестовщицу, а всякий сам спешит и боится, чтоб его не обогнали, как курьера с радостным известием. Часто рассказы этих публичных вестовых на несколько времени направляют мнение и самой публики, которая почтенна, да немножко легковерна. Но какова ни есть, а несколько ее поколений составляют потомство.

Б о г а т ы р е в а

Вот ты, мой друг! принялся сердиться на людей. Как их исправить насильно? иной так родился, иной привык, другой любопытен. Ты знаешь.

Б о г а т ы р е в

Знаю, матушка! Ох, знаю. Ну, да если многие любят дурное, я не люблю. Я чувствую, что я смешон; но, по крайней мере, не вестовщик. Ну, что ж делать? мне хочется хорошаго; я люблю все русское, и если бы не был русский, то желал бы быть русским; ибо я ничего лучше

и славнее не знаю. Это бриллиант между камнями, лев между зверьми, орел между птицами.

Г о р ю н о в

То уж это в самом деле правда; и мне в иную пору любо быть русаком.

Б о г а т ы р е в

Какой ты русак? ты прибылой зайчишка, не смеешь из опушки показаться.

Г о р ю н о в

Пошла опять травля!

Б о г а т ы р е в а

Полно, друг мой! не сердись, пожалуйста; вон к тебе кто-то приехал! Я пойду к дочери! не хочешь ли чаю?

Б о г а т ы р е в

Нет, еще рано; мне и без горячаго жарко.

Г о р ю н о в

А меня так мороз по коже подирает. Коли да не будет миру, то для меня и Петровки будут Филиповки.

ЯВЛЕНИЕ 3

Богатырев, Горюнов и Пустяков

П у с т ы к о в

Здравствуйте, Сила Андреич, что ваша голова? Ведь вы это простудились на молебне? Я вам тут же говорил, чтоб побереглись. Вы же так были растроганы.

Б о г а т ы р е в

Надо мною радость и печаль одно имеют действие. Я плачу и молюсь Богу. Да кто же тут и не благодарил Его от чистаго сердца? Я служил сам и заслужил имя честное; люблю честных людей и почтенных. А кто же больше достоин почтения, как не защитники славнаго Отечества нашего? Счастливы те, кои ему служат! Какая жатва для героев! какое поле для мужества! а жнецы у нас славные!

Пустяков

Мы это видим по успехам; этого и ожидать надобно было; при том награждения...

Богатырев

Они должны быть зна́ком достоинства и храбрости, а отнюдь не предмет службы верного сына Отечества. Лучшая награда для достойного есть мнение общее. Памятники оглашают подвиги на одном месте, а глас народный везде.

Пустяков

Сказывают, есть у нас и раненые.

Богатырев

Иначе быть не может.

Пустяков

Вы не имели давно писем от Петра Алексеевича?

Богатырев

Больше двух месяцев. Да не случилось ли чего с ним? ради Бога, скажите, что, он ранен? или убит?

Пустяков

Пожалуйста, Сила Андреич! не пугайтесь. Он ранен, и легко, в ногу.

Богатырев (*перекрестясь*)

Велика милость Господня! рана молодому офицеру прикрасна. Да точно ли так, скажите? почему вы знаете?

Пустяков

Я сейчас читал письмо у дяди князь Никанора Ивана от сына его, и он именно пишет, что Петр Алексеич ранен в ногу, но легко.

Богатырев

Дай Бог, чтоб поскорей выздоровел и мог служить опять. Ему хотелось быть ранену.

Горюнов

Хорошаго захотел! Поди, спрашивай ума: мало одной раны! пойдет за другой, как в лес по грибы. Теперь-то

бы и в отставку. В другой раз в то ж место попадет пуля, так не залечишь.

Б о г а т ы р е в

И, полно, кум! Сам не знаешь, про что говоришь, охота ведь тебе. Я был пять раз ранен, да вот видишь, не умер. А жаль, если сведет ногу: молодец-то какой!

Г о р ю н о в

Ну а как кость перебита, что тут делать? вот казус!

Б о г а т ы р е в

Да там есть искусные лекари, станут лечить, и долго может быть. Ну, а если вылечить нельзя, что ж делать? Отпилить ногу.

Г о р ю н о в (*сидясь на креслы*)

Спаси, Господи, люди Твоя! Пилить у живаго чело- века ногу! что это, береза? аль осина, аль швырковые дрова? (*Обтираясь платком.*) Фу, батюшки! холодный пот прошиб.

ЯВЛЕНИЕ 4

Те же и Развозов

Р а з в о з о в (*входя скоро*)

Победа, победа! поздравляю, Сила Андреич! позвольте себя обнять. (*Обнимает Богатырева.*)

Б о г а т ы р е в

Обнимай, братец! обнимай; жаль, что я старик, а не кра- сная девушка. (*Перекрестясь.*) А! пошла потеха! раз за разом, духу не дадут перевести. Спасибо, сударь! спасибо (*обнимает Пустякова*), что старика потешил. Расскажи же, мой друг сердечный, как это дело было?

Г о р ю н о в

Хорошее дело. Нечего сказать, есть чему радоваться: людей бьют, как мух хлопущками. Беда, ей-Богу беда! Ох! ох!

П у с т ы к о в (*Развозову*)

А позвольте спросить, откуда это известие? и когда получено?

Развозов

Не более, как с час, к военному губернатору приехал курьер от военного министра. А я слышал от Якова Дмитрича Вернаго, который, встретясь со мною на Мясницкой, остановил и прочитал записку, полученную им прямо из канцелярии областного, через полчаса и я получу с нее список.

Богатырев

Чего верней? Вот этим-то одним известиям и верить должно: это не с наших фабрик. Ну, рассказывай, пожалуйста! у тебя речь перебили.

Развозов

Наш корпус в пяти тысячах напал на французский осмидесячный, который, окопавшись, стоял в укреплении, и взял его штурмом. Половина неприятелей положена, другая в плену, три генерала, знамена и пушки...

Богатырев

Ай наши! друзья сердечные! Вы одни молодцы. Грудью и в штыки: вот и тактика! Кричи: ура! и пой: Тебе Бога хвалим!

Пустяков

Завтра, верно, еще молебен. Как я рад, что победа! тут весь город будет; я чрезвычайно люблю большие съезды.

Горюнов (в сторону)

Ну, уж тут, верно, нашему жениху дали карачунь. Лиха беда до начину: раз подстрелили, а в другой доконают; так уж не отстанут. Вот те, бабушка, и Юрьев день!

Богатырев (Развозову)

Скажите, пожалуйста, что вы слышали про моего будущего зятя?

Развозов

Про Петра Алексеича Победина? в записке о последнем деле ни о ком ничего не сказано, а под Прейсиш-Эйлау вы, я думаю, знаете...

Пустяков

Что он ранен в ногу, я уж сказал Силе Андреичу.

Развозов

Вы меня извините, он ранен в правую руку. Я читал сам письмо генерала, у которого он находился в дивизии, и, отдавая справедливость его храбрости и дарованиям, он жалеет, что, по случаю раны, служба лишится на несколько времени такого отличного штаб-офицера. Я вас могу уверить, что это правда; я сам читал, и он действительно ранен в руку, а не в ногу.

Пустяков

Не знаю, что вы читали, а я у дяди, князь Никанора Иваныча, не дале, как нынче утром, держал в своих руках и читал письмо, где его сын уведомляет этими словами: «Петр Алексеич Победин ранен в ногу, и легко», и я точно, слово в слово, так и Силе Андреичу пересказал, и всем, кого видел.

Горюнов

Вот те на! из двух коробов разные вести. Ранка-то с барышком выходит. Хорош женишок без руки и без ноги. Софье Силовне не без хлопот-то будет. Вот те и победа!

Развозов

Мне кажется, лучше верить генералу, чем вашему братцу: один писал виденное, а другой пересказанное, а может быть, и выдуманное.

Пустяков

Если выдуманно, что ранен в ногу, то для чего ж не ранить его и в руку? это все будет равно. Обе раны ложь, и мы с вами квит: член за член.

Богатырев

А я, милостивые государи, думаю, что он и совсем может быть не ранен, так как это с другими случалось, то есть: милость городская. Трудно ждать конца беспокойству; но мы всю жизнь беспрестанно чего-нибудь ждем и, по счастью, не знаем, что нас ждет.

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же и Моренкопф

Моренкопф

Страфствуйте, Зил Антреиш! Што, матушка? микстура мой стелал звой тела?

Богатырев

Да мне, Кашпарь Богданыч, стало лучше, я и не принимал; вон вся стеклянка целая стоит на окне. Ведь ты знаешь, что я до лекарств не охотник. Какова дочь?

Моренкопф

Снай, снай, я фсе снай: фи не лупит кюшать лекарств; а я фсе толжен тафать, эта мой тела. Ну, а Зофь Зилавна гараст лутши. Тепер паясь не ната: и ясык-та луше, и гласи караши; немношка тиет ната. Я фелел пульон с зыпленка стелеть, а зафтра мошна палавин катлет давай. Баккой и дерпень, фот две слафни лекарств!

Развозов

А чем занемогла Софья Силовна?

Моренкопф

Ну, эте пил принципиум маленька каряшка, фот как гафарись, первосной и гнилой-та, и пятнушк пил на губа. Но фсе теберь ф парятка, фсе кодит звой марш и ф катанс. Желовек паись палезнь, а палезнь паись доктор.

Богатырев

А смерть никово.

Моренкопф

Ну, эта тругой тело: змерть имеют сфой практик.

Развозов

Вольную.

Пустяков

И обширную.

Богатырев

И никто ее, кажется, не приглашает, а каждого одолжит визитом раз в жизни.

Г о р ю н о в

А что всего лучше, даром. Трудится сердечная из человеколюбия, и спасибо ей никто не скажет. Ни дня, ни ночи нет покою; косить да косить. Уж мастерица фураж заготовлять, то уж мастерица!

Б о г а т ы р е в *(Горюнову)*

Поди-ка, брат, Фока ФеклISTRYЧ, скажи жене, пожалуйста, дескать, к нам: новая победа.

М о р е н к о п ф

Та я ей фсе скасал, ана снает фсе акуратна. Фот ап раначка Петре Алексеиш ей ешо скасать толшна. Кагта уснаит Зофи Зиловна, то не карашо. Ана сшо злаба; пакой тать ната. А там палушить пизьмо, и фсе путит Ганц Алерлибет. Нихт вар, Зиль Атрейш, мой патушка? *(Смеется.)* Э! э! э!

Б о г а т ы р е в

Точно так, Кашпар Богданыч! Скажи, от кого ты слышал, что Петр Алексеич ранен?

М о р е н к о п ф

Как гафаритсь, слух земля полнится. Мой практик пальшой; пальны, злафа пог! многа. Ну, атна гафари, другой гафари; я и снай, што такой фсе гафари. Бетр Алексеиш злавна фектоваль, и франсус патарил ему ранка на голофа, но не ошень пальшой: атин шрам путит.

Г о р ю н о в

Что за рана — час от часу вверх лезет!

П у с т ы к о в *(Развозову)*

Это походит на вашу руку.

Р а з в о з о в *(Пустякову)*

А мне кажется, на вашу ногу.

Б о г а т ы р е в

А я все при своем мнении, что он не ранен. Вот три разные раны на одном часу!

М о р е н к о п ф

Ну канешна, тафолна и отной в галава. А тошна он

таки пыль ранен; я снай эта ганц позитиф: мене гафарил мой трук, аптекарь Диссантериус; он палушилиль пизьмо от госпотин корнет Цауберфельд.

Г о р ю н о в

Да если этак его разохотят, что по три раны на одном часу, так и на щетах не выложишь, не довольно что на аспидной доске, сколько в год раз будет ранен. Куда, подумаешь, живущь человек! сильное животное!

П у с т я к о в *(Развозову)*

А вы ничего не слыхали о последнем деле? нет ли каких подробностей?

Р а з в о з о в

И быть еще не может. Первое известие получено лишь нынче утром. Даже и не сказано, кто командовал нашим корпусом.

М о р е н к о п ф

Их бите ум фергебуш. Немецких енерал пыл три штук, и фсе мой семляк.

П у с т я к о в

Да войска-та по крайней мере были русския.

М о р е н к о п ф

Ну та, мощна и эта скасать, а кагтан енерал тут не пыл, так турпа пы пыла. Пальшой манефр стелал атин калон, тругой баталион гаре, а ешо атин ампискать, ну так и папил францус звой тактик.

Б о г а т ы р е в

Да мы управляемся одни чуть ли не лучше, чем с товарищами. Это видно и теперь, и прежде непобедимый Суворов это доказал; у него победа и слава на бессменных были ординарцах.

П у с т я к о в

И все бывали на посылках.

Г о р ю н о в

А теперь, верно, уж вышли в чины. Где они, батюшка? небось в армии? Дай Бог им здоровья!

Б о г а т ы р е в

Нет, Кашпар. Богданыч! про лекарства с тобой спорить не стану; я в этом толку не знаю: пиши, что хочешь, а я принимать не буду; а за войско постою грудью. Чуть ли та ваши немецкие мастера не попали в ученики.

Р а з в о з о в

Браво, Сила Андреич!

П у с т ы к о в

Уж он не выдаст своих: никому не спустит.

Г о р ю н о в

А за меня небось не вступится, даром что свой.

М о р е н к о п ф

Ну есть руска пасловись: фек жиф, фек ушись. Эта канешна, наши енерал, ана и зтар и толста; а тело звой снять ошень крепка. — Один, другой и праиграть паталь, ну васистась? Каки педа? тругой кампань путит. Фасмет звой реванш, а пес тактик енерал, злова злова, как док-тор пес латинский ясык.

ЯВЛЕНИЕ 6

Те же и Набатова

Б о г а т ы р е в

Маремьяна Бобровна, добро пожаловать! где, мать моя, пропадала? али прихварнула?

Н а б а т о в а

Таки и нездорова была; да дела уж так много было, что замучилась: два приданные делала, племянника отпустила в армию, сбирала ружья да пистолеты на милицию, дядю похоронила и, благодаря Бога, сестру с мужем помирила, кой-как уладила — много уж на свою душу греха приняла. Ну мочи нет, с ног сбили. Если бы не порошки Кашпара Богданыча, то бы схлебнуть горячку. Где Наталья Семеновна? а Софья Силовна, что ей, есть ли лучше? Бедняжка, я ее, как душу, люблю.

Б о г а т ы р е в

Жена тотчас придет, а дочь немного слаба. Расскажи же, что новенького? Ты, как почтовой чемодан, изо всех

мест привозишь известия, а отходишь и приходишь утром и вечером всякой день.

Н а б а т о в а

Благодаря Бога, у меня знакомых много; меня все любят, и никто от меня ничего не таит. Лестно заслужить такую доверенность, да, правду сказать, трудно сохранить и репутацию; чужой секрет не всякому верить можно, а я от доброго сердца рада со всяким душу разделить. Представь же, каково мое положение?

Б о г а т ы р е в

Ну, что, Маремьяна Бобровна! ведь мы давно друг друга знаем: душу-то не знаю делишь ли ты; а секрет, коли нечаянно попадет в руки, то уж тотчас на волю отпустить; ты все берешь от публики из прокату.

Н а б а т о в а

Полно, полно проповеди-то сказывать. Знаете, Кашпар Богданыч! я сей час от бедной Припадковой; кажется, ей не вставать, моей милой! Дурна она мне показалась; что вы думаете?

М о р е н к о п ф

Ну, карошева тут мала, я был в консултации. Фот у ней primo¹, был интижестия, secundo², маленький утаршик — апоплексия, а там злабость, шарь да шарь. Фчера был калодной пот; ну и язык не кочит гафарить, и гласа сматрит, и он ничефо не слышит.

Р а з в о з о в

Чего ж тут ожидать инаго, как смерти?

П у с т ы к о в

И жалеть ее надобно. Какое жалкое состояние!

Б о г а т ы р е в

А лучше бы натуре дать волю.

Н а б а т о в а

Возможно ли? она таких проказ наделает, что и жизни рад не будешь.

¹ во-первых (лат.).

² во-вторых (лат.).

М о р е н к о п ф

Ну натуральна; ей гребка мужтук тершать ната. Ана фсе кочит и фсе прозит. У ней атно в голофа: Фортъ! фортъ! (Смеется.) Э! э! э!

Р а з в о з о в (Набатовой)

А кто ее лечит?

Н а б а т о в а

Вильма Вильмыч Либертот. Он, конечно, человек практикованной, но мне чтой-то не нравится: ответу от него не добьешься, лекарства не переменяет и слишком охотник, с позволения сказать, до рвотнаго, как будто ему в душе нужда.

М о р е н к о п ф

Ну, фить ми рфотной таем не для своей забава, а штоп ачистить натур. Палеснь злова злова как фор, прикотит всека всячин зебе фсять; а как я дам ат темно полутше рфотной, злابلительной, и фазму фсю крофь у пальнова, ну што палеснь тут ф корпус пайтет? так и пайтет в тругой места, как ей уготна, коть в пальшой фарот, коть в калитка.

Н а б а т о в а

Я в вашей медицине толку не знаю, а могу рекомендовать ваши порошки от мигрены и капли от рюматисма — бесподобныя! А право, этой бедной Припадковой не вставать. Я оставила там человека, чтоб узнать, как скоро скончается: тотчас поскачу.

Б о г а т ы р е в

Зачем нелегкая несет? что, ты гробовой мастер; или дьячок, псалтырь читать?

Н а б а т о в а

Нет, мне жаль детей. Меня мать просила их не покинуть. А муженек ее, между нами сказать, не умрет с печали; уж я видела его манеры: лбом об стену бьется, а глазами заглядывает в девичью.

Г о р ю н о в

Да он и сам, может статься, не помнит, что делает: хочет в горе душу отвести. Тошно, горько, а кус проглотить.

Н а б а т о в а

Уж он аппетита не потеряет, за это я побожусь: много кой-что я про него знаю. Да и она мудреная женщина; ни о чем не думала и ничего не любила, дочерям дала волю и...

Б о г а т ы р е в

Маремьяна Бобровна, опомнись, сударыня! Долго ли свет весь бранить? Ведь девушка одна — невеста, за что ее губить? Доброму туго верят, а дурному с радостью.

Н а б а т о в а

И, голубчик! не беспокойся. Ведь за ней полторы тысячи душ, да и бриллианты матушка все пожаловала: она ведь была фаворитка; про нее что хочешь говори, все пойдет между ушей. Смотри, чтоб еще в плёрозах не обвенчалась, ведь она нашивныя.

Р а з в о з о в (Набатовой)

Вы изволите знать о новой победе, что мы разбили восемь тысяч французов и взяли в полон трех генералов?

Н а б а т о в а

Как не знать! Только их было восемнадцать тысяч, а наших пятьсот человек.

П у с т ы к о в

Да я записку читал.

Н а б а т о в а

А я реляцию.

Р а з в о з о в

Да ей, кажется, быть еще некогда.

Н а б а т о в а

Однако ж она здесь, ее прислали прямо из армии со штафетой и держат под спудом. А еще вы ничего не знаете?

Б о г а т ы р е в

Разве есть другое какое известие?

Н а б а т о в а

Сей час получили, что наш корпус ночевал подле лесу, а французов тысяч с двадцать, заблудившись, прошли в лес. Наши их пропустили, поутру послали сказать, чтоб сдались; они не хотели пардону, надеялись, что их много, и хотели было идти на наших штурмом. Но наш генерал тотчас зажег лес, и всех этих двадцать тысяч перевязали, и людей и лошадей, как воров, и отравили на фурах в какое-то место.

Б о г а т ы р е в

Если это и было, так что-нибудь да не так, воля твоя, Маремяна Бобровна!

Р а з в о з о в

Лес сырой, так скоро зажечь!

П у с т ы к о в

Да где столько фур взять? и чем вязать?

Н а б а т о в а

Ах, батюшка! а платки, а подвязки-то? Эдакой акации все пригодится. Я первая крест с шеи отдам. Вы не извольте верить, а я читала реляцию. Тут и пушки взяты новые, что присланы из Парижа: сказывают, такие длинные, что за двадцать верст бьют, во что ни попало. Как бишь генерала-то французского зовут? Мартира-Мартир-Мартивр.

Б о г а т ы р е в

Да все равно; они все на один покрой. Я только одного и помню Моро, оттого, что на Кузнецком мосту есть мадам Моро.

Н а б а т о в а (Богатыреву)

А вы знаете, что ваш Петр Алексеевич ранен?

Б о г а т ы р е в

Знаю.

Н а б а т о в а

Удивительно, что вы так спокойны!

Б о г а т ы р е в

Что ж делать, воля Божия! а я, признаться, сомневаюсь, что он ранен: иной говорит в ногу, другой в руку, третий в голову...

Н а б а т о в а

А я четвертая скажу, что в грудь.

Г о р ю н о в

Ну, поздравляю! живаго места не осталось; точно битое мясо.

Б о г а т ы р е в

Станем молиться Богу и ждать известия. Извините, что я вас оставлю на полчаса время. Схожу к дочери да пошлю к вам свою Наталью Семеновну; она, верно, не знает, что вы здесь, а мне же отправить бурмистра из саратовских деревень: приехал по милиции.

ЯВЛЕНИЕ 7

Пустьяков, Развозов, Горюнов, Моренкоф
и Набатова

Н а б а т о в а (*Моренкоффу*)

Он совсем не догадывается; его ранами-то с пути сбили; да мы ему, Кашпарь Богданыч, не давали чувствовать...

М о р е н к о ф

Ну, какой тут шувства! я гафарил, он ранен в голофа и змотрел на нефо, и таки сам шалку мину стелал: и он эта фитил, ну и не панимает, чтош мене телать? я свой тела стелал.

Н а б а т о в а

Где ж лекарь? послали ли за ним? время терять нечего; мне ж хочется заехать к Робертсону, а оттуда в собрание. Лишь он придет, я ему и объявлю; тут я думаю лекарю много дела будет: всему дому пускать кровь. Велите, пожалуйста, все приготовить.

М о р е н к о ф

Тут уш фсе гатофь: и чашка, и укусу, и шотка в руки, фсе стоит в пуфет, а лекарь зидит в мой карет на тваре.

Н а б а т о в а

Зачем же? его бы позвать сюда.

М о р е н к о п ф

И! не ната; теберь не ошень каладно, только 17 град на термометр. Молоди луди палавать не ната. Это мой регуль. Он зын мой зтаринни кенигсбергски труг, злафни штаб-лекарь господин Ганц Блут.

Р а з в о з о в *(Набатовой)*

Разве вы знаете? — позвольте — я в таком беспокойстве!..

Н а б а т о в а

Ведь это не секрет. Подождите немного, как Сила Андреич придет; я скажу ему при вас.

Р а з в о з о в *(думая).*

Что бы это такое могло быть? и с кем?..

П у с т я к о в *(думая)*

Не могу отгадать — Сила Андреич — доктор — кровь — кто-нибудь умер — чтобы это такое?..

Г о р ю н о в *(чесет голову)*

Экую задачу задала! Ах, батюшки! в милицию, что ль, выбрали? аль француз деревню выжег? Нет-с, не могу угадать; один бы добрался, а при людях я ведь дурак дураком.

М о р е н к о п ф

Да, да! эта за фсем нофой рапорт. Уш штука злафнай!

Н а б а т о в а

Послушайте, дайте честное слово, что никто не выйдет из этой комнаты и не скажет прежде меня Силе Андреичу, так я вам скажу.

Р а з в о з о в	} <i>(вместе)</i>	Я могу вас уверить.
П у с т я к о в		Даю честное слово.
Г о р ю н о в		Хоть по щечкам.

М о р е н к о п ф

Ну фот и присяга на зекрет.

Н а б а т о в а

Извольте же знать, что Петр Алексеевич Победин, будущий зять Силы Андреича, храброй-то воин...

Развозов } Нусь?
Пустяков } (вместе) Что ж?
Горюнов } Ушел?

Н а б а т о в а

Да, ушел на тот свет — умер; убит точно.

Развозов } Ах, Боже мой!
Пустяков } (вместе) Представьте!
Горюнов } (свищет) Фю! фю! фю!

Н а б а т о в а

Я получила сейчас письмо, где мне покойников брат, объявляя о кончине, просит принять на себя эту неприятную комиссию, объявить родне и Силе Андреичу. Как ни грустно и ни тяжело, а этот долг по дружбе и по любви исполню, конечно; затем и приехала.

П у с т я к о в

Это вам, сударыня, делает честь.

Р а з в о з о в

Ах, жаль Силы Андреича! Почтенный старик! тяжело ему будет.

Г о р ю н о в

Вот те раз: не было печали, черти накачали.

П у с т я к о в

Стало, он, спустя несколько времени, от ран умер.

Р а з в о з о в

Не погодить ли, Маремьяна Бобровна? Дождаться приказа в газетах, были примеры...

Н а б а т о в а

Ах, батюшка! да чего ждаты! что тут за примеры? у меня письмо в кармане. Теперь вы, узнав от меня, по всему городу покойника повезете. Я вас имею честь знать; да я не совсем-таки пошлая дура: не так скоро облабечусь. Теперь того и смотри, что завернет какой-нибудь бес,

скажет Силе Андреичу и лишит меня удовольствия исполнить комиссию покойного Петра Алексеича.

П у с т я к о в

Стало, он в памяти умер?

Н а б а т о в а

В совершенной; целое утро писал и завещание сделал. Брат душеприкащик. Но эте все бумаги у него; он ждет верной аказии их переслать. А что он умер, так умер; это так верно, как я жива.

П у с т я к о в (*Развозову*)

Изволите видеть, мое известие верней; он точно был ранен в ногу и умер от антонова огня.

Р а з в о з о в

Да и от руки, я надеюсь, умереть можно, особливо если сделали операцию; тут всегда тот же ваш антонов огонь придет.

М о р е н к о п ф

Фуи! не так эте насыфаете, атин злова са тругой. Апераций и ампутаций зафсем иной. Апераций мошна телать ношиком и ношниц, а ампутаций билкай; эта большой роснись.

Н а б а т о в а

Он был и не в руку, и не в ногу ранен, а вот как. Баталия уж совсем кончилась, а ему захотелось взять еще самую-то большую пушку; он и бросился и только что ея схватить, а она и выстрелила двумя ядрами: одно попало в голову, а другое в грудь, и оба навывлет.

Г о р ю н о в

Кажется, обе раны смертельные; тут и лечить нечего. Я видал ядра-то на литейном дворе: иной с астраханский арбуз, как щелкнет, так не устоишь на ногах; тут нада уж голова, да и голова.

М а р е н к о п ф

Ну фот а галаве-то и гафарить нечева: уш эта атье; а грудь иногда мошно папроповать лешить.

Г о р ю н о в

А как бы это? Да ведь ядро-то небось пронесло, как в слуховое окно, покорно прошу, что тут делать? Впрочем, ведь я это говорю так, к речи пришло. Вы это дело лучше нас знаете: такие ль вы чудеса делаете? а все с рук сходит. А я так знаете чему рад? что ядро-то на-вылет. Ну если бы в груди остановилось, что делать? Вот тут-та бы тяжело ему жить. Покорно прошу с пудовой-та гирькой гулять. Это точно счастье, поздравить надо. Сердечушко! как голову-то оторвало, уж он другой-та раны не видал, разве издали посмотрел.

М о р е н к о п ф

Фот у фас какой имагинация и фаш галафа протит, как малатой пифа.

Р а з в о з о в

Как ничего предвидеть нельзя! если бы можно было знать такой конец, то не было бы сговору и слез.

П у с т я к о в

А Софья Силовна и теперь уже больна, от одного беспокойства; что ж будет, когда она узнает, что предмет ее счастья убит? Я боюсь, чтоб эта смерть не произвела других смертей.

М о р е н к о п ф

Эта ни не турна пыла. Матушка змерть — ана стара. Ей мощна и атставку тать з бенсион, а фот тети пудут папрафорней.

Н а б а т о в а

Я давно живу на свете, а еще не видала, чтоб кто с печали умер. Она как-то скорей черной фланели носится. А если что и случится, так оттого, что меня не послушали; я невесть как просила Силу Андреича и Наталью Семеновну, чтоб повременили сговором. Положить бы меж собой на слове или отложить до замиренья. Ну, да ведь Силу Андреича не переупрямишь; он на своем поставит. Наталья Семеновна-то из его воли не выходит: чего муж захочет, на все согласна. А про девочку я ни слова не говорю; в ее лета только и на уме как-нибудь да замуж и в дамы.

Г о р ю н о в

Словно как в доведи — ходу-то прибавится.

Р а з в о з о в

В лета Софьи Силовны и с ее достоинствами не трудно, вместо одного жениха, найти тысячу.

П у с т я к о в

Я того ж мнения, добродетель и красота ее всем известны.

Н а б а т о в а

Что до добродетели касается, то об ней мало думают. Как-то до нее мало охотников! видно, из моды вышла. И уж это дурной знак, когда станут говорить, что девушка-невеста имеет доброе сердце, добрую душу. Я наперед знаю, что это значит: либо дурочка, либо скверная лицом.

П у с т я к о в

Про Софью Силовну никто этого не скажет, потому что она умна, прекрасна и получила в наследство от почтенных своих родителей все те качества, кои приобретают почтение, любовь и дружбу.

Н а б а т о в а

Это все так, я с вами согласна; но красота в девушке первая рекомендация в публике и билет д'антре¹. А наша Софья Силовна от печали, или уж так эпоха ее пришла, но как-то позавяла! а вот теперь еще и известие-то красоты, кажется, не прибавит. Она, верно, зачахнет, и ей замужем не бывать, попомните мое слово.

Г о р ю н о в

То уж конечно; этот товар продать лицом.

Н а б а т о в а

И поскорей: до мятова что-то охотников мало. Те девушки, которые были сговорены и на воле, как-то, если не удастся в первый раз, то после остаются при родителях и при терпении.

¹ входной (фр.).

Пустяков

И тем больше жаль, что покойный Петр Алексеич был предостойный молодой человек и жена его верно бы с ним была счастлива. Он был мне хороший приятель, и я могу за него побожиться.

Развозов

Какая потеря и для Силы Андреича! Он был точно по его мысли и по сердцу: молодец, дворянин, отличной храбрости и почитал его, как родного отца.

Горюнов

Да и состояние хоть куда. Епифанская-то деревня, батюшка, добрая кормилица! Что одной пеньки продавал! так стыдно сказать!

Набатова

Вы его, может быть, короче меня знали; а я, судя просто, ничего завидного в этом женихе не находила. Немудрено, что Софья Силовна в него влюбилась, этого отец и мать желали; натурально, что и она сама захотела. Для молоденькой и живой девочки замужество: маляница, молодой человек: ниренберская кукла, а жених: скляночка с духами.

Горюнов (смеясь)

Точно так, ей-Богу! понюхивает да попрыскивает.

Набатова

Что это до сих пор нейдет Сила Андреич?.. А, да вот Пегасовский! Какой несносный дурак!

ЯВЛЕНИЕ 8

Те же и Пегасовский

Пегасовский

Имею честь свидетельствовать мое нижайшее почтение всем членам сего почтенного сословия.

Набатова

Где был Евграф Гардеич? Я и не заметила, как ты от меня ушел.

Пегасовский

Для нужд своих ходил, сударыня! поднес одному покровителю стихи на день его тезоименитства; потом вручил супруге надгробную титулярного советника Тита Клементьевича Полугарова; да снял подрядом перевод французской книги.

Набатова

Стало, Тит Клементьевич умер? Какой был разбойник, удивительный!

Пегасовский

Прошу меня извинить, он еще дыхания не перевел; но хоть и жив, а мертвец не погребенной. Супруга его, барыня предобродетельная, по хозяйственной части любит заране и вовремя заготовлять все потребное для дома; и для сего и эпитафию еще третьяго дня заказать соблаговолила. После кончины, ей! не взял бы менее двадцати рублей, а теперь по условию и пятью доволен быть должен.

Набатова

Ну, полно, Евграф Гардеич! тебе жить, право, не дурно: везде принимают, везде подарки.

Пегасовский

Да смилуйтесь, Маремьяна Бобровна! я же часто питаюсь грешниками и укрепляюсь горилкой; а это же постыдная амвросия и нектар. В ином доме и пригласят к столу, но проклятыя хлопцы все меня обносят, и я блюдам дилаю инспекторский смотр, а обонянием сыт не будешь. Стихи мало заказывают и дурно платят; прежде, бывало, верной доход от кондиторов: писал стишки для билетов; но и сие из моды вышло.

Набатова

Это жаль, а дарования много. У нас таких стихотворцев, право, мало, и в одну минуту, что угодно? трагедию ль, песенку или историю? тотчас поспеет. (*Пегасовскому.*) Успел ли ты заняться? Помнишь, о чем говорили.

Пегасовский

Я вси исполнил. Готово, и вот (*показывая на свой карман*) тут...

Развозов

Что это такое?

Пегасовский

Ода на смерть высокоблагородного Петра Алексеича Победина.

Пустяков *(с сердцем)*

Вот хорошо! да вы почему это знаете? от кого?

Набатова

Я вам скажу: он зашел ко мне перед обедом; я собралась ехать сюда, и мне пришло в голову, что стихи жалкие на смерть Петра Алексеича могут занять Силу Андреича, а притом и Евграфу Гардеичу кой-что перевалится.

(Пегасовский кланяется.)

Развозов *(Набатовой)*

Как же вы нас уверяли, что никому не сказывали?

Пустяков

А выходит, что эта смерть ходит по городу.

Горюнов

И зачем нас заарестовали? ни дай, ни вынеси: тотчас попадешь в беду, право, так!

Набатова

Да кому узнать, и с кем он знаком? Сделайте для меня удовольствие, побудьте здесь — одолжите, я вас прошу.

Развозов

Я остаюсь из уважения к Силе Андреичу.

Пустяков

Теперь надобно ждать, чем это все кончится.

Горюнов

А для меня все равно; здесь тепленько, я рад с людьми; не люблю один дома сидеть. Вот уж мне тяжело, мать!

Набатова (Пегасовскому)

Не помнишь ли надгробной Тита Клементьича Полугарова?

Пегасовский

Как же не помнить своих сочинений? мои дети всегда при мне. Извольте слушать. (*Вынимает из кармана много бумаг и отыскивает одну.*)

Она будет написана золотыми буквами на мавзолее, который заказан весь из мрамора. Гроб представлять будет куфу. На одном дне означено сорок, то есть, лет усопшаго. На нем сидят гений мудрости, держащий портрет покойника в виде стакана, и фортуна, коя для утоления печали играет на балалайке, любимом инструменте господина Полугарова; а рука его из гроба тянет из-под фортуны рог изобилия. Какая прекрасная аллегория! самая деликатная и вся из мифологии. (*Читает.*)

Эпитафия, то есть надгробная
Фортуна, Бахус и Меркурий,
Здесь возлюбленный ваш сын зарыт.
Курится, как гора Везувий,
Как спирт, вино, пенится, шипит.

Развозов

Очень, очень хорошо! особливо конец: эпитафия, и мавзолеей, и человек все в одном роде.

Пегасовский

В поэзии первой предмет гармония, и должно по грамматике согласить и род, и число, и падеж.

Пустяков

В эпитафии вся жизнь заключена; жаль только, что сорок лет продолжалась.

Набатова (Пегасовскому)

А оду совсем кончил?

Пегасовский

Строф с двадцать готовы, да еще бы надобно крохи пошлифовать.

Н а б а т о в а

Ну да ты поди в другую комнату да и поправь.

П е г а с о в с к и й

Позвольте прочитатъ сим господам и узнать мнение таких почтенных слушателей; рукоплескания суть пища и сытому и голодному таланту.

М о р е н к о п ф

Эта пища шелутка не папортит.

Н а б а т о в а

Ну, читай поскорей, пока Сила Андреич не пришел.

П е г а с о в с к и й

Покорно прошу, внимлите. Тут есть много испротивнаго, новаго и приличнаго к столь страшному концу сего младаго проя. (*Читает.*)

Престаньте дни, часы, о время! течь;
Гром, окиан, ветры не шумите.
Стой, злобна смерть! атлас спусти свет с плеч,
Вопль, плач, тоска, вздохи, вы теките!
Гекла! Этна! закрой свою трубу;
Явись солнце и освещай судьбу
Великаго героя русских сил!
С медной грудью, с корпусом металлическим
Сражался он с варваром коварным.
Вопит ура! но — буф! удар сразил.

Г о р ю н о в

Стишки хоть куда. Всяко дело мастера боится. А уж пуще всего этот б у ф, ну точно пушка; аль — но я вздрогнул?

П е г а с о в с к и й

Это честь моей оде; и сей б у ф новое украшение подражательной поэзии.

(*Продолжает читать.*)

Закрыв уста, безжизнен ты прилег,
И чуть, и чуть вздымается ребро.
Голодный галл обращен тобой в бег.
Кто ж дал удар? — Чугунное ядро.

О фурия! пушка! дочь ада!
Дух тартара! ах! твои суть чада.
И атропос...

Н а б а т о в а

Поди, поди вон; я слышу голос Силы Андреича. (*Пегасовский выходит.*)

ЯВЛЕНИЕ 9

Богатырев, Набатова, Развозов, Пустяков,
Горюнов, Моренкоф

Б о г а т ы р е в

Извините, что я к вам долго не явился: заговорился с бурмистром; а Наталья Семеновна моя заснула, сидя у дочери. Она, бедняжка, две ночи не ложилась, насилу ходит.

Н а б а т о в а

Да, ей теперь здоровье нужно.

Б о г а т ы р е в

Послушай-ка, Маремьяна Бобровна, что ты дивилась тому, что я спокоен? Мне показалось, будто ты поморщилась. Почудилось мне это, или что есть в самом деле?

Н а б а т о в а

Ведь вы знаете, что Петр Алексеич ранен?

Б о г а т ы р е в

Сказывают так, да все разное и уверительного ничего нет: должно ждать подтверждения.

Н а б а т о в а

Ох, Сила Андреич! дурные вести ведь скоро доходят.

Р а з в о з о в

Вы столько имеете твердости... вы на опыте это доказали...

П у с т ы а к о в

Вам же не в первый раз оплакивать потери...

Н а б а т о в а

Снесите с терпением этот удар. Бог милостив! ну, что ж делать?

Б о г а т ы р е в

Да что вы меня терзаете, я готов на все. (*Горюнову.*)
А ты о чем плачешь?

Г о р ю н о в (*рыдая*)

Да мне вас жаль — и его жаль. Хорошо бы и вам тут же заплакать, авось либо легче будет.

Н а б а т о в а

Батюшка, Сила Андреич, как мне вам сказать? Ей-Богу! не знаю.

Б о г а т ы р е в (*с нетерпением*)

Скорей и короче.

Н а б а т о в а (*Богатыреву*)

Ну, знайте, уж если вам так хочется, что вашего Петра Алексеича нет на свете.

М о р е н к о п ф

О та што фи мушить этат добрый старик? ну гафарите, ах! Поже мой! — мейн Гот! мейн Гот!

Б о г а т ы р е в

Нет на свете? — Его? — ах, бедная Сонюшка! что, он умер? или убит?

Н а б а т о в а

Убит, в последнем деле; он хотел взять батарею...

Б о г а т ы р е в

Ну!..

Н а б а т о в а

Бросился на пушки один...

Б о г а т ы р е в

Ну!..

На ба то ва

И двумя ядрами убит.

Бо га ты ре в (перекрестясь)

Стало, и не страдал, и не успел подумать ни о сокровище, коим Бог хотел его наградить, ни обо мне, верном своем друге; но нет, он думал прежде и знал, что счастье моего дома от его судьбы зависело.

Ра з в о з о в

Какое несчастье, что он не мог укротить своей запальчивости!

Бо га ты ре в

Не можно: он был молод и весь благородный; храбрость русская рассудка не слушает; она побеждает или погибает.

Ра з в о з о в

Он довольно доказал прежде, что он храбр, и мог бы не подвергать себя лишней опасности.

Бо га ты ре в

Если бы он не был храбр, то бы я его не выбрал в свои зятя; не думал бы найти в нем сынов убитых, заменить их, осушить иногда горькие слезы счастьем дочери. Но напрасно я думал утолить скорбь мою. Надежда мелькнула в глазах моих и исчезла навсегда. Несчастный старик! какой ждет тебя конец? Кто закроет глаза твой? Кого ты по себе служить государю оставишь? Имел двух сынов, и нет их; сыскал третьяго, погиб и он. О Россия! дражайшее Отечество! вся кровь моя пролита за тебя.

Ра з в о з о в

О почтенный муж!

Пу с т я ко в

О примерный сын Отечества!

На ба то ва

Истинно благородный человек!

Мо ре н ко п ф

Злафный эксемиль, молоты люди!

Г о р ю н о в

То уж патриот, нечего сказать, небось не унывает.

Н а б а т о в а

Укротите вашу печаль, подумайте о себе; что вам себя морить безвременною смертию? у вас еще есть Софья Силовна.

Б о г а т ы р е в

Ох, матушка! сердце кровью обливается! Она одна теперь на свете, и в восемнадцать лет смерть отравила ядом жизнь ее.

Н а б а т о в а

Надеяться надобно, что время...

Б о г а т ы р е в

Время ослабеваает печаль, а скорбь души час от часу глубже вырезывает, и эти следы одна лишь смерть заравнивает. Так и быть! доживать и доплакивать. Господи, да буди святая воля Твоя! Сила Андреич, крепись и мужайся! ты человек и христианин.

Р а з в о з о в *(в сторону)*

Он у меня раздирает душу.

П у с т ы к о в *(в сторону)*

Теперь смерть объявлена, мне здесь делать нечего: поеду домой, перемену лошадей и пушусь по городу объявлять это несчастье. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 10

Богатырев, Набатова, Развозов, Моренкопф,
Горюнов и Богатырева

Б о г а т ы р е в а *(входя скоро, к мужу)*

Что такое сделалось! что с тобой, Сила Андреич? ты плачешь! *(Всем.)* Да что такое?

Б о г а т ы р е в

Поди ко мне, друг мой! плачь и рыдай со мной. Мы не все еще с тобой слезы пролили. Послушай, плачь по Петре Алексеиче.

Б о г а т ы р е в а

Ах! — Софьюшка — о друг мой!.. *(Падают в кресла без чувств, все бросаются к ней.)*

Б о г а т ы р е в *(держит руки у жены)*

(Моренкопфу.) Помогите, ради Бога! мои глаза, кроме смерти, ничего не видят.

М о р е н к о п ф *(щупая пульс Богатыревой)*

Ну, эта малиньки опморок — фот и пульс-та прикодит в свой моцион. Эта перви опмарок, тругой-та палекше пудит. Ната натур дать фоли: ана звой тела знает телать: старинни профессор.

Р а з в о з о в

Я надорвусь от жалости; от роду эдакой картины не видал, Боже мой!

Г о р ю н о в

И мне в самом деле жалко становится, что ж? ведь и я человек такой же.

Н а б а т о в а *(Моренкопфу)*

Да ну, Кашпарь Богданыч, что тут пульс щупать? пускай кровь, пожалуйста, поскорей.

М о р е н к о п ф

Ташась, ташась, приципитандо бибимус сангвине фу-жибат. Эта Цицерон лубима пасловись. *(Отворяет дверь и что-то приказывает.)*

Н а б а т о в а *(в сторону)*

Я ничему не рада. Жаль, что не отложила до завтра; везде опоздаю: уж девять часов.

Г о р ю н о в

Эк, как нас всех перевернуло — и вдруг еще — смотри пожалуй. Ба! ба! да за что ж мы одни принялись плакать? а люди и в ус себе не дуют. Пойду-ка я им объявлю эту радость: авось и они заплачут. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. *(Уходит.)*

Н а б а т о в а

Опомнитесь, Наталья Семеновна! Приди, матушка, в себя; ну что ж делать? такое определение. Что мы мо-

жем против воли Божией? посетил еще дом ваш печалию. Что ж, его не подымете, а себя в гроб положите.

Б о г а т ы р е в а

Ах, лучше бы мне умереть!— ах, лучше...

Б о г а т ы р е в

Друг мой, с кем же я останусь? Нам остается просить одной у Бога милости: чтоб умереть вместе.

Б о г а т ы р е в а

Дай Бог!

Н а б а т о в а

У вас еще Софья Силовна, и ее утешить надобно. Мало ли чего в свете бывает? беда ходит не по лесу, а по людям. Ну, Бог милость Свою над вами явит. Как быть! живи не как хочется, а как Бог велит. Вот вы, матушка, оправьтесь, поедем к Троице, в Ростов, к Пафнутию Боровскому; а летом, если живы да здоровы будем, махнем в Киев: я везде с вами, ни на минуту вас одних не покину. *(Входят четыре человека: один с чашками, другой с салфеткой, третий с половой щеткой, четвертый с стеклянной, и Ганцблут.)*

Б о г а т ы р е в *(Моренкопфу)*

Вы хотите ей пускать кровь? но, пожалуйста, оставьте до завтра. Нам еще много горя будет утешать бедную дочь, она ничего не знает.

М о р е н к о п ф

Ну, да завтра ешо мошна чашка тва пустить; а теперь папольше — уфидим — уфидим. Зперва Натальи Земеновна, а там и фас, патушка! клейн бисхен; фи не лупить, я снаю; но теперь попался ф вой руки; я партон не снай: виктория, одер тод. Э! э! э!

Б о г а т ы р е в

Я и сыновья мои для того не пускали крови, что берегли ее и думали, что дворянин должен ее проливать только за Отечество и за государя. Но *(вздыхнув)* сыновей нет на свете, а я тяжкое бремя на земле, и если вы находите нужным, то делайте, что вам угодно.

Развозов

Всякое его слово печатается на моем сердце.

Моренкопф

А фот зперва ми папропуем Натали Земеновна; у ней злафна шил, как захарна верефка, и бинт полошить не ната.

Богатырева (мужу)

Что ж тебе на это смотреть? ты бы пошел к Сонюшке. Я боюсь, чтоб ей кто не сказал. О Боже! укрепи ее!
(Пока Ганцблут и люди подходят и готовят все потребное для кровопускания.)

Богатырев

Какой несчастный день в моей жизни! старость, печаль и горькия воспоминания будут одни наши собеседники; уж я не буду ждть ни радостных известий, ни поздравлений, ни восхитительных свиданий: сыновей и зятя нет в армии. Здесь я их благословлял, отсюда отпускал на службу, на этот месте вручил зятю шпагу, пожалованную государем Петром Великим отцу моему за храбрость; с ней служили я и сыновья мои, и она в руках Богатыревых обагралась кровию неприятельской. Я обнял жениха моей дочери и не чувствовал, что в последний раз он оросил грудь мою и руки слезами и вышел в эти двери, чтоб никогда не возвращаться...
(В сию самую минуту двери отворяются. Победин вбегает и бросается на шею к Богатыреву.)

Ах, что это? Боже милосердный?

ЯВЛЕНИЕ 11

Те же и Победин

Победин

Батюшка, батюшка, какое благополучие!

Богатырева (бросаясь к нему на шею)

Это он! это он! и ты жив!

Победин (целуя у ней руки)

Да, матушка! это сын ваш, это я. Но что такое сделалось? на всех я вижу страх. Кому хотели кровь пускать? Боже мой! где Софья Силовна?

Набагова

Что это за чудо? это мертвец или — нет! не поверю — привидение, точно привидение.

Развозов

Я глазам своим не верю: и убит и жив!

Моренкопф

Ай! ай! ай! Ну! ну! ну! Дас ист дер тейфель!

Богатырев (Победину)

Выслушай, дивись и радуйся: от тебя с месяц писем не было, дочь от беспокойства занемогла, но теперь ей лучше.

Победин

Ах, какое несчастье!

Богатырев

Ничего, мой друг! ничего; она совсем почти здорова, ну стану ль я тебя обманывать? Мы измучились, смотря на нее и не зная, что с тобою делается. Сего дня после обеда — вот Михайла Федорыч, Николай Иваныч Пустяков и Кашпарь Богданыч сообщили мне, что ты ранен: иной говорил в руку, другой в ногу, третий в голову, так что я стал и сомневаться в ране, но вот дорогая кумушка! (*Показывая на Набагову.*) Подвижная эта смерть посетила и отравила было нас на тот свет.

Победин

Как это?

Богатырева (мужу)

Друг мой! теперь нам радоваться надобно, а не сердиться; Бог ей судья! прости ее.

Богатырев

Хорошо, матушка! это не уйдет; да позволь мне досказать. Вот эта сударушка и одолжила меня известием, что ты убит, и черт знает, какую сплела историю! что ты бросился брать пушку, и ядром ударило в голову...

Развозов

А другим в грудь.

Богатырев

Ну вот, слышишь, одного мало; но я не понимаю теперь и сам, как ей поверил и как не умер на месте. Наталья Семеновна упала в обморок; ей было хотели пустить кровь, и Бог один знает, что б из этого вышло.

Победин

Где же Софья Силовна? Позвольте, батюшка...

Богатырев

По счастью, она не выходит и ничего не знает, даже и того, что ты будто ранен.

Победин

Да я и в самом деле ранен (*показывает на руку*) под Прейсиш-Эйлау; но я мог в третий день быть с баталионом опять в деле. (*Богатырев целует у него руку.*) Помилуйте, батюшка!

Богатырев

Позволь! Всякая рана, полученная за Отечество, есть печать его.

Богатырева (*Победину*)

Да что ты, мой милый, до излечения что ль отпущен и надолго ли с нами?

Победин

Матушка, я здоров; следственно, поспешу в армию. Я был отправлен к государю с известием о последней победе; на другой день моего приезда в Петербург я испросил позволения ехать через Москву и пробыть здесь три дни. Теперь поздравьте меня: государь изволил меня пожаловать в подполковники и, что всего драгоценней, изволил обо мне разговаривать с похвалою.

Развозов

Имею честь поздравить: приятно видеть достоинство с наградой!

Моренкопф

Гратилур. Фот теберь и з палком скоро будит, а там маленький корпус — ну и марш марш! эте злафна.

Набатова

А я уж ни за что на свете не поздравлю... вовремя приехал! Вот говорят, что французы мастера стрелять, — пустое: не попали.

Богатырев

Велика милость государева! дай Бог ему много лет здравствовать; а зять пусть служит. Так ли, друг сердечный? Ступай до белаго знамени. Лишь бы смерть не вручила косы Маремьяне Бобровне, а то она тотчас тебя подкосит. Берегись!

Набатова

Вот хороша от вас признательность! Я от доброга сердца хотела, вас любя, сберечь, успокоить и объявить поделикатней, а на поверку я же виновата. Покорно благодарю! впредь наука. Попала в беду оттого, что ко мне написали, я поверила, а Петр Алексеич изволил вдруг явиться.

Богатырев

И, что всего мудреней, живой.

Набатова

Может быть; а я не могу этому верить, как хотите.

Богатырев

Да взгляни, матушка! вон он и говорит, и ходит, и нас обнимает, и вот и я его обнимаю. (*Обнимает Победина.*) Ну уж одолжила; благодарен за милость!

Набатова (*в сторону*)

Пренесносный старик! (*Богатыреву.*) Я вам все то же да то же говорить буду: мне написали, и я свой долг в этом случае выполнила; а вы извольте это принимать как вам угодно — и гневаться — мне все равно: вы меня ничем попрекнуть не можете.

Богатырев

Фу, сумасбродная! Да кто тебя просил спешить? Кто к тебе писал? ну, скажи!

Развозов

Маремьяна Бобровна получила из армии письмо от брата Петра Алексеича.

Набатова (*с сердцем*)

Конечно, от него, и из армии; что за секрет?

Победин

Вот теперь, сударыня, позвольте и мне увериться, что я нигде убит не был. Во-первых, брат мой, не имея чести быть с вами знаком, не может писать к вам писем, а вторых, его в армии совсем и не было. Он еще в августе послан был в Вену и накануне моего приезда в Петербург приехал сам туда.

Развозов (*Победину*)

Позвольте спросить, какой корпус двадцатитысячный взяли в полон, зажегши лес?

Победин

Я от вас впервѳой о сем слышу.

Развозов

А Маремьяна Бобровна и о сем утвердительно объявила.

Набатова

Ну, теперь все на меня поднялись! а и вы, сударь (*Развозову*), охотники вести развозить; если и ваши поверить, то, думаю, много разве на душе только отыщешь.

Моренкопф

Ну, полна, патушка, што фи петнай дама за свет гоните? тайте ей бакой: уш таки ей затал штрапац.

Победин (*Богатыреву*)

Я от нетерпения вне себя; сделайте милость, ба-тющка, позвольте мне видеть Софью Силовну.

Богатырева

Я, мой друг, пойду с ним и не вдруг его покажу, что-бы радость не обратилась во вред.

Богатырев

Хорошо, матушка, я тотчас к вам приду сам.
(*Богатырева и Победин уходят.*)

Развозов (*в сторону*)

А я поспешу разгласить по городу смерть и явление,

коим все обязаны будут Маремьяне Бобровне; и так ее отделаю, что месяца три никто ей верить не будет.

М о р е н к о п ф

Ну! ну! Прашайте, патушка. Я зафтра фам стелаю ма-
линки физит. Фот Зил Антреич пыл дишперат, а теперь
ганц лустиг — атье — атье. Брафо! брафо!.. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ 12

Богатырев и Набатова

Б о г а т ы р е в

Ну, вот смотри, сударыня! радуйся на дела мерзского
твоего языка.

Н а б а т о в а

Что ж, мне молчать прикажете? Мне говорить еще не
запрещено.

Б о г а т ы р е в

Да слушать-то бы тебя никому не надобно. Стыдно,
сударыня, стыдно; что тебе за охота лгать и пугать? Ведь
ты было меня совсем на тот свет отравила; а я хоть и стар,
да не даром хлеб ем: могу и доброму научить; а ты за-
чем живешь на свете? — так!

Н а б а т о в а

Да и большая часть так живет. Однако ж, Сила Андре-
ич, меня не меньше вас знают в публике, и я в лучшие
дома въезжа.

Б о г а т ы р е в

Будто это-то? Публика собрание людей, а люди съезжа-
ются, чтоб видеться, играть, зевать и время убивать,
то есть: себя.

Н а б а т о в а

Ну, да если в публику всякой может ездить, то, по
крайней мере, в домах людей лучше сортируют. Да для
вас ничего святого нет, и вы все браните и хотите свет пе-
ределать по-своему; а кабы вы послушали, что про вас го-
ворят...

Богатырев

Да чего слушать: я знаю — но мне что за нужда. Вот я бы сейчас правую руку дал отрубить, чтоб у нас одумались. Молодые, Бог с ними, перебесуются; а кто их развратил? — старые. Ну, да вот ты первая; что ты делаешь целый день? Лжешь, врешь и дурной пример даешь; злословишь, путаешься не в свои дела, таскаешься по магазейнам, меняешь с бухарцами шали, а с старухами сплетни и, как гончая собака, гонишь и по зрячему, и по горячему.

Набатова

Покорно благодарю за портрет и за сравнение; что ж мне в телогрею прикажете одеться?

Богатырев

Правды никто не любит слушать, а говорить всякой собирается. Я уж давно ее проповедываю, да выходит — глас в пустыне. Ну, взгляни ты на себя, как ты одета? тебе давно за пятьдесят лет, ведь смех и грех! На что тыходишь? с рук на прачку, с головы на голландского шкипера. Одевала бы по старине грешное тело потеплей, ведь в тебя небось ветер дует со всех сторон, как в старья опущенныя палаты; что ты за морская Венера из пены морьей явилась? Ну, смотри! как зима тебя прихватит, сведет руки и ноги, вот и выйдет тюника соком.

Набатова

Не слушаю и не послушаю; не боюсь ридикуля, не хочу быть одета шутихой; я хочу жить в свое удовольствие.

Богатырев

Да кто мешает? пусть над вами смеются. Да за что вы губите молоденьких девушек вашим безобразным одеянием? Эта мерзкая мода обливает любовь и уважение холодною водою и, вместо того, чтобы привлекать, гонит прочь, и женихов ловят, как беглых. В старину, и не очень давно, у иной девушки в месяц не увидишь руки без перчатки, а нынче воображенью и догадке дела нет. Да, прежде сего одевались, а ныне раздеваются. Иная едет на бал, как модель для живописцев; другая из отцовского дома, как из кунсткамеры: на руке мешок с бельем, все сквозит, все летит; раз взглянул, точно как от купели принимал.

Набатова

Да матерей-то зачем тут припутали? как будто оне виноваты, что дети резвятся. Кто молод не был? Мать ведь не солдат: ей на часах разве стоять и всех окликать?

Богатырев

Мать есть пример, покров и наставник для дочери. А дочь благовоспитанная есть лучшее украшение матери. Но инья, по несчастию, что нынче делают? притравливают их к пороку и, теряя свое право, теряют и дочерей. Дочь с матерью точно как с мадамой: обе налегке, под краской. Дочь мигает, мать моргает; одна танцует, другая валсирует; одна ищет женишка, другая пастушка; одна с ума сходит, другая в себя не приходит. Господи, помилуй, да будет ли этому конец!

Набатова

Ну, как изволили пуститься, Сила Андреич! Bravo! Жаль, что у меня память слаба и что я забыла записную книжку; а то бы могла вам показать услугу: публика вам должна быть благодарна.

Богатырев

И конечно, и наверно: в публике много и много есть почтенных людей, матерей и отцов, кои одного со мною мнения; им-то я себя и отдаю на суд. От безрассудного пристрастия и ослепления к иностранным мы обращаемся из людей в обезьяны, из господ в слуги, из русских в ничто. Этот разврат есть болезнь завозная, прилипчивая и иных у нас обезобразила так, что и узнать нельзя. А что я говорю, это правда и для ушей, и для глаз, и для души; в семье не без урода; да на что ж самому себя изуродовать и сделаться гадким списком мерзкого подлинника?

ЯВЛЕНИЕ 13

Те же и Победин

Победин (*Богатыреву*)

Батюшка! я к вам пришел с просьбою от Софьи Силовны: пожалуйста к ней и забудьте все огорчения, вида нас вместе. Она желает вас иметь свидетелем нашего благополучия.

Богатырев

Тотчас, мой друг! дай мне окончить разговор с Маремьяной Бобровной. Я говорю правду: ей одной предоставлено право избличать порок, исправлять развращенных и показывать истинный путь к добродетели.

ЯВЛЕНИЕ 14

Те же и Горюнов,

Горюнов (*не видя Победина*)

Ну, Сила Андреич, что я наделал! уж скажете спасибо! у меня и в передней, и в людской, и на конюшке все люди, как коровы, режут. Я ведь сказал, что Петр Алексеич убит. (*Увидя Победина.*) Ай! ай! с нами Бог! — Батюшки! — батюшки!..

Богатырев

Молчи, молчи! что ты это? Опомнись, эдакой трус! Посмотри, вот тебе Петр Алексеич здоровый, и хотя раненый, но живой.

Горюнов

Ох! — что ж? я рад — право, рад, а воля ваша, со мной эта дурная штука — ах, чудеса! подумаешь... Да как это случилось? Стало, все неправда.

Победин

От вас зависит верить, что я убит не был.

Горюнов

Да буди по слову вашему опять живы, все-таки лучше; а ведь уж как было вас уходили, батюшка Петр Алексеич, в мелкие пирожные части! Живаго места не оставили, право, так! Смотри пожалуй! чего не выдумают? Ах, мошенники!

Набатова

И ты, Фока Феклестыч, сглупа туда ж! Сила Андреич, тот уж волю взял, а ты, мой голубчик, не очень пускайся — с тобою я скоро разделаюсь.

Богатырев

Разделяйся лучше прежде со всеми теми, кого ты оби-

дела, оболгала и привела в отчаяние; да погоди, матушка, я тебя выведу на чистую воду!

Н а б а т о в а

Что вы на меня так разозлились? что я вам на посмеяние, что ль, досталась? Ну, извольте рассказывать — ну, рассказывайте! и я ведь не замолкну. Посмотрим, кто кого уходит. Господи! что за важность! великая диковина Сила Андреич! великая беда, что жених дочери был убит! Я хоть и вдова, а за себя постою; как вам меня ругать? я благородная, я дворянка, я генеральская дочь!

Б о г а т ы р е в

Ты сплетница, разнощица, и ты за тем только и едешь по домам, чтоб наполнять их ложью, ссорами и злословием. Язык твой жало, слова иголки, ум — зажигательное стекло. Для тебя ничего святого нет на свете; и если я тебя терпел у себя в доме, то это для того, чтобы показывать дочери порок во всей его мерзости.

Н а б а т о в а

Ах, батюшка, ты с ума сошел! что ты вздумал меня показывать, как американку или невидимку? Нет, сударь! после этого я и сама к тебе не поеду, ни под каким видом, ни за что на свете, хоть на коленях стой!

Б о г а т ы р е в

Как! мне становиться перед тобой на колени? да я для тебя и колпака не сниму. Вон, сударыня, вон из моего дома, чтобы нога твоя здесь не была. Я еду сей же час просить всех знакомых, чтобы тебя и на двор не пускали; тебя надо заявить, в газетах припечатать, привязать на шею почтовый колокольчик, чтобы все от тебя держали право.

Н а б а т о в а

Пустьяки, пустьяки! заврался, голубчик! с ума сошел; а я-таки везде ездить буду, говорить, кричать, тебя ругать и выведу из тебя комедию — точно выведу! (*Уходит.*)

Б о г а т ы р е в

Лучше трагедию: ты будешь пятым действием и всех отправишь на тот свет.

Г о р ю н о в

Прощайте, Сила Андреич! поехать и мне домой; что-

то не по себе, крепко я напугался, теперь того и смотри, что и меня уморят на досуге, а там уверяй пожалуй, что неправда: меня ж бранить станут. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Богатырев и Победин

Богатырев

Ах, друг мой! как ты вовремя приехал! что бы с нами было? Видишь плоды праздности и злословия!

Победин

Вижу и должен желать, чтоб они никогда не касались до благополучия, кое меня ожидает.

Богатырев

Дай Бог! отличайся и сплетай венок лавровый, и брак возложит на него венец; живи и умирай с честью неразлучно.



ПИСЬМО УСТИНА УЛЬЯНОВИЧА ВЕНИКОВА К СИЛЕ АНДРЕЕВИЧУ БОГАТЫРЕВУ

Спешу тебя известить, любезный друг, Сила Андреевич, что ты попал еще раз не в печать, а в комедию, и выведен уже не на Красное крыльцо, а на театр. Не знаю, какой-то потаенный писец поместил тебя в одном действии в числе актеров, кои смеха ради играли комедию. Но ты не сердись, ты и на театре то же говорил, что и на Красном крыльце, и я иногда воображал, что ты в моих глазах. Досталось и модам, и мадамам, и сплетникам, и зараженным заморскими проказами. Но об России ты говорил как законный ее сын и нежный любовник, и хотя господа актеры из кожи лезли и галерейные заседатели много били в ладоши, однако ж, правду сказать, ложная и кресельная публика не совсем благосклонно тебя приняла и заключила, что в тебе много соли и ты пересолил. За картину модного одевания сердятся натуральные дамы, за надгробную Полугарова ему подобные, за Моренкоффа некоторые практикованные доктора, и если бы тебе случилось в то самое время быть в Москве, то бы не советовал казаться ни в магазины, ни быть больным, ни брать винной поставки. А как будто нарочно после этой комедии на другой день публика уморила на два часа одного живого, доктор другого навсегда рвотным, кузнецкие мадамы выкраили еще больше передки и спинки, русские филантропы собирали деньги для иностранца, коего приказано выслать за границу, и одна старая барыня для очищения совести репилась выйти замуж за немецкого

трубочиста. Ну, пожалуйста, послушай! перестань проповедовать истину; ты ею дразнишь людей и надорвешься над пороком. Оставь старину в Кремле и на Спасском мосту в картинках. Прощай, друг сердечный! я живу по-прежнему за делом, но слышу, что всем очень весело, хотя редко живое лицо увидишь: у молодых от вертенья, у средних от бессонницы, а у старых от сиденья. Дай Бог им здоровья и скорей Великого поста.

Февраля 10 дня 1808 года

ОТВЕТ СИЛЫ АНДРЕЕВИЧА БОГАТЫРЕВА УСТИНУ УЛЬЯНОВИЧУ ВЕНИКОВУ

Ну, брат Устин Ульянович, одолжил ты меня письмом! В такой сперва жар кинуло, что я кислых щей и банбарисной воды стаканов с десять выпил и рассердился было крепко, но после походил, подумал, соснул на лежанке и встал как встрепанный, будто ни в чем не бывал, не довольно того, что в комедии.

Вот, братец, как трудно уйти от напраслины! Шептал — записали, молчал — росписали. Сперва вывели на площадь, а теперь на театр. Благодарю, однако ж, за присылку комедии. Читал и перечитывал; нахожу, что и тут я несколько на себя похожу. Хорош доктор; верно, у него дома два каменных есть и за здоровье его молят столяры. Пегасовский, право, не так дурен; а беда его та, что он своим стихам цены не ставит, а берет, кто из милости что пожалует. Развозов и Пустяков сущие тираны лошадей и человеческих ушей. Маремьян Бобровн по дюжине есть в каждом квартале. Но вот дурно то, что меня заставили говорить о пожертвованиях и о службе моей; что кум мой Горюнов и Набатова слишком вольно говорят, и я никогда бы сам не сказал, что он такой один в России, потому что на мою долю я с десяток подобных знаю, а я не со всем светом знаком. Мне, ей-Богу, не досадно, что покойная публика не очень ласково меня приняла. Ныне проповеди не в моде, а говори о погоде. Меня на веку уж много раз сквозь строй языками гоняли, а загонять не могу. Жив по милости Божией. Да я ж не хочу быть в числе тех людей, коих все любят. Они или ничто, или все; а я по своей натуре иных почитаю, иных уважаю, других презираю и ничего не скрываю. Не советую тебе советовать мне перемениться. Я не червяк, бабочкой быть не могу; а ныне

хотя век и баснословный, но и сам черт не превратит меня из русского в иноземца. Ну, что за беда? побранят да перестанут; а я опять за перо. Бумага у нас своя, сажи много, гусей многое множество, а странностей своих и иностранных тьма. Я доволен, что в Москве веселятся, да не люблю, что не вовремя начинают. Из сего и выходит, что вечером зевают, ночью приезжают, днем страдают и солнце за месяц принимают. Прощай, брат Устин Ульянович! соседи пристают, чтоб я закупился сахаром, чаем да кофею; а я не слушаю: пусть наши купцы берут барыши; полно им быть батраками у англичан; пора и этому первой гильдии народу уняться, поделиться всемирной данью и допустить других к торгу без плакатных их пашпортов. Кто им соленую воду отдал? ведь она сама в крепость идти не может. Когда мало будет сахару, ну, меньше клади, зубы будут здоровей (и мы будем позубастей); а не то, так есть у нас мед, шалфей и ячмень: можно и это пить, если кто без горячего жить не может. Ведь старики наши табаку не нюхали и не курили, кофею и чаю не пили, бульону не хлебали, в платки не плевали, микстур не принимали, по-французски не болтали, в шарady не играли, а доле живали, крепче спали, лучше дело свое знали и по-христиански умирали. Вот я опять осерчал, и опять мне достанется, потащат в суд и разорят бесчестиями. Пойду спать, авось либо умолкну. Язык мой — враг мой, увижу дурное, кричу: «Разбой!» Однако ж все это ничего не значит, и я, как большая часть живых людей, говорю вздор, делаю позор, смотрю на вздор и сержусь за вздор. А умирая, скажу я последнюю матку-правду: «Суета сует».

Прости, мой свет

Марта 16 дня 1808 года



АФИШИ 1812 ГОДА,
ИЛИ ДРУЖЕСКИЕ ПОСЛАНИЯ
ОТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО В МОСКВЕ
К ЖИТЕЛЯМ ЕЕ

№ 1

Московский мещанин, бывший в ратниках, Карнюшка Чихирин, выпив лишний крючок на тычке, услышал, что будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился и, разругав скверными словами всех французов, вышед из питейного дома, заговорил под орлом так: «Как! К нам? Милости просим, хоть на святки, хоть и на масляницу: да и тут жгутами девки так припопоят, что спина вздуется горой. Полно демоном-то наряжаться: молитву сотворим, так до петухов сгинешь! Сиди-тко лучше дома да играй в жмурки либо в гулючки. Полно тебе фиглярить: ведь солдаты-то твои карлики да щегольки; ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не наденут. Ну, где им русское житье-бытье вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят; право, так, все беда: у ворот замерзнуть, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе задыхаться, на печи обжигаться. Да что и говорить! Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову положить. Карл-то шведский пожилистей тебя был, да и чистой царской крови, да уходился под Полтавой, ушел без возврата. Да и при тебе будущих-то мало будет. Побойчей французов твоих были поляки, татары и шведы,

да и тех старики наши так откачали, что и по сю пору круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами-то их кости. Ну, и твоей силе быть в могиле. Да знаешь ли, что такое наша матушка Москва? Вить это не город, а царство. У тебя дома-то слепой да хромой, старухи да ребятишки остались, а на немцах не выведешь: они тебя с маху сами оседлают. А на Руси што, знаешь ли ты, забубенная голова? Выведено 600 000, да забритых 300 000, да старых рекрутов 200 000. А все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные. Да коли понадобится, скажи нам батюшка Александр Павлович: «Сила христианская, выходи!» — и высыпет бессчетная, и свету Божьяго не увидишь! Ну, передних бей, пожалуй: тебе это по сердцу; зато остальные-то тебя доконают на веки веков. Ну, как же тебе к нам забраться? Не токмо что Ивана Великаго, да и Поклонной во сне не увидишь. Белорусцев возьмем да тебя в Польше и погребем. Ну, поминай как звали! По сему и прочее разумевай, не настулай, не начинай, а направо кругом домой ступай и знай из роду в род, каков русский народ!» Потом Чихирин пошел бодро и занял: «Во поле береза стояла», а народ, смотря на него, говорил: «Откуда берется? А что говорит дело, то уж дело!»

1 июля

№ 2

Московский военный губернатор, граф Ростопчин, сим извещает, что в Москве показалась дерзкая бумага, где между прочим вздором сказано, что французский император Наполеон обещается через шесть месяцев быть в обеих российских столицах. В 14 часов полиция отыскала и сочинителя, и от кого вышла бумага. Он есть сын московского второй гильдии купца Верещагина, воспитанный иностранным и развращенный трактирною беседою. Граф Ростопчин признает нужным обнародовать о сем, полагая возможным, что списки с сего мерзкого сочинения могли дойти до сведения и легковерных, и наклонных верить невозможному. Верещагин же сочинитель и губернский секретарь Мешков переписчик, по признанию их, преданы суду и получают должное наказание за их преступление.

3 июля



№ 3

Вчерашняго числа главнокомандующий в Москве получил через нарочнаго курьера от его высокопревосходительства, господина военного министра, из мызы Мощинки, следующие известия: 26-го числа 1-я и 2-я армии, снабдившись продовольствием, выступили из Смоленска: 1-я в Водро, 2-я в Катань. 27-го авангард 1-й армии, под начальством генерала Платова и генерал-майора графа Палена, разбил корпус неприятельской кавалерии; большое число войск, оный составлявших, совершенно истреблено, и взято в плен нами около 1000 человек, в числе коих 1 полковник и много штаб- и обер-офицеров; также взят обоз командующего оным корпусом генерала Монбрюна. 27-го же числа армии перешли: 1-я в Мощинки на Пореченскую дорогу, а 2-я в Водро.

2 августа

№ 4

Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно! Хлеб не дорожает, и мясо дешевет. Однако всем хочется, чтоб злодея побить, и то будет. Станем Богу молиться, да воинов снаряжать, да в армию их отправлять. А за нас пред Богом заступники: Божия Мать и московские чудотворцы; пред светом — милосердный государь наш Александр Павлович, а пред супостаты — христолюбивое воинство; а чтоб скорее дело решить: государю угодить, Россию одолжить и Наполеону насолить, то должно иметь послушание, усердие и веру к словам начальников, и они рады с вами и жить, и умереть. Когда дело делать, я с вами; на войну идти, перед вами; а отдыхать, за вами. Не бойтесь ничего: нашла туча, да мы ее отдуем; все перемелется, мука будет; а берегитесь одного: пьяниц да дураков; они, распустя уши, шатаются, да и другим в уши врасплох надувают. Иной вздумает, что Наполеон за добром идет, а его дело кожу драть; обещает все, а выйдет ничего. Солдатам сулит фельдмаршалство, нищим — золотые горы, народу — свободу; а всех ловит за виски, да в тиски и пошлет на смерть: убьют либо там, либо тут. И для сего и прошу: если кто из наших или из чужих станет его выхвалять и сулить и то и другое, то, какой бы он ни был, за хохол да на съезжую! Тот, кто возьмет, тому честь, слава и награда; а кого возьмут, с тем я разделаюсь, хоть пяти

пядей будь во лбу; мне на то и власть дана; и государь изволил приказать беречь матушку Москву; а кому ж беречь мать, как не деткам! Ей-Богу, братцы, государь на вас, как на Кремль, надеется, а я за вас присягнуть готов! Не введите в слово. А я верный слуга царский, русский барин и православный христианин. Вот моя и молитва: «Господи, Царю Небесный! Продли дни благочестиваго земного царя нашего! Продли благодать Твою на православную Россию, продли мужество христоролюбиваго воинства, продли верность и любовь к отечеству православнаго русскаго народа! Направь стопы воинов на гибель врагов, просвети и укрепи их силою Животворящаго Креста, чело их охраняюща и сим знамением победиша».

9 августа

№ 5

4-го числа император Наполеон, собрав все свои войска, в числе 100 000 человек, пришел к Смоленску, где был встречен за 6 верст от города корпусом генерал-лейтенанта Раевского. Сражение началось в 6 часов утра и с полудня сделалось кровопролитнейшим. Храбрость русских превозмогла многочисленность, и неприятель был опрокинут. Корпус генерала Докторова, пришедший на смену утомленного, но победившаго корпуса генерал-лейтенанта Раевского, 5-го числа на рассвете вступил в битву, коя до глубокой ночи продолжалась. Неприятельская войска везде были отражаемы, и русские воины с храбростью и мужеством, им свойственным, на гибель врагов и защиту отечества шли с яростью, призывая имя Господне в помощь. Но в сие время город Смоленск объят был пламенем, и войска наши заняли позицию от Днепра к деревне Пневой и Дорогобужу. Обе армии стоят вместе. Неприятель, расстроенный столь сильным поражением, остановился и, потеряв больше двадцати тысяч человек, приобрел в добычу старинный град Смоленск, руками его в пепел обращенный. Жители все несколько дней до сражения вышли из города. С нашей стороны урон убитыми и ранеными простирается до 4000 человек; в числе первых два храбрые генералы: Скалон и Балка. В плен взято множество войска, и целые неприятельские батальоны кидали ружья, чтоб спасти жизнь. Три полка кавалерии и три

казаков опрокинули 60 эскадронов неприятельской кавалерии под начальством Неаполитанского короля.

14 августа

№ 6

От главнокомандующаго в Москве.— Я сейчас получил через курьера от военного министра известие, что неприятель стоит в том же месте. Наш авангард в Умольне, 30 верст от Дорогобужа к Смоленску. Главная квартира обеих армий в Дорогобуже. Неприятель от генерального сражения уклоняется. К нам от него немцы бегут сотнями и объявляют, что соотчичи их в первом сражении перейдут к нам. Курьер, приехавший ко мне, встретил у Вязьмы лейб-драгунскаго полковника Албрехта, посланнаго от генерал-лейтенанта графа Витгенштейна к военному министру с известием, что он в 15 верстах от Полоцка напал на фельдмаршала Удино; дрался с ним два дни, разбил совершенно его армию, взял в плен 3000 человек, убитых до шести; пушек досталось от неприятеля 15. В первый день фельдмаршал Удино смертельно ранен, а во второй армию командовал генерал Сен-Сир. Наши войска в Полоцке.

14 августа

№ 7

От главнокомандующаго в Москве.— Здесь есть слух и есть люди, кои ему верют и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это было так, тогда на заставах были бы караулы и по несколько тысяч карет, колясок и повозок во все стороны не выезжали. А я рад, что барыни и купеческия жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей; но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, которые при женщинах в будущее отправились без возврата. Если по их есть опасность, то непристойно; а если нет ее, то стыдно. Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 000 войска славнаго, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный воевода русских сил и надо всеми начальник; у него, сзади неприятеля, генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 000 славнаго войска; генерал Милорадович

из Калуги пришел в Можайск с 36 000 пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками пешей и конной артиллерии. Граф Марков чрез три дни придет в Можайск с 24 000 нашей военной силы, а остальные 7000 — вслед за ним. В Москве, в Клину, в Завидове, в Подольске 14 000 пехоты. А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: «Ну, дружина московская, пойдем и мы!» И выдем 100 000 молодцов, возьмем Иверскую Божию Матерь да 150 душек и кончим дело все вместе. У неприятеля же своих и сволочи 150 000 человек, кормятся пареною рожью и лошадиным мясом. Вот что я думаю и вам объявляю, чтоб иные радовались, а другие успокоились, а больше еще тем, что и государь император на днях изволит прибыть в верную свою столицу. Прочитайте! Понять можно все, а толковать нечего.

17 августа

№ 8

От главнокомандующего в Москве. — По полученным мною известиям авангард стоит 13 верст перед Вязьмой. Главная квартира — в Вязьме. Неприятель стоит на одном месте. Отрядов от него нет. Корпус генерала Милорадовича весь на походе. Авангард его, из 8000 человек составленный, пошел сегодня из Можайска к Гжати под командою генерал-майора Вадковскаго. Прочия войска сего корпуса идут из Боровска и Вереи. Ополчение Тверское готово, и 13 000 человек с кавалериею под командою генерал-майора Тылова идут в Клин. Светлейший князь Кутузов прибыл вчера в Вязьму. Граф Витгенштейн занял Полоцк и действует далее; весь тот край очищен от проказы, и французов нет. Многие из жителей желают вооружиться, а оружия тысяч на десять есть в арсенале, которое куплено, и дешево, на Макарьевской ярмарке; всякое утро желающие могут покупать в арсенале ружья, пистолеты и сабли; цены тут означены; за это мне скажут спасибо, а осердятся одни из ружейнаго ряда; но воля их, Бог их простит!

18 августа

№ 9

Главная квартира между Гжати и Можайска. Наш авангард под Гжатью; место, нашими войсками занимае-

мое, есть прекрасное, и тут светлейший князь намерен дать баталию; теперь мы равны с неприятелем числом войск. Через два дни у нас еще прибудет 20 000; но наши войска — русские, одинаго закона, одинаго царя, защищают церковь Божию, дома, жен, детей и погосты, где лежат отцы наши. Неприятели же дерутся за хлеб, умирают на разбое; если они раз проиграют баталию, то все разбредутся, и поминай как звали! Вы знаете, что я знаю все, что в Москве делается; а что было вчера — не хорошо, и побранить есть за что: два немца пришли деньги менять, а народ их катать; один чуть ли не умер. Вздумали, что будто шпионы; а для этого допросить должно: это мое дело. А вы знаете, что я не спущу и своему брату — русскому. И что за диковина ста человекам прибить костяного француза или в парике окуренного немца. Охота руки мартать! И кто на это пускается, тот при случае за себя не постоит. Когда думаете, что шпион, ну, веди ко мне, а не бей и не делай нареkania русским; войски-то французския должно закопать, а не шушерам глаза подбивать. Сюда раненых привезено; они лежат в Головинском дворце; я их смотрел, напоил, накормил и спать положил. Вишь, они за вас дрались; не оставьте их, посетите и поговорите. Вы и колодников кормите, а это государевы верные слуги и наши друзья. Как им не помочь!

20 августа

№ 10

От главнокомандующего в Москве. — Здесь мне поручено от государя было сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят: и по ветру, и против ветра; а что от него будет, узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтоб вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели. Генерал Платов, по приказанию государя и думая, что его императорское величество уже в Москве, приехал сюда прямо ко мне и едет после обеда обратно в армию и поспеет к баталии, чтоб там петь благодарной молебен и «Тебя, Бога, хвалим!».

22 августа

№ 11

Курьер, отправленный вчера в 10 часов вечера из армии, привез известие, что кроме перестрелки егерей ничего не произошло во весь день. В субботу французов хорошо попарили: видно, отдыхают. У князя Багратиона на левом фланге перед одной батареею сочтено больше 2000 убитых.

26 августа

№ 12

В полночь получил я следующее известие от его светлости, главнокомандующего армиями: вчерашняго числа (24-го), во втором часу пополудни неприятель в важных силах атаковал наш левый фланг, под командою князя Багратиона, и не только в чем-либо имел поверхность, но потерпел везде сильную потерю. Сражение продолжалось даже в ночи. Вторая кирасирская дивизия преимущественно отличалась своими атаками. Взяты пленные и 5 пушек. Армии наши стоят на том же месте, при деревне Бородине.

26 августа

№ 13

Два курьера, отправленные с места сражения, привезли от главнокомандующего армиями следующие известия: вчерашний день, 26-го, было весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощью Божиею русское войско не уступило в нем ни шагу, хотя неприятель с отчаянием действовал против него. Завтра надеюсь я, возлагая мое упование на Бога и на московскую святыню, с новыми силами с ним сразиться. Потеря неприятеля — неисчетная: Он отдал в приказе, чтобы в плен не брать (да и брать некого) и что французам должно победить или погибнуть. Когда сегодня, с помощью Божиею, он отражен еще раз будет, то злодей и злодеи его погибнут от голода, огня и меча. Я посылаю в армию 4000 человек здешних новых солдат, на 250 пушек снаряды, провианта. Православные, будьте спокойны! Кровь наших проливается за спасение отечества. Наша готова; если придет время, то мы подкрепим войска. Бог укрепит силы наши, и злодей положит кости свои в земле Русской.

27 августа

№ 14

Светлейший князь, чтоб скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему идут отсюда 48 пушек, с снарядами, а светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно; а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских, и деревенских; я клич кликну дни за два; а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра после обеда я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь к раненым. Там воду освятим: они скоро выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба.

30 августа

№ 15

Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество, не пустить злодея в Москву. Но должно пособить, и нам свое дело сделать. Грех тяжкий своих выдавать. Москва наша мать. Она вас поила, кормила и богатила. Я вас призываю именем Божией Матери на защиту храмов Господних, Москвы, земли Русской. Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие; возьмите только на три дни хлеба; идите со крестом; возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на Трех Горах; я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не отстанет! Вечная память, кто мертвый ляжет! Горе на страшном суде, кто отговариваться станет!

30 августа

№ 16

Я завтра рано еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. Станем и мы из них дух искоренять и этих гостей

к черту отправлять. Я приеду назад к обеду, и примемся за дело: отделаем, доделаем и злодеев отделаем.

31 августа

№ 17

Крестьяне, жители Московской губернии! Враг рода человеческого, наказание Божие за грехи наши, дьявольское наваждение, злой француз взошел в Москву: предал ее мечу, пламени; ограбил храмы Божии; осквернил алтари непотребствами, сосуды пьянством, посмешищем; надевал ризы вместо попон; посорвал оклады, венцы со святых икон; поставил лошадей в церкви православной веры нашей, разграбил дома, имущества; наругался над женами, дочерьми, детьми малолетними; осквернил кладбища и, до второго пришествия, тронул из земли кости покойников, предков наших родителей; заловил, кого мог, и заставил таскать, вместо лошадей, им краденое; морит наших с голоду; а теперь как самому пришло есть нечего, то пустил своих ратников, как лютых зверей, пожирать и вокруг Москвы, и вздумал ласкою сзывать вас на торги, мастеров на промысел, обещая порядок, защиту всякому. Ужли вы, православные, верные слуги царя нашего, кормилицы матушки, каменной Москвы, на его слова положитесь и дадитесь в обман врагу лютому, злодею кровожадному? Отымет он у вас последнюю кроху, и придет вам умирать голодною смертию; проведет он вас посулами, а коли деньги даст, то фальшивые; с ними ж будет вам беда. Оставайтесь, братцы, покорными христианскими воинами Божией Матери, не слушайте пустых слов! Почитайте начальников и помещиков; они ваши защитники, помощники, готовы вас одеть, обути, кормить и поить. Истребим достальную силу неприятельскую, погребем их на Святой Руси, станем бить, где ни встренутся. Уж мало их и осталось, а нас сорок миллионов людей, слетаются со всех сторон, как стада орлиныя. Истребим гадину заморскую и предадим тела их волкам, вороньям; а Москва опять украсится; покажутся золотые верхи, дома каменные; навалит народ со всех сторон. Пожалеет ли отец наш, Александр Павлович, миллионов рублей на выстройку каменной Москвы, где он мирром помазался, короновался царским венцом? Он надеется на Бога всеильного, на Бога Русской земли, на народ ему подданный, богатырского сердца молодецкого. Он один — помазанник его, и мы присягали

ему в верности. Он отец, мы дети его, а злодей француз — некрещеный враг. Он готов продать и душу свою; уж был он и туркою, в Египте обасурманился, ограбил Москву, пустил нагих, босых, а теперь ласкается и говорит, что не быть грабежу, а все взято им, собакою, и все впрок не пойдет. Отольются волку лютому слезы горькия. Еще недельки две, так кричать «пардон», а вы будто не слышите. Уж им один конец: съедят все, как саранча, и станут стенью, мертвецами непогребенными; куда ни придут, тут и вали их живых и мертвых в могилу глубокую. Солдаты русские помогут вам; который побежит, того казаки добьют; а вы не робейте, братцы удалые, дружина московская, и где удастся поблизости, истребляйте сволочь мерзкую, нечистую гадину, и тогда к царю в Москву явитесь и делами похвалитесь. Он вас опять восстановит по-прежнему, и вы будете припеваючи жить по-старому. А кто из вас злодея послушается и к французу преклонится, тот недостойный сын отеческой, отступник закона Божия, преступник государя своего, отдает себя на суд и поругание; а душе его быть в аду с злодеями и гореть в огне, как горела наша мать Москва.

20 сентября

№ 18

Крестьянам Московской губернии.— По возвращении моем в Москву узнал я, что вы, недовольны быв тем, что ездили и таскали, что попало на пепелище, еще вздумали грабить дома господ своих по деревням и выходить из послушания. Уже многих зачинщиков привезли сюда. Неужели вам хочется попасть в беду? Славное сделали вы дело, что не поддались Бонапарте, и от этого он околевал с голоду в Москве, а теперь околевает с холоду на дороге, бежит, не оглядываясь, и армии его живой не приходится; покойников французских никто не подвезет до их дому. Ну, так Бонапарта не слушались, а теперь слушаетесь какого-нибудь домашняго вора. Ведь опять и капитан-исправники и заседатели везде есть на месте. Гей, ребята! Живите смирно да честно; а то дураки, забиячные головы, кричат: «Батюшка, не будем!»

20 октября

№ 19

Главнокомандующий в Москве, генерал от инфантерии и кавалер гр. Ростопчин, объявляет, что во исполнение высочайшего его императорского Величества рескрипта от 11-го ноября, для подания всевозможной помощи пострадавшим жителям московским, на первый случай учреждается в Приказе Общественного призрения особенное отделение, в которое будут принимать всех тех, кои лишены домов своих и пропитания; а для тех, кои имеют пристанище и не пожелают войти в дом призрения, назначается на содержание: чиновных по 25, а разночинцев по 15 коп. в день на каждого, что и будет выдаваться еженедельно по воскресным дням в тех частях, в коих кто из нуждающихся имеет жительство, по билетам за подписанием господина главнокомандующего в Москве; на получение же билета должно представить свидетельство частного пристава, что действительно лишились имущества, с означением числа особ, составляющих семейства, и находящихся служителей.

27 ноября

№ 20

По дошедшим до меня слухам, в разных местах думают, говорят, а иные и верят; что в Москве есть заразительные болезни. Доказательством, что их не было и нет, служит проезд ежедневно множества здешних жителей, занимающихся: иные поправлением, другие построением домов, коих число простирается до 70 000 человек. Уже выстроено до 3000 лавок, в коих торгуют, и на торгах нет проезду. Поставя обязанностью известить о сем всеместно, надеюсь, что Москва паки признана будет здоровым городом, а сим кончатся нелепые слухи, распространенные легковерием и выпущенные первоначально за заставу каким-либо лжецом, трусливым болтуном или из ума выжившим стариком.

25 декабря



МОИ ЗАПИСКИ, НАПИСАННЫЕ В ДЕСЯТЬ МИНУТ, ИЛИ Я САМ БЕЗ ПРИКРАС

Глава I. *Мое рождение*

В 1765 г., 12 марта я вышел из тьмы и появился на Божий свет. Меня смерили, взвесили, окрестили. Я родился, не ведая зачем, а мои родители благодарили Бога, не зная за что.

Глава II. *Мое воспитание*

Меня учили всевозможным вещам и языкам. Будучи нахалом и шарлатаном, мне удавалось иногда прослыть за ученого. Моя голова обратилась в разрозненную библиотеку, от которой у меня сохранился ключ.

Глава III. *Мои страдания*

Меня мучили учителя, шившие мне узкое платье, женщины, честолюбие, бесполезные сожаления, государи и воспоминания.

Глава IV. *Лишения*

Я был лишен трех великих радостей рода человеческого: кражи, обжорства и гордости.

Глава V. *Памятные эпохи*

В тридцать лет я отказался от танцев, в сорок перестал нравиться прекрасному полу, в пятьдесят — обществен-

ному мнению, в шестьдесят перестал думать и обратился в истинного мудреца или эгоиста, что одно и то же.

Глава VI. Духовный облик

Я был упрям как мул, капризен как кокетка, весел как ребенок, ленив как сурок, деятелен как Бонапарт, — все как вздувается.

Глава VII. Важное решение

Никогда не обладая умением владеть своим лицом, я давал волю языку и усвоил дурную привычку думать вслух. Это доставило мне несколько приятных минут и много врагов.

Глава VIII. Что из меня вышло и что могло выйти

Я был очень признателен за дружбу, доверие, и, если бы родился в золотой век, из меня, может быть, вышел бы человек вполне хороший.

Глава IX. Почтенные правила

Я никогда не вмешивался ни в какую свадьбу, ни в какую сплетню. Никому не рекомендовал ни поваров, ни докторов, следовательно, никогда не посягал ни на чью жизнь.

Глава X. Мои вкусы

Я любил тесный кружок, близких людей, прогулки по лесу. Питал к солнцу чувство невольного боготворения и часто огорчался его закату. Из цветов больше любил голубой, из еды предпочитал говядину под хреном, из напитков — чистую воду, из зрелищ — комедию и фарс, в мужчинах и женщинах — лица открытые и выразительные. Горбатые обоего пола обладали в моих глазах привлекательностью, для меня самого необъяснимой.

Глава XI. Антипатии

Я не любил глупцов и негодяев, женщин — интриганок, разыгрывающих роль добродетели; на меня неприятно действовала неестественность, я чувствовал жалость к накрашенным мужчинам и намазанным женщинам, отвращение к крысам, ликерам, метафизике, ревеню; ужас — перед правосудием и бешеными животными.

Глава XII. Разбор моей жизни

Я ожидаю смерти без боязни и без нетерпения. Моя

жизнь была плохой мелодрамой с роскошной обстановкой, где я играл героев, тиранов, влюбленных, благородных отцов, но никогда лакеев.

Глава XIII. *Награды небесные*

Мое великое счастье заключается в независимости от трех лиц, властвующих над Европой. Так как я достаточно богат, не у дел и довольно равнодушен к музыке, то мне нечего делить с Ротшильдом, Меттернихом и Россини.

Глава XIV. *Моя эпитафия.*

Здесь нашел себе покой,
С пресыщенной душой,
С сердцем истомленным,
С телом изнуренным,
Старик, переселившийся сюда.
До свиданья, господа!

Глава XV. *Посвящение публике*

Чертова публика! Нестройный орган страстей, ты, возносящая до небес и втоптывающая в грязь, восхваляющая и осуждающая, сама не зная почему; безрассудный тиран, бежавший из сумасшедшего дома, экстракт ядов, самых тонких ароматов, самых благоуханных, представитель дьявола при роде человеческого, фурия в образе христианского милосердия. Публика, которую я боялся в молодости, уважал в зрелом возрасте и презираю в старости, тебе я посвящаю свои записки. Милая публика! Наконец-то я для тебя недосыгаем, потому что умер и поэтому глух, слеп и нем. Да выпадут на твой удел эти блага, для успокоения твоего и всего рода человеческого.



ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК 1815 ГОДА

Итак, мне надо было ехать, доктора посылали меня на воды. Это последнее средство гиппократов и последняя надежда больных. Я не был опасно болен, но целый год и семь месяцев не был здоров. Я ни с кем не прощался. Грустно прощаться с людьми, которых любишь; всегда хочется прибавить: до свидания в другом мире. Умереть всегда возможно, и потому естественно всякий раз делать такие пожелания. Мне тяжело было уезжать; кто знает мою жену, тот легко это поймет. Насчет детей я был спокоен: они оставались с матерью, которая была их руководителем, их хранителем, их образцом и их заступником перед Престолом Всевышнего. Печально сошел я с лестницы и простился с домом. Я не люблю проводов. Они похожи на какую-то процессию. Садясь в карету, я вспомнил слова, сказанные мне князем А. К. в последний раз, что я его видел: «Я надеюсь, что другой климат, разнообразие впечатлений и дорожные развлечения возвратят вам здоровье, которое столько же необходимо для частной жизни, как и для жизни общественной».

Сколько миллионов зарыто на петергофской дороге, и все для того, чтоб доставить возможность днем прогуливаться по болотам, а ночью заражаться лихорадкой! Вплоть до Стрельни дорога как бы один пригород. Большая часть домов уже не принадлежат знатым родам и служат местом отдохновения купцов, которые лучше дворян ведут свои дела. Покуда у дворянина осталось что-нибудь непроданное, он думает, что у него достаточно

денег на расходы. Дорогу в Стрельну я знаю 30 лет, и сколько на ней воспоминаний! Я не узнаю сам себя. Здесь ездил я танцевать, вздыхать, блистать умом, делать глупости. Теперь дорога эта имеет для меня разве ту цену, что, едучи по ней, я убеждаюсь, что у меня есть память.

Я лучше люблю Стрельну, чем Петергоф. Вид моря прикрыт лесистою горою, сад прекрасен и расположен по плану Ленотра. Версальский сад часто служил образцом для других садов, так же как и с этикетом двора Людовика XIV сообразовались этикетки других дворов. Стрельна приняла военный характер после возобновлений, сделанных великим князем Константином. Я слышал звук трубы; это самый неприятный звук для моего слуха. Он напоминает и падение стен Иерихонских, и последний суд, на который с сотворения мира очень немногие могут явиться без страха.

На второй станции я встретил генерала О., который требовал 12 лошадей. Ямщики и форейторы разбежались. Мы побеседовали немного. О. пошел спать; я отправился в конюшню, взял шестерку лошадей; ямщики возвратились, и я поехал. Понятно, что я заплатил. О, если б сим презренным металлом или его представителем, ассигнациями, подкупали одних ямщиков!

Со мною был камердинер, белый, глупый, как скот, но добрый малый. Другой мой слуга был негр, глуп так, как мой камердинер. Он ходил с ума и воображал, что вылечился; все, что видел во сне, он считал за существование. Одна из самых лучших его историй была о пауке, которого один колдун во Франции вселил в него, и паук жил в нем привольно и даже ткал в нем паутину. Если бы колдун имел сострадание к пауку, он всадил бы в моего негра несколько тысяч мух.

Камердинер мой, увидя море близ Нарвы, сказал: «Вот, ваше сиятельство, говорят, что много морей, а все это то же, что в Петербурге на конце Английской набережной». Когда я спросил его, почему он может узнать это море, он отвечал мне с уверенностью: «Потому что не вижу другого берега».



Ямбург среди болот. Это замо́к лягушачий. Удивительно, как императрица Елизавета, которая так любила лягушечье кваканье и населяла лягушками пруды своих резиденций, не избрала Ямбу́рга для своего летнего местопребывания.

Господи! Сколько камней и скал в окрестностях Нарвы. Если б суждено было Девкалиону снова явиться и произвести новую породу людей, его следовало бы послать в Нарву: здесь ему стоило бы только нагнуться. Если сие сбудется, то надлежит желать, чтоб новая порода была лучше нашей. Камни как бы ждут; они придают всему краю вид кладбища. Особенно большие скалы ждут надписей; вырезав на них надписи, можно смутить всех антиквариев. Мне было очень досадно, что были украдены древние бюсты, найденные в окрестностях Тосны и посланные княгинею Дашковою в Москву. Какая находка для ученых, любителей иероглифов! Сколько можно делать предположений, систем, диспутов! Эти украденные бюсты могли бы изменить всю географию, всю историю древних. Тацит мог бы прослыть невеждою.

Выезжая из Нарвы, едешь близ моря в продолжение получаса. Этого слишком достаточно, чтоб утомить взор. Безграничность эта тяготит мой ум, поглощает все мои мысли. Достаточно одного моря, чтоб взывать к неверующему: «Господь, создатель моря! Нечестивец, познай Творца и пади пред ним».

Какая подлая страна Эстляндия по дороге к Риге: болота, озера с заплесневою водою, жалкий лес, сосновый и еловый, изредка береза; поля покрыты камнями, которые мешают растительности. И сколько пролитой крови, чтоб отвоевать ее у Швеции! Петр I любил соленую воду и морские берега. Он хотел распространить свои владения на суше, чтоб поцарствовать немного на море. Не будем его обвинять. Ему легко простишь, когда подумаешь, сколько от сотворения мира погибло людей от войн: все европейские большие дороги с обеих сторон можно бы уставить убитыми воинами.

Надобно проститься с красивыми русскими лицами, с бородачами, которые художникам могли бы служить образцами для изображений Юпитеров, Геркулесов, греческих философов, римских консулов и всех этих господ

древности, несправедливо прозванных полубогами за то, что они были или разбойники или шарлатаны.

У русских и у немцев три рода: мужской, женский и средний. В Эстляндии преобладает средний род. Здесь невозможно отличить мужчины от женщины: то же безобразие, то же уродство, то же выражение глупости. Край, вероятно, мало населен; ибо я уверен, что заключалось по ошибке много браков между лицами одного пола. Это страна, в которой всего менее очарований, и наружность здесь не пленительна.

Как хороши окрестности Дерпта! Виды начинают быть разнообразны. По сторонам дороги прекрасные поля, прекрасная обработка. Вдали фермы, усадьбы. Леса вычищены. Среди полей оставлено несколько деревьев, чтоб доставить тень работникам. Все житницы и сараи строятся прочно и красиво. Стены из глины, и прежде чем она высохнет, в нее вклеивают куски гранита серого и красноватого цвета, прибавляя черных кремней; издали все вместе похоже на мозаику. Лифляндцы называют эту часть губернии Швейцарией, хотя здесь нет таких гор, как Альпы, ни такого озера, как Женевское. Чего я не могу простить помещикам и фермерам — это скверную породу скота. На это нет извинений. Лифляндия населена уже века. Достаточно 25 лет, чтоб улучшить самую худшую породу скота, лошадей, коров и овец.

Дерпт маленький красивый город; чрезвычайно живописные окрестности очень украшают его. Ему чрезвычайно выгоден Университет, ибо от 300 студентов ежегодно обращается до пятисот тысяч рублей. Бывают столкновения между русскими и немцами; недавно двое поплались жизнью. Профессоры все немцы, за исключением одного. Это француз Паррот, знаменитый своими революционными мнениями. Библиотека в 30 000 томов занимает часть огромного готического здания, которое в XIII в. было церковью. Для обсерватории хорошо выбрано место. Есть клиника, но в нее принимают мало больных. Я видел двух весьма интересных: молодую девушку, которой отняли обе ноги, и столяра, которому отрезали одну. Он был в очень веселом духе и говорил, что первая его работа будет отличная деревянная нога, которая переживет его. Дерпт славится в Лифляндии хорошим вкусом и тоном и подобно Парижу снабжает край модами. Богатые помещи-

ки проводят здесь зиму, имея в городе собственные дома; но немецкие предрассудки относительно знатности рода мешают общительности: одни боятся унижить себя, другие потерпеть унижение.

Взбираясь на гору, я услышал в одно время пение жаворонка и соловья. Я люблю жаворонков; их песнь переносит нас в деревню, в поле, в чистую атмосферу, не зараженную дыханием порочных людей и испарением, исходящим из развратных тел. Соловья я никогда не любил. Мне кажется, что я слышу московскую барыню, которая стонет, плачет и просит, чтоб возвратили ей ее вещи, пропавшие во время разгрома Москвы в 1812 г. Филомела мифологии воспевала свои страдания, свою тоску и любовь. Филомелы Москвы стонут, чтоб излить свою желчь и свою хандру.

На второй станции я увидел дуб, старый, одинокий, посреди кустарников. Я заметил, что он был без потомства, и мне стало грустно. Я питаю слабость ко львам, орлам, дубам, ибо им приписываются в их природе некоторого рода царственные свойства. Дуб, за исключением разве только того обстоятельства, что требует много питательных соков и потому истощает соседей, был бы из лучших владык в мире. Он господствует над своими подданными, прикрывает их своею тенью, защищает от ветров и на одного себя притягивает удары молнии.

Я читал в одном плохом романе «Француз, искатель приключений», что герой упал в пропасть и там среди неизвестного народа нашел одного своего соотечественника. Удивленный этою встречею, он спросил своего земляка, как попал он сюда, и получил в ответ: «Я француз, а мы везде». Посему я нисколько не удивился, когда на одной станции нашел станционным смотрителем Рено, бывшего прежде камердинером кн. Гагарина. Он женился на лифляндке, имеет маленькую библиотеку, но читать не умеет. Полагаю, что он жалеет, что не был прежде поваром, ибо кушанья у него плохи.

Вольмар хорошенький городок, окруженный прекрасными полями и загородными домами. Дом Левенштерна очень красив. Здесь женщины носят мужские шляпы, надевая их сверх маленького чепчика.

Мне нечего сказать об Риге, где прекрасная река, о Митаве, где почти нет воды; о песках Лифляндии, об Курляндии. Чем дальше едешь, все больше находишь Германию в России. Воздух чист, иногда вода чиста, дома никогда, ибо пропитаны табачным запахом.

При въезде в Пруссию нет ничего замечательного. На русской границе офицер спросил мою фамилию и, узнав, сказал: «Хорошо, поезжайте!» У прусской заставы тот же вопрос от старика; и, получив тот же ответ, он стал просить меня о моем благорасположении. Ему хотелось денег; я пожелал ему доброго здоровья.

Окрестности Мемеля густо населены, и страна вокруг хорошо обработана. Близ города я увидел народ, собравшийся погулять, и большую повозку, на которой два музыканта играли на скрипке. Бал, вероятно, должен был начаться. Мне не хотелось его открывать, и я проехал мимо.

Мемель, небольшой город, ведет значительную торговлю по Неману; корабли пристают в виду города, выгружаются и нагружаются. Войска нет: все ушли против беглеца с острова Эльбы. Все часовые из милиции, называемой ландвер; у них серые шинели и на голове фуражка с крестом, как у наших ратников 1812 года. Комендант — подполковник; я видел, как он прогуливался по улице в военном сюртуке, черных панталонах и башмаках. Во времена Фридриха Великого он потерял бы свое место; во времена Фридриха Вильгельма I его посадили бы в крепость.

Неман, конечно, с версту шириною; я переезжал его на большом пароме, на который была поставлена моя карета, и нас высадили на песок. По этой бесплодной равнине, где и травки не растет, нужно ехать 13 с половиною немецких миль, т. е. 95 верст. Я заметил, что поверхность этого песчаного моря похожа на наши снега. Ветер гонит песок, сносит его в кучи, и оттого борозды и неровности, как зимою в наших степях. Со мною не случилось ничего необыкновенного, разве то, что на одной станции, чтоб подняться на гору, смотритель запряг весь свой табун; в числе восьми лошадей, которых он заставил меня взять, были две кобылы с жеребятами. Чтоб облегчить для лошадей дорогу, едут так, что одно колесо идет в воде, когда

волнение не слишком сильно. От скуки я воображал, что одно колесо в Европе, другое в Африке.

За две станции от Кенигсберга страна становится обработанною. Она густо населена, богата, красива. Везде видны фермы, фабрики, прекрасные поля, липовые рощи. В Кенигсберге все есть, что нужно для большого и цветущего города; в нем 60 000 жителей, порт, река, по которой корабли доходят до магазинов. Большая часть магазинов в пригородах. Дома высокие, старинной архитектуры. Часто перед домами растут прекрасные липы и доставляют во время жаров благодетельную прохладу. В одном из пригородов есть прекрасное место для гуляний, но гуляющих видно немного; кажется, что жители не любят прогулок и свежего воздуха, ибо воздух в городе заражен узкими улицами, грязными и сырыми мостовыми; мостовые самые отвратительные. Женщины одеваются нарядно и изысканно, даже в низших классах. Особенно детей водят весьма опрятно, и много очень красивых детей. Так как оспа прививается здесь уже десять лет, то рябых лиц не видно. Мужчины в одежде подражают военным русским, остальные англичанам. Я заметил большую перемену в одежде крестьян: трехугольных шляп уже больше не видно. Экипажи — по большей части хорошенькие кареты и линейки. В них есть места для восьми человек, и в них ездят за город.

Уверяют, что пребывание французов развратило нравы; это естественное того последствие. Француз начинает тем, что всякую женщину уверяет, что она прелестна, что он влюблен в нее; а все немки весьма готовы быть Шарлоттами Вертер, Каролинами Лихтфильд и проч. Я познакомился здесь с директором почт г. Мадвейсом. Это человек образованный; раздавая и читая газеты, он стал понимать политику. Жена его, 60-летняя женщина в светлом парике, проповедует страшную ненависть к французам и желает, чтоб их всех зажарили. В Кенигсберге все щеголяют патриотизмом, говорят только по-немецки, дети носят деревянные сабли. Я осматривал обсерваторию, где не так много инструментов, но откуда прелестный вид на окрестность; я позавидовал квартире директора. Он согласился с моим замечанием, что недовольно обращено внимания на уяснение морякам астрономии, их единственной путеводительницы. В ботаническом саду прекрасное собрание растений, особенно кустов из Новой Голландии. Я узнал

от профессора ботаники, что у всех новоголландских растений листья острые и согнутые вверх.

Немцы чрезвычайно наивны своими вопросами. Жена одного генерала спрашивала меня, отчего государь дурно живет с государынею? Один господин желал знать, франкмасоны ли особы царского дома; другой, почему Бонапарту дали уйти под Березиною. Вообще они очень любят императора, но дурно расположены к великому князю Константину; и это потому, что он не щадил почтовых извозчиков и загнал много лошадей.

Жизнь в Кенигсберге очень дорога: платят пошлину за все, что ввозят в город. Фунт мяса стоит 70 копеек, курица от 2-х до 3-х руб., гусь от шести до семи. Очень много вступает охотников в армию; повышения и награды, розданные за прошедшую войну, прельщают юношей надеть мундир. Даже жида становятся под ружье; смешно видеть, что и у них крест на фуражке. Непотребные женщины, записанные в полиции, обязаны ежемесячно платить по одному тал. на содержание госпиталя для зараженных известною болезнью. Таким образом эти несчастные создания наперед уплачивают и за себя, и за других. Управление вообще весьма просто. Есть только одна палата, и для финансов, и для юстиции. Последняя война и новые наборы до того умалили число жителей, что недостает рук для сельских работ.

У немцев очень много добродушия в сердце и грубости в звуках языка. Это как бы дурно положенная на ноты ария, которую следовало бы переложить на другой тон. Одно что неприятно, это их страсть выпрашивать денег за все и нищенствовать. Подайте на улице что-нибудь бедному — к вам сейчас начнут приставать люди, которые и не думали просить милостыни, но которые увлечены примером. Впрочем, это выгодный и трогающий промысел.

Меня сейчас испугали. Я сидел и писал и не заметил, как вошла женщина колоссального роста с огненными волосами; она подошла ко мне, поцеловала меня в плечо и выпросила два гроша. Это была служанка при кухне.

Жена князя Г... оставалась целый месяц в Кенигсберге, жила почти за городом, покупала все, что ей приносили, и все ждала, что к ней приедут с визитами. Она думала,

что имеет право требовать визитов как родственница императора, и угрожала пруссакам войною с Россиею, как справедливым наказанием за недостаточное уважение к ее великой особе.

Доктор Фишер сказывал мне, что невозможно вообразить бедственное состояние, в котором была французская армия при отступлении. Саксонский генерал Тильман оставался в шинели, ибо не имел панталон. Мороз оставил на всех свои следы. У двоюродного брата маршала Даву генерала Бонпри были отморожены обе руки и обе ноги; ему пришлось их отнять, и его отправили в Эльбинг, наняв карету за 50 тал; вероятно, он умер дорогою. Солдаты и офицеры, которые еще могли идти, несли на себе вещи, снятые с товарищей, замерзших на дороге. Он видел, что продавали священные сосуды. Экипажи Наполеона были ограблены, и часть походной посуды с вензелем была куплена одним из здешних богатых негоциантов, который хранит их как предметы любопытные. Больные умирали почти все от истощения сил. Генералы и офицеры были взбешены против Бонапарта; но солдаты мечтали только об отмщении и уверяли, что зима была сверхъестественно холодна. Так как они не хотели признать, что зима в России в порядке вещей, то могли почитать ее небесным наказанием.

Женщины, несколько зажиточные, носят в одной руке корзинку или мешок с работою, в другой зонтик. Меня всего более поражает неторопливость движений: видно, что каждый вполне измерил и время, и расстояние. Городские часы отлично верны: трое бьют в одно время, но четвертые шли вперед, и на вопрос мой, отчего это, содержатель гостиницы отвечал: «Это часы еще новые». Он предполагает в часах быстроту молодости, и по его системе столетние часы будут в полночь показывать полдень.

Пруссак с виду переменялись, и, к сожалению, я нашел, что они стали похожи на французов; я говорю, и военных. По несчастью, это подражание доказывает, до какой степени Бонапарт овладел всеми умами. Все армии, которые он разбивал, принимали более или менее французский военный костюм, и случалось даже, что неприятелей принимали за своих. Что же касается до нас, то если у нас когда-либо будет война с пруссаками, то не знаю, как будут отличать неприятеля от наших, коль скоро

мундиры останутся те же. Разница цвета не много значит: и темно-синий и темно-зеленый через короткое время становятся черными.

Вот в чем главное зло Французской революции. Век Людовика XIV способствовал ее расширению, распространив язык, который сделался везде языком хорошего общества. Победоносные походы французских войск по Италии и Германии ввели в этих странах их образ жизни и вместе их развращение, следствие французской любезности и французских денег, которые они расточали повсюду. Класс купцов и мещан офранцузился, и теперь, когда уже целые пять лет вся Европа под ружьем, начинает развращаться класс самый стойкий в своих обычаях, самый крепкий в нравах; я разумею здесь крестьян. Послужив вместе с французами или против них, они стали подражать их обычаям, получили вкус к грабежу, презрение к своему прежнему занятию. Французский язык — нравственная чума рода человеческого, и как бы нарочно его стараются всюду вводить. Если вся Европа сделается Франциею, она станет пустынею через какие-нибудь 50 лет. Последний из ее обитателей будет принужден бежать в какую-нибудь другую часть света, и там хорошо сделают, если его запрут в дом сумасшедших.

Какая почтовая езда! Никогда немец, почтовый извозчик, будь он молод до безумия, пьян или влюблен, не проедет в час, по хорошей дороге, более одной мили. Запрягают теперь немного скорее, чем прежде; но зато ввелся другой убийственный обычай: если, по несчастью, едешь после обеда в воскресенье, почтовый извозчик отыщет всюду, где пирушка с музыкою и где пляшут. Мой почтарь, к довершению беды, был Вестрис той местности, и мне пришлось ждать, покуда он не провальсировал со всеми девицами селения. Вальсирующий не может прекратить, когда есть хотя одна желающая повальсировать.

Еще француз! Этот просил милостыни, уверяя, что он доходил только до Пилау и что предпочел остаться в Германии и нанялся конюхом, отказавшись от надежды быть маршалом, герцогом и проч. Плут этот из Бордо. У него есть отец, мать, сестры, но нет отечества. Он достойный член великой нации.

Нет никакого сомнения, что Балтийское море покрывало некогда всю страну от Мемеля до Берлина: вся поверхность плоская, песчаная. Грустно видеть эту бесплодную почву, и какая борьба жителей с природою! Несмотря на удобрения, поля приносят плохие урожаи: колос тощий! Есть много озер, которые были бы красивы, если б сосна и ель не бросались всюду в глаза. Это род кипариса, дерево смерти. Когда я проезжал близко сих озер, мне подумалось, что я должен переправиться через Мемфисское озеро и предстать на суд загробный.

Начиная от Мариенвердера, на протяжении 12 немецких миль, едешь католическою странюю. При въезде в деревни и на перепутьях везде стоят на высоких деревянных столбах статуи святых, осененные крестами. Я заметил, что жители гораздо учтивее своих соседей. Что это? Влияние ли религии, которую они исповедуют, или следствие бедности, их удручающей? Они говорят и по-немецки и по-польски; иные только по-польски, на своем родном языке.

На одной станции я оставался в продолжение часа, и все это время писарь, второе лицо станции, перед зеркальцем подвязывал свой галстук и убирал свой хохол: это было воскресенье, и господин этот готовился идти к обедне. Нет сомнения, что предметом его молитв был его галстук, на который он молил небо обратить взоры всех присутствующих.

Я видел одного станционного смотрителя, который 47 лет исполняет эту должность. Фридрих Великий назначил его начальником лошадей и извозчиков, которые возят несчастных путешественников.

Его супруга хотела меня насильно угостить. Я отказался от ее вишен, масла и кофею. Ну, сказала она, мой благоверный покушает это. Таким образом, сам того не желая, я угостил станционного смотрителя. Когда я заплатил, его половина так была восхищена моим великодушием, что сорвала розу и подарила мне.

У зажиточных начальников станций комнаты украшены портретами генералов. Везде можно видеть Блюхера, Клейста, Йорка, Гнейзенау; из наших Кутузова, Платова и Чернышева. Последний на гравюре пожалован в графы, и его портрет довольно сходен. На плечах у него мех, не

похожий на кожу немейского льва, и сам он не напоминает Геркулеса; но художник придал его лицу что-то романтическое, выражение ума и даже немного гениальности. Это видно из подписи. Платова можно узнать. Что же касается до Кутузова, на всех портретах он всегда похож на плута, никогда на спасителя.

Прекрасное и отлично содержанное шоссе начинается в 6 милях от Берлина; камень для щебенки дробится, но не пережигается, как у нас, и это должно быть прочнее. Аллея, ведущая к городу из лип, тополей и ив, красоты необыкновенной. На заставе уже не осматривают; чиновник, для проформы, подошел спросить, нет ли со мною товаров, за которые платится пошлина. Я остановился в гостинице «Россия», как 29 лет тому назад. В продолжение этого времени, довольно значительного правда, сколько вещей пришлось увидеть и мне, и Берлину! Проходят события и люди. Здания остаются, но беспощадное время и их разрушает.

Бонапарт разбит; его армии бегут; но я вижу, что народ все еще с виду недоволен.

Это не так скоро, сказал мне пруссак; нужно время, чтоб перейти к радости.

Король весьма любим за его любовь к правосудию, за его здравый смысл, за его честные нравы. Никто больше его не любит семейной жизни. Он так привязан ко всем членам своей семьи, что, когда умерла в Париже его побочная сестра, графиня Де Ла Марш, женщина дурного поведения, бывшая три раза замужем и оставившая двух дочерей, король взял их и воспитал на свой счет. У него нет ни к чему особенного пристрастия, разве к военному. Есть люди, которых он не любит, но которые за их способность и заслуги получили от него должности.

Область, присоединенная от Саксонии к Пруссии, богата лесами и солью; и то и другое дает в год до 600 000 тал. доходу. Граница была в 6 милях от Берлина; теперь в 6 милях от Дрездена. В окрестностях Дрездена почти незаметно следов войны. Есть несколько сгоревших домов, несколько домов, поврежденных ядрами; но крестьяне уже исправили свои заборы, насадили свои сады и возвратились к земледелию.

Земля в долинах, окружающих Дрезден, приносит чрезвычайно много; почва удобрена навозом, и плодородие уси-

лено. Две арки моста исправлены. Тут поставлен прекрасный крест, и на пьедестале надпись: «Мост взорван галлами в 1813 году, исправлен по повелению Императора Александра I».

Один из лучших в Европе, не только по выбору картин, но и по тому, как они сохраняются. В парижском музее много было испорчено, ибо покрывали слишком много лаком. В Петербурге портили картины, вытирая для чистки. В Дрездене время от времени слегка покрывают маслом, чтоб предохранить краски от действия воздуха. Больше всего поразила меня «Мадонна» Рафаэля, а из картин Фламандской школы «Суд Париса» Рубенса. Все фигуры, конечно, не идеальной красоты, ибо все фламандской породы; но окончательность работы, колорит тела, яркость красок выше всякой похвалы. Два пейзажа Рюисдаля: один изображающий издыхающего на охоте оленя, другой «Время все разрушающее»; видны могилы, здания, деревья — все в разрушении; небо серое, и в небе радуга. Картин Клод Лоррена и Пуссена мало, но много первоклассных произведений других мастеров. В галерее много работает живописцев, и стариков, и молодых; иные для того, чтобы выучиться, другие снимают копии на продажу.

Предместья Дрездена очень красивы, но в городе неприятно от слишком высоких домов и узких улиц. Кто живет в нижнем этаже, тому, чтоб увидеть солнце, погреться на солнце, надо идти за город или на площадь. Я удивился, что у хлебников на окнах выставлен в корзинах хлеб; проходящие берут, что угодно, и кладут деньги в корзину. Воровства не бывает.

От Дрездена до Теплице всего семь немецких миль, но едут от 12 до 15 часов. Дорога весьма гориста; с вершины каждой горы открывается вид, похожий один на другой, ибо формы гор не разнообразны и все они поросли лесом, от подошвы до самого верха. На возвратном пути из Теплице в Дрезден к четверке лошадей подпрягают четверню волов для того, чтоб подняться на гору Неллендорф. С этой-то горы генерал Вандам, полагая, что его преследуют два корпуса, спустился с 35 000 войска в долину, был разбит и взят в плен при Кульме. Если б прусский генерал Клейст довольствовался занятием высот Неллендорфа, весь корпус Вандама был бы уничтожен; но половине удалось пробиться сквозь русские войска. Бонапарт хотел занять Теплице, чтоб загородить союзникам

вход в Богемию; но Блюхер чрезвычайною поспешностью расстроил его планы: курьер, посланный к Вандаму с приказанием остановиться, был взят в плен. При генерале Вандаме был диплом, возводящий его в маршалы и помеченный Теплицем.

Вспомогательные волы — хитрость станционных смотрителей, и они делят деньги с крестьянами. Забавно, что кульмский начальник станции, чтоб предупредить всякие возражения со стороны путешественников, важно рассказывает вам, что сам Австрийский император ездит на волах и платит за них.

Какая чудовищная и отвратительная привычка постоянно курить! Сначала это поражает, а потом делается противно. Есть люди, которые никогда не расстанутся с трубкою; только смерть может расторгнуть их союз. Трубка делается частью лица, продолжением нижней губы. Привычка эта отравляет разговоры, гостиные и сады, зачумляет платья и атмосферу. Курильщики подобны маленьким ходящим вулканам; их уста — постоянно дымящиеся кратеры. В гористых странах они еще не так поражают; но в стране плоской они не на месте, как кит на колокольне, дуб посреди волн, Катон в Париже, госпожа Сталь среди кретинов, князь Куракин в полном мундире на крестьянском празднике. Но если привычка сильнее почтения к ближнему и должного уважения к прекрасному полу, если курильщики упорно превращают комнаты в камер-обскуры, загуманивают свет солнца и заставляют жить в облаках дыма, они должны были бы подумать, эти люди-саламандры, изрыгающие дым и пламя, эти электрические машины, зародыши пожаров, что в ту минуту, когда смерть погасит их жизнь и трубку, душа их явится на страшный суд, не светлая и не чистая, но грязная, вонючая, не как часть божества, но как часть прокопченного мяса.

НАДГРОБИЕ

Здесь лежат трубка и тело,
Неразлучные даже и по смерти.
По неизменному решению
Душа принадлежит дьяволу
И наперед была праведно осуждена
Сделаться дымовою трубою.

Покуда живешь в Теплице, делаешься более или менее амфибией или рыбой. Берут ванны, пьют воду, обливаются водою, садятся в грязь. Род человеческий положится в чанах; дальше видны лошади, которые купаются в реке, еще дальше свиньи: все ищут в воде исцеления от своих болезней.

Человек калечит лошадь; это благородное, послушное, полезное и несчастное животное изнемогает на службе человеку. Для человека также заставляют и свинью сидеть в горячей воде, чтоб она еще пожирнела и мясо ее сделалось бы приятнее для вкуса человека. А между тем, это двуногое создание, умирающее, еле дышащее, с явственною печатью смерти на челе, величается царем земли. О! если в один прекрасный день лошади, свиньи и другие животные возмутятся по примеру французов и провозгласят пресловутые права равенства и свободы, — как будет жить человеку? Лошадь перестанет тянуть соху, свинья доставлять ветчину. А покуда и владыка, и свинья купаются; человек насмехается над лошадью и свиньею; лошадь и свинья презирают человека. Все возмещается в сем мире: утешаешься в несчастии, забывая о нем или думая, что пришел конец бедствиям. Всему есть конец, и человеку, и лошади, и свинье. Когда конец наступит, смерть скажет: не существуй, и все кончено; но это не помешает, однако, купаться в одно время в Теплице человеку, лошади и свинье, ибо породы сии прекратятся вместе со всем миром. Я купаюсь тоже, ибо здоровье мое разрушено, и я тоже желаю разжиреть.

Красивенький город, где во время летнего сезона вод все дома отдаются внаймы. Больных и посетителей приезжает столько, что многие должны жить в соседних деревнях. Замок принца Клари, владельца Теплице, обширен; но в нем живет только его семейство. По вечерам у них собирается общество; к обеду заранее приглашаются один или двое; ежедневно вся семья играет в лапту. Когда иностранец приезжает в Теплице, звуки труб и кимвалов с высоты городской башни возвещают городу о его прибытии; вечером ему дают серенаду. Но должно платить и за духовую, и за другую музыку; ибо в сем мире даром ничего не делается. Хорошо, если можно отделаться деньгами; еще лучше, если есть деньги.

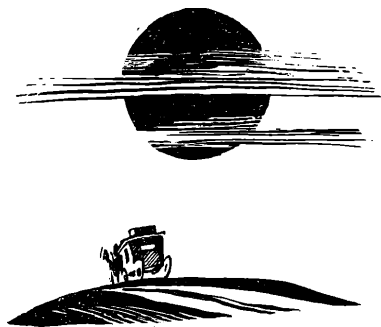
Общество почти не существует по двум причинам:

1) Ванны днем берут много часов; купаться начинают с

4 утра и до 2 вечера, и затруднительно найти свободную ванну. 2) Очень мало симпатии между австрийцами, пруссаками и саксонцами, а из них состоит большинство посетителей вод. Пруссаки презирают австрийцев и саксонцев и обращаются с ними с высоты своего величия. Австрийцы, с их внутрь вогнанною славою и с внешнею гордостью, завидуют пруссакам. Саксонцы ненавидят пруссаков за настоящее, боятся их в будущем, а в прошедшем не прощают им падения Бонапарта, которого любят и о котором жалеют.

Нигде так дурно не едят: сколько ни заказывай кушаний, плати вдвое, умоляй, старайся разжалобить, ничто не спасет тебя от шафрана и чесноку. Это два любимейшие снадобья жителей, два запаха им наиболее приятные. Когда содержателям гостиницы и поварам станешь говорить против сих отвратительных приправ, которые портят самую лучшую говядину и заражают воздух, они вам отвечают: «Но, впрочем, это так здорово!» Утверждают, что для каждого яда существует противоядие. Мне следует открыть антидот против шафрана и чеснока, ибо они решительно меня отравляют.

Антрепренер наймет дюжины две мужчин и женщин, которые называются актерами и актрисами, только потому, что пробовали на какой-нибудь сцене жестикулировать, говорить и кричать. Из них составляется труппа, и она без милосердия разыгрывает все наилучшие пьесы немецкого репертуара, начиная с «Оттона Вительбахского» до «Девы Дуная». Актеры почти ежедневно должны играть новую пьесу, не могут выучить ролей и повторяют за суфлером. Так же разыгрывают и распевают оперы; но чего я не могу им простить, это, что они в живых картинах представляли: Страсти Господни, Тайную вечерю, суд Пилата и лобное место.



ЗАПИСКИ О 1812 ГОДЕ

Четыре года, протекшие со времени Тильзитского мира, совершенно изгладили те прискорбные впечатления, которыми поражены были умы после последней войны. Перестали уже бояться и верить в возможность новых наступательных действий со стороны Наполеона. Публика, приняв на веру все, что могло льстить ее самолюбию, успокоивалась надеждами на силу империи, на отвагу войск и, в особенности, на отдаленность и климат России — две преграды, через которые Наполеон никогда не осмелится перешагнуть. Каждое отдельное лицо обладало своею системою обороны, своим планом охранения безопасности; в каждой семье имелся собственный герой, созданный чванством, враньем, легковерием и пристрастием к чудесному. Немного было людей, признававших, что все выгоды Тильзитского мира были на стороне Наполеона, так как он вынудил признать себя императором, предписывал законы Европе, возводил в звание королей, оставил прусскому королю один титул и, восторжествовав над второю коалициею, с двойным ореолом славы возвратился во Францию еще более могущественным, нежели ее оставил, питая враждебные замыслы против России, силу которой он испытал. Счастливая звезда спасла его. Он заключил Тильзитский мир в момент истощения своих ресурсов, когда стоял во главе армии силою всего в 70 т. человек и когда вся Европа подстерегала лишь минуту для довершения его гибели. Между тем Россия, полагая конец войне, имела подкрепления, которые, в течении трех месяцев, довели бы силу ее войск до 150 т. чел. Фридрихское сражение разрушило все предположения русских. Импе-

ратор российский хотел мира во что бы то ни стало. Генералы, недовольные своим начальником, утратили доверие к нему; а солдаты, утомленные нерешительной и несчастной войной, дрались неохотно. Сам Бенингсен, истомленный усталостью, вздыхал по отдыхе для того, чтобы изготовить историю своих подвигов и приказать выбить медаль с собственным изображением на одной стороне ее, а на другой — с надписью: «победитель непобедимого».

Наполеон, заключив мир в Тильзите, предоставил России нести бремя двух войн: со Швецией и с Турцией. Через год после этого он вызвал разрыв с Англией. Шведская война, к большому неудовольствию Наполеона, закончилась миром в Або, отдавшим России всю Финляндию с Аландскими островами и важной крепостью Свеаборг. Война с турками все продолжалась; при каждой кампании назначали нового главнокомандующего, но результатов никаких не достигали. Турецкие армии были разбиваемы всякий раз, когда они рисковали на бой в открытом поле; но, по приближении зимы, наши опять уходили за Дунай. Каждый новый главнокомандующий составлял новый план кампании, целью которой являлось заключение мира; а между тем в России, при конце каждого лета, изумлялись, не видя еще наших знамен в Константинополе, — потому что мы любили преувеличивать численность войск и уверять себя в том, что каждый генерал равен Суворову. Война с Англией не стоила нам ничего в отношении потери людей, но она уничтожила торговлю и на 270 процентов понизила цену ассигнаций. Произошло только одно морское сражение, близ Аландских островов, в котором из-за ошибки русского адмирала потерян был один корабль. Он был отрезан от эскадры, ни за что не хотел сдаться и дрался отчаянно. Англичане, забрав в плен немногих, оставшихся на нем людей, отослали их к русскому вице-адмиралу, а корабль зажгли.

Между тем обширные передвижения наполеоновских войск и слухи, возвещавшие близкую войну, снова подняли у нас ту тревогу, которую Тильзитский мир передал было государствам, соседним с Францией. Сознание безопасности уступило место беспокойству. Обращались друг к другу с расспросами, требовали известий; говорили:

«Что же Наполеон с ума, что ли, сошел? Покорить Россию, что ли, он хочет?» Публика волновалась, старалась проникнуть в будущее. Каждый день ложились спать утомленными, чтобы проснуться в беспокойстве.

В то же время правительство распространяло о наших

армиях преувеличенные сведения, судя по коим, они должны были с самого начала войны не только дать отпор намерениям противника, но и легко восторжествовать над ним. Старые бабы возопили и стали высказывать опасение, разделяемое и людьми разумными, относительно небезопасности пребывания в Москве, в виду могущих возникнуть беспорядков, мятежа и резни дворян. Мотивы этих опасений, несколько преждевременных, указывали на недостаток доверия к правителю города, фельдмаршалу Гудовичу. То был честнейший в мире человек, достигший фельдмаршальского звания благодаря тому, что всю жизнь провел на службе, не имевший за собой никакой военной репутации, необразованный, ограниченного ума, кичившийся своим чином и местом, вполне состоявший под властью и влиянием своего брата и своего врача — двух бесстыдных плутов, которые думали лишь об извлечении всевозможных выгод из того влияния, которое они имели на престарелого фельдмаршала.

При таком состоянии России накануне войны, долженствовавшей либо обеспечить за нею торжество, либо сковать ей цепи, я решился поехать в Петербург, чтобы предложить свои услуги государю, — не указывая и не выбирая какого-либо места или какой-нибудь должности, а с тем лишь, чтобы он дозволил мне состоять при его особе. Единственному сыну моему только что исполнилось 17 лет. Государь, приезжая в 1809 г. в Москву, был столь милостив, что назначил его камер-пажем. Я не хотел лишать его счастья служить, защищать свое отечество и гордиться этим весь остаток дней своих, если бы мы остались победителями, — или же погибнуть вместе, если бы мы были побеждены и покорены.

Государь принял меня очень хорошо. При первом свидании он мне долго говорил о том, что решился насмерть воевать с Наполеоном, что он полагается на отвагу своих войск и на верность своих подданных. Он принял предложение мое состоять при его особе. Сын мой произведен поручиком в гусары, и я оставался четыре недели в Петербурге, часто видя государя или за его обеденным столом, или в его кабинете.

Через пять дней после моего прибытия г. Сперанский, к великому изумлению всего общества, был выслан из столицы. Так как он пал жертвою темной интриги, никогда порядком не разъясненной, то исчезновение его подавало право предполагать, что открыта измена. Этот Сперанский был сыном сельского священника и учился в



Пушкинский кабинет ИРЛИ

семинарии. Одаренный большим умом и легкостью письменного изложения, он выработал себе такой слог, который обратил на него внимание. Состоя в звании секретаря, последовательно, при нескольких министрах юстиции, он, при восшествии на престол императора Александра, был возведен в статс-секретари и удостоен высочайшего доверия; ему поручено было редактировать новый кодекс, равно как все акты, указы и рескрипты, исходившие из кабинета государя. Когда его сослали в Нижний Новгород, он был уже тайным советником и кавалером ордена св. Александра Невского. Общество, которым он себя окружил, и явное покровительство, оказываемое им лицам своего сословия, навлекли на него ненависть дворянства, с удовольствием узнавшего о его падении. Низвержение его приписывали В. К. К. и кн. О.— да и меня заставили играть роль в этой истории — меня, который был одним из наиболее изумленных, когда узнал на другой день о его высылке. Я полагаю до сих пор, что Сперанский был удален по наговорам гг. Балашова и Армфельда, пожертвовавших им в удовлетворение мнимого общественного мнения. Оба названные господина, пользовавшиеся в эту эпоху большим доверием, хотели утвердиться еще более в своем положении, удалив соперника, опасного для них по своим способностям и по привычке государя к его работам. Между тем фактическое последствие злоязычия было, к несчастью, таково, что Сперанский прослыл за преступника, за предателя своего царя и отечества и что люди простого сословия заменяли его именем имя Мазепы, которое есть эпитет изменника.

По прошествии двух недель со времени моего прибытия в Петербург, который я должен был оставить через неделю, для отъезда в Москву, а оттуда в Вильну, в главную квартиру его величества, государь, после обеда, позвал меня в свой кабинет и, сказав несколько приветливых слов, предложил мне место московского генерал-губернатора, причем особенно напирал на важность этого поста при настоящих обстоятельствах и на пользу, доставляемую моей службой. Так как я вовсе не ожидал такого предложения, то стал говорить о трудностях, соединенных с этим местом, и, наконец, попросил перед тем, чтобы решиться, дать мне один день на размышление. Государь согласился на это.

В тот же день я видел В. К. К. и кн. О., который сказал мне, что государь накануне приезжал провести с ними вечер и выражал, что затрудняется в выборе преемника

фельдмаршалу Гудовичу, которого не хотел оставлять на занимаемом месте, по причине его старости и слабости. В. К., относившаяся ко мне всегда весьма добродушно и дружелюбно, назвала ему меня, и государь тотчас же решился и благодарил ее за эту мысль, которую назвал счастливою. Узнав, что я отказываюсь от этого поста, В. К. и кн. О. начали настаивать на принятии мною места, становящегося самым важным в России во время войны. В. К., будучи живого характера, даже немножко рассердилась, когда я заявил, что предпочел бы сопровождать императора в момент, когда всем благородным и честным людям следует быть около его особы. На другой день я отправился к государю, чтобы извиниться перед ним и просить о принятии во внимание причин, по которым я отказываюсь от места московского генерал-губернатора. Государь стал настаивать, наговорил мне кучу комплиментов, прибегнул к ласкательству, как то делают все люди, когда они нуждаются в ком-нибудь или желают чего-либо, а наконец, видя, что я плохо поддаюсь его желанию, прямо сказал: «Я того хочу». Это уже было приказанием, и я, повинувшись ему, уступил. Так как лица, которых считали нужными, в большинстве случаев ломались и, ничего еще не сделав, желали оценки их будущих трудов, просили денежных наград, лент, чинов и т. п., — то я взял на себя смелость потребовать от государя, чтобы мне лично ничего не было дано, так как я желал еще заслужить те милости, которыми августейший его родитель, в свое царствование, осыпал меня; но, с другой стороны, просил принимать во внимание мои представления в пользу служащих под моим начальством чиновников. Нет надобности говорить, что на просьбу эту последовало милостивое согласие, — так легко ничего не давать и не ломать головы над придумыванием, чем бы можно было удовлетворить того или другого человека, часто для того, чтобы сделать его неблагодарным.

В течение последних дней, проведенных мною в Петербурге, я два раза приходил работать с государем. Я представил ему на воззрение несколько имевшихся в виду перемен и проектов. Он все одобрил и ни за что не хотел давать мне особой инструкции. Место генерал-губернатора Москвы почти независимо. В руководство он должен принимать лишь правила управления, установленные в царствование императрицы Екатерины, где его обязанности, обстановка и власть приравнены были к таковым же у всех прочих генерал-губернаторов. Один лишь кн. Волконский, занимавший это место в эпоху Пугачевского бунта, имел

неограниченные полномочия, дарованные ему в силу обстоятельств; но, при назначении ему преемника, привилегия эта была отнята. Во время моего управления Москвою многие лица думали, и до сих пор думают, что у меня были подписанные государем бланки; но они ошибаются, так как государь никогда и никому таких не давал. И это в нем заслуживает похвалы; потому что сколько людей было, которые злоупотребляли своей властью, не имея на то предварительного согласия, через подпись государя. Между государем и мною условлено было, что назначение мое останется под секретом, до смены фельдмаршала Гудовича, хотя об этом ему уже намекали. Министр полиции Балашов, с разрешения государя, был об этом поставлен в известность. Мне надо было условиться с ним относительно формы сношений.

Перед отъездом своим государь издал указ, которым, во время его отсутствия, определялся образ управления империей. Он вверял оное комитету министров, а дела особой важности — другому, верховному комитету, где должны были заседать: фельдмаршал гр. Салтыков, кн. Лопухин и генер. Вязьмитинов, главнокомандующий петербургский, которому было поручено и министерство полиции, на время отсутствия Балашова, обязанного сопровождать государя в армию.

Набросаю портреты этих лиц, которые по месту, ими занимаемому, должны были управлять Россией в продолжение готовой начаться войны, исхода коей никто не мог предвидеть. Неприятель был грозен, силы у него исполнические, планы колоссальные; но Россия, предоставленная собственным средствам, обладала для борьбы с Наполеоном тремя весьма верными союзниками, то были: расстояние, обширность территории и климат.

Фельдмаршал гр. Салтыков, старый, болезненный, существующий лишь при помощи аптечных средств, — пользовался некоторого рода фавором в продолжение трех царствований сряду. При Екатерине он был вице-президентом военной коллегии и военным министром, и она вверила ему воспитание обоих своих внуков: Александра и Константина. При Павле он оставался военным министром. Он сопровождал его во время заграничного путешествия, в 1781 и 1782 гг., и был произведен в фельдмаршалы в день восшествия его на престол. При Александре он продолжал сохранять свои воспитательские права и хотя хорошо был известен своему воспитаннику, но постоянно поддерживал свое положение при помощи мелких интриг,

из которых умел извлекать пользу. Человек этот, будучи очень умным, обладая большими познаниями и привычкою к делам, оказывался совершенно бесполезным вследствие своего малодушия и фальшивости. Ни разу в жизни своей он не сказал «да» или «нет», и мнение его в делах равнялось нулю, так как он никогда одного не высказывал, а выработал себе непонятный образ выражений. Жадный к деньгам и скупой, он составил бы себе громадное состояние, если бы имел немного той энергии, которая нужна как великим героям, так и великим разбойникам.

Кн. Лопухин, дворянин старинного рода, очень бедный, оставил службу с чином полковника и женился где-то в провинции на довольно богатой наследнице. Императрица Екатерина осталась весьма довольна обер-полицеймейстером Архаровым, во время своего пребывания в Москве, куда она прибыла в 1775 г., для празднования Кучук-Кайнарджийского мира, и просила Архарова доставить ей кого-либо, кто походил бы на него в смысле усердия и деятельности. Лопухин, друг Архарова, указанный им императрице, тотчас же был опять взят на службу и назначен обер-полицеймейстером в Петербург. По производстве в генерал-майоры он назначен был гражданским губернатором в Москву, а когда достиг генерал-лейтенантского чина, получил место генерал-губернатора ярославского и вологодского, на котором и оставался до восшествия на престол Павла. Должность генерал-губернаторов была упразднена. Кн. Безбородко, сделавшийся помимо своей воли любовником г-жи Лопухиной, устроил назначение ее мужа сенатором в московские департаменты и испросил ему, во время коронации, орден св. Александра Невского. Император Павел, заметив одну из дочерей Лопухина, которая кокетничала с ним, вообразил себя влюбленным в нее и, чтобы иметь дочь около себя, вызвал отца в Петербург, назначил его генерал-прокурором, пожаловал ему голубую ленту, а когда прибыла остальная семья его, он подарил ему отличный дом, великолепный сервиз, имение, приносящее 200 000 дохода, возвел его в княжеское достоинство с титулом светлости, украсил его своим портретом,— все это в течение 9 месяцев. Но когда Лопухин замыслил сменить лиц, окружающих Павла, креатурами собственного выбора, то сломал себе шею, подал в отставку и, испытав равнодушие со стороны собственной дочери, стал проживать в Москве. В начале царствования императора Александра он поехал за границу, откуда его вызвали, чтобы снова быть министром юстиции. Это место

он занимал в продолжение пяти лет и окончил назначением в председатели Государственного совета. Трудно быть более способным, нежели этот человек. С обширным умом в нем соединяется глубокая прозорливость и умение легко работать. Он вкрадчив, льстив, притворно простодушен, большой любитель прекрасного пола, который пользуется у него крупным влиянием, ленив и фальшив до крайности. Ум, пороки и терпение этого человека поддерживали его кредит и доставили ему средства привязать к себе множество лиц, которым он оказывал услуги и на поведение которых глядел равнодушно.

Вязьмитинов, сын солдата, пробился в канцелярию фельдмаршала Чернышева, имевшего важную способность находить и формировать талантливых людей. Он сделался его адъютантом, а потом служил в армии. Служба была не блестящая, но почтенная. При восшествии на престол императора Павла он был губернатором в Пензе; но государь поместил его в военную коллегия, во главе комиссии, которой поручена была экипировка армии. При императоре Александре I он был военным министром, а потом, во время войны, главнокомандующим в Петербурге, что доставило ему голубую ленту, а наконец, и графский титул, начавшийся и окончившийся в его лице, так как он не оставил после себя детей. Вязьмитинов был человек весьма умный, любитель изящных искусств, приятный музыкальный композитор, хорошо владел русским языком, весьма усидчиво и легко работал, был честен и имел многие качества для того, чтобы оказаться выдающимся государственным человеком; но у него недоставало твердости; манеры и обхождение его отзывались его происхождением. Ему слишком долго приходилось употреблять усилия, чтобы поставить себя на высоту тех важных должностей, которые выпали на его долю тогда, когда он уже состарелся.

Состав министерства был следующий:

Граф Николай Румянцев, министр иностранных дел. Он был вторым сыном знаменитого фельдмаршала, получил весьма тщательное воспитание, путешествовал в сопровождении Гримма — литератора и доверенного человека императрицы Екатерины; он был ее посланником во Франкфурте, аккредитованным при находившихся в Кобленце французских принцах. При Павле он был обер-мундшенком и имел голубую ленту. Император Александр назначил его министром иностранных дел и канцлером за Абосский мир. Он находился в Париже, после Эрфурт-

ских конференций; сопровождал государя в Вильну, был там поражен параличом и возвратился в Петербург. Румянцев был человек светский, с манерами вельможи. Политика его в отношении Наполеона сводилась к двум пунктам: 1) выигрывать время; 2) избегать войны. Публика, постоянно пребывающая покорнейшим слугою клеветы и послушным эхом глупости, глядела на него как на человека, преданного Наполеону и жертвующего ему интересами России; но для отражения этой клеветы достаточно вспомнить имя, которое он носит, его привязанность к государю и возвышенность его души.

Гурьев, министр финансов. Человек умный, весьма любезный в тесном кружке, не имеющий другого образования, кроме умения свободно объясняться по-французски, интриган и честолюбец в высшей степени; относит все к самому себе; обременен делами, которыми занимается в полудремоте; столь же грузен телом, сколько тяжел на работу; великий охотник до лакомых блюд и до новостей в административном мире; легко поддается на проекты; всем жертвует своему желанию удержаться в милости и увеличить свое состояние.

Граф Алексей Кириллович Разумовский, министр народного просвещения. Человек обширных ума и познаний; эгоист и ленив до крайности; дела его расстроены, несмотря на громадное богатство. Он оставил службу еще при императрице Екатерине и опять вступил в нее в 1811 г., чтобы получить чин и несколько орденов, которых недоставало его честолюбию.

Маркиз де Траверсе, родом из Сен-Доминго; был офицером во время Французской революции; в русскую службу поступил в царствование Екатерины с чином капитана и дошел до вице-адмиральского чина. Он был министром после Чичагова. Человек был ничтожный, не имевший ни собственной воли, ни собственного мнения; занятый сколачиванием себе состояния посредством подрядов; ненавидимый морскими офицерами и терпящий побои от своей жены.

Дмитриев, гвардейский офицер, уволенный в отставку во времена императрицы Екатерины; в начале царствования Павла был обвинен как заговорщик, но, признанный невиновным, определен в гражданскую службу с большими преимуществами. Из московских сенаторов он в 1810 г. был назначен министром юстиции. Человек этот мог бы быть существом более полезным, нежели был на самом деле; но — он поэт и состоит под властью своего воображения;

весьма щекотлив; в обществе тяжел и весьма ревниво относится к значению своего сана. Он оставил службу с пенсией в 10 тыс. руб. и принял на себя, в Москве, обязанности директора тайной полиции.

Ген.-лейтенант кн. Горчаков назначен был временно исправляющим должность военного министра, за отсутствием ген. Барклая де Толли, который должен был принять главное начальство над армиями. Этот кн. Горчаков, по матери своей племянник великого Суворова, а по жене — фельдмаршала Салтыкова, был человеком ничтожным, воображал себя красавчиком, важничал, предоставлял все дела своему секретарю, проводил время в интригах, для того чтобы снискать благоволение при дворе и подцепить какую-нибудь награду. Он притворялся подражателем своего дяди, генералиссимуса Суворова, держа речи солдатам, рекрутам и больным в госпиталях.

* * *

В конце марта я вернулся в Москву, а в начале апреля государь оставил Петербург, чтобы ехать в Вильну. Гвардия уже находилась там, и теперь ожидали результата обширных приготовлений, слухи о коих еще преувеличивали, для того чтобы успокоить народ и наиболее робких из дворянства. Мне передали записку, в которой наши силы, под начальством Барклая и Багратиона, доводились до 380 тыс. чел.; между тем как во время перехода Наполеона через Неман у первого было только 104 тыс., а у второго 73 тыс. чел. Несмотря на всеобщее беспокойство, все старались заглушать в себе это чувство, как могли, и бахвальством подавляли размышления. Всего хуже было, что недовольные и трусы обвиняли государя в том, что он причиною близкой гибели России, потому что не хотел предупредить или избежать третьей войны с противником, который уже дважды побеждал его. Я слышал странные выходки; некоторые господа доходили до такой степени возбуждения, что превозносили до небес добродетели императора Павла и сожалели о времени его царствования. Фельдмаршал Гудович не принимал против этого никаких мер и воображал себе, что успокаивает общество, обнадеживая, что если бы государь поручил ему начальство над войсками, то армия Наполеона была бы уничтожена в один месяц. По его словам, он имел на то средства; но, к сожалению, он унес свой секрет с собою

в могилу и во все продолжение войны проживал в своих украинских поместьях. В городе знали, что фельдмаршал просил об увольнении, а так как мое назначение было неизвестно, то каждый указывал генерал-губернатора по своим соображениям и желаниям. Наконец, 6-го июня прибыл курьером некий г. Брокер, сопровождавший сына моего до Вильны. Он привез мне известие о приказе, которым я переводился в военную службу с чином генерала от инфантерии и назначался военным губернатором в Москву. Фельдмаршал Гудович призывался к заседанию в Государственный совет и получил, в знак благоволения, портрет государя.

Город, по-видимому, был доволен моим назначением. Мне было 47 лет, я пользовался отличным здоровьем и выказал с самого начала большую деятельность, что было новостью; потому что все предшественники мои были старцы. Я сразу сделался популярным, благодаря доступности ко мне. Я сделал объявление, что каждый день, от 11 час. до полудня, принимаю всех и каждого и что те, кто имеет мне сообщить нечто важное, могут являться ко мне во всякий час.

В день моего водворения в новой должности я приказал отслужить молебны перед всеми иконами, которые считаются чудотворными и пользуются большим уважением у народа. Я выказывал большую учтивость к тем лицам, которым приходилось иметь дело со мною. Я снискал благоволение старых сплетниц и ханжей, приказав убрать гробы, служившие вывесками магазинам, их поставлявшим. Также приказал я снять афишки и объявления, наклеенные на стенах церквей. Два утра были для меня достаточны для того, чтобы пустить пыль в глаза и убедить большинство московских обывателей в том, что я неутомим и что меня видят повсюду. Мне удалось внушить такое мнение о моей деятельности тем, что я в одно и то же утро появлялся в самых отдаленных кварталах и оставлял там следы моей справедливости или моей строгости. В этот же первый день я приказал посадить под арест офицера, приставленного к раздаче пищи в военном госпитале, за то, что не нашел его в кухне в час завтрака. Я восстановил права одного крестьянина, которому вместо 30 ф. соли отпустили только 25; я отправил в тюрьму чиновника, заведовавшего постройкой моста на судах; я входил повсюду, говорил со всяким; я узнал много такого, чем потом пользовался. Переодетый в гражданское платье, я загонял две пары лошадей, а в 8 час. утра

появлялся у себя, в мундире и готовым приняться за работу.

Главные из состоявших под моим начальством лица были следующие:

Тайный советник Обрезков, гражданский губернатор; человек очень умный, тонкий и хорошо знающий общество. Службу оставил еще при императоре Павле и снова вступил в нее, чтобы подвинуться вперед. Хотя он еще был довольно молод, но здоровье его было расстроено бессонными ночами, проведенными за карточной игрой, в которой ему очень везло. Он был чрезвычайно ленив; но критическое положение, в котором мы находились, вырвало его из апатии, и он, в течение 1812 и 1813 годов, выказал деятельность, принесшую большую пользу.

Вице-губернатор Арсеньев не лишен был способностей, но оступел от злоупотребления крепкими напитками, и я, в конце 1813 года, принужден был сменить его.

Гессе, военный комендант города, немец темного происхождения. Он поступил унтер-офицером в морские батальоны, которые император Павел, будучи еще великим князем, формировал в Гатчине; а потом, подвигаясь вперед по службе, дошел до чина генерал-лейтенанта и исправлял должность московского коменданта в продолжение 20 лет. Это был человек прекраснейший, честный, беспристрастный и заботившийся, главным образом, о соблюдении внешних форм; но он был годен для дела лишь до 6 час. вечера, после чего всецело поглощался трубкою и пуншем.

Начальник московского гарнизонного полка Брозин — человек ничтожный, с которым я имел постоянные столкновения вследствие его грабительств и его весьма определенной склонности брать с полка что только мог.

Начальник полиции, генерал-майор Ивашкин, — человек честный, но слишком кроткий, состоявший под влиянием жены; боязливый и плохого здоровья, но точный в исполнении приказаний.

Архиепископ Августин — человек, имевший большие познания в греческом и латинском языках. Он обладал крупным ораторским талантом и одарен был красноречием кротким и приятным. Благочестия у него было немного. В обществе он выказывался человеком светским, а духовенство уничижал своей грубостью. Он не был равнодушен к прекрасному полу и обладал большим числом племянниц, которые видались с ним запросто, во всякие часы.

Предводитель дворянства Арсеньев — толстый, сласто-

любивый человек и покорнейший слуга генерал-губернатора.

1-й полицеймейстер, полковник Волков — слишком умный для своего места и соскучившийся занятиями; состоял на замечании, как член тайных обществ; жизнь вел беспорядочную и очень развратную, все рассчитывал в свою выгоду и не стеснялся относительно средств.

2-м полицеймейстером был Дурасов, гвардии полковник — болезненный, ограниченный, но очень честный человек.

3-м полицеймейстером был полковник Брокер, которому я дал это место, чтобы иметь кого-либо надежного. Он имел решительное отвращение ко всяким интригам, обманам и мошенникам. Он обладал особенной способностью в изыскании средств для того, чтобы открыть или распутать какое-либо дело. Неоднократно доказывал он свое бескорыстие и в течение некоторого времени считался верным и усердным слугой.

Директором канцелярии моей был молодой человек, сын сенатора Рунича. Он был умен, образован и имел привычку к делам; но любил проводить вечера за картами и вином. Я удержал его при себе, как и всех прочих, которых нашел в управлении; ибо мое правило было таково, что переменить всегда успеешь, что бывают люди и похуже и что можно извлекать пользу из человека хотя порочного, но умного, который применяет поведение свое к поведению начальника и нередко изменяет оное из страха, раскаяния или расчета.

К себе лично я взял, в качестве секретарей, гг. Булгакова и Ильина. Первый получил отличное воспитание и хорошо учился. Он служил в звании секретаря посольства при нескольких дворах. Я оказывал ему сначала доверие, а потом и дружбу. Он был сыном человека высоких достоинств, бывшего при Екатерине посланником в Константинополе и послом в Варшаве.

Ильин был поэт и драматический писатель. У него было больше воображения, нежели ума и здравого смысла; но он прилагал большое усердие к исполнению своих обязанностей и был особенно ко мне привязан.

* * *

Самая Москва, с течением времени, сделалась городом священным для русских. Все важнейшие вельможи, за старостью делавшиеся неспособными к работе, или разо-

чарованные, или уволенные от службы, приезжали мирно доканчивать свое существование в этом городе, к которому всякого тянуло или по его рождению, или по его воспитанию, или по воспоминаниям молодости, играющим столь сильную роль на склоне жизни. Каждое семейство имело свой дом, а наиболее зажиточные — имение под Москвой. Часть дворянства проводила зиму в Москве, а лето в ее окрестностях. Туда приезжали, чтобы веселиться, чтобы жить со своими близкими, с родственниками и современниками. Детям давали там приличное воспитание и пользовались преимуществами, которые только и представлялись в столице; потому что в губернских городах проживали только чиновники да купцы, а следовательно, и не представляли они никакой приманки для профессоров и учителей. Весной, в конце февраля, беднейшие дворяне, как и самые богатые, оставляли город для деревни — частью по привычке, частью по наклонности, а всего чаще из экономии. Эта эмиграция дворянства оставляла за собой сильную пустоту в городе и уменьшала на одну треть его население, доходившее зимой до 300 т. Ничего не могло быть великолепнее балов в доме дворянского собрания, где можно было видеть до 2000 персон; богато или нарядно одетых, — но все это окончилось вместе с царствованием Екатерины.

Роскошь, которой окружало себя дворянство, представляло нечто особенное: тут являлось великолепие рядом с нищетой. Так, напр., встречались огромные дворцы, одна часть которых блистала богатым убранством, а в другой недоставало мебели; громадные залы, множество гостиных и отсутствие внутренних покоев для хозяина и хозяйки дома. Численность домашней прислуги почти всегда не соответствовала имущественным средствам владельца. Все эти служители помещались в доме с их женами и детьми и представляли собою вид колонии. После смерти гр. Алексея Орлова в палатах его оказалось 370 чел. При всем этом услужение было весьма плохое; часть этих людей была довольно порядочно одета, другая ходила оборванною; безделье располагало их к беспорядочности, и, рассчитывая один на другого, никто из них не хотел заниматься работою. Единственными обязанностями своими они считали: пить, есть и спать. Лакеи, камердинеры, кучера, конюхи, музыканты, певчие, горничные и прачки — все имели свой обед и ужин дома. Жили они, приблизительно, как на корабле, переполненном войсками. Естественным последствием такого столпления людей был разврат,

и барский дом изображал собою одновременно подобие тюрьмы, воспитательного дома, конуры и харчевни. Число лошадей соответствовало числу прислуги; дворянин, имевший не более 20 т. дохода, держал на конюшне около 20 лошадей, которых плохо кормили, плохо чистили и которые назначались для того, чтобы возить хозяев, проживавших у них приятелей, гувернеров и гувернанток, состоящих при детях. При отъезде в деревню конюшня эта подкреплялась еще лошадьми, которых приказывали приводить из своего поместья. Штук 20, 30 и даже до 50 лошадей увозили за московские заставы эти караваны, состоявшие из господ и прислуги; причем первые попрекали себя за то, что в четыре месяца промотали весь годовой доход.

Между тем эта же Москва, — таковая, как я только что ее описал, — всегда внушала некоторую к себе отчужденность со стороны своих государей. Петр I, желая преобразовать нацию, удалился из своей древней столицы, дабы не встречать сильной оппозиции в исполнении своих предначертаний. Справедливость требует сказать, что события, происходившие во времена его детства и несовершеннолетия, неизбежно должны были внушить ему отвращение к городу, где жизнь его несколько раз подвергалась опасности и откуда стрельцы принудили его искать спасения в бегстве. Но при каждом вступлении на престол новый государь приезжал короноваться в московский собор, при пышной обстановке, и тут изливал милости на своих подданных. Царица Анна, вызванная из Курляндии царить над Россией, обнаружила явные доказательства своего нерасположения к Москве. Елисавета приезжала туда иногда, но долго там не оставалась. Петр III не успел даже короноваться, так как царствование его продолжалось всего шесть месяцев. Екатерина венчалась там на царство; затем приехала туда в 1765 г., чтобы совершить путешествие водою до Казани; в 1775 г. она оставалась несколько времени в Москве, чтобы отпраздновать торжество заключения мира с Оттоманскою Портою; в 1785 г. по совершении водной прогулки до Новгорода она явилась в Москву и 4 дня прожила в загородном, так называемом Петровском дворце, находящемся в расстоянии одного лье от заставы; в 1787 г., возвращаясь из своего путешествия в Крым, она останавливалась тут на десять дней. Император Павел очень любил Москву по причине находящихся в ней исторических воспоминаний и памятников. Кремль был его любимым местом. Он короновался там в 1797 г. и на

следующий год опять приехал туда. Император Александр, после коронавания своего, приезжал туда из Твери, в 1809 г., вместе с великой княгиней Екатериной, и давал великолепные празднества.

Несмотря на жившее в государях чувство отчуждений к их древней столице, они, из политических видов, относились к ней самым внимательным образом. Генерал-губернатором Москвы был всегда кто-нибудь из прежних главнокомандующих, а часто и фельдмаршал. Он имел право сноситься непосредственно с государем; дом, в котором он жил, был лучшим в городе; для домашнего употребления он имел великолепную посуду от двора. В военное время каждый раз, когда надо было извещать о победе, отправлялся из Петербурга курьер с рескриптом генерал-губернатору, заключавшим в себе лестные для Москвы выражения. При каждом восшествии на престол посылался туда кто-либо из выдающихся офицеров, чтобы возвестить об этом событии. Управление городом и губернией требовало немного труда и еще менее бдительности. Изобилие господствовало без малейшего вмешательства администрации. Причиной тому — запасы всякого рода хлеба, которым страна изобилует и который привозят в уверенности, что выиграют на его цене в количестве большем, чем нужно для потребления. Народ вел себя смиренно; дворянство было покорно, хотя иногда предавалось болтливости и фрондерству.

* * *

Но Москва в 12 лет совершенно переменилась. Жили там и думали уже по-другому. Войны, которые велись в Италии и Германии, нарушили старинные привычки и ввели новые обычаи. Гостеприимство — одна из русских добродетелей — начало исчезать, под предлогом бережливости, а в сущности вследствие эгоизма. Расплодились трактиры и гостиницы, и число их увеличивалось по мере увеличения трудности являться к обеду незванным, проживать у родственников или приятелей. Эта перемена повлияла и на многочисленных слуг, которых удерживали из чванства или из-за привычки видеть их. Важных бар, подобных Долгоруким, Голицыным, Волконским, Еропкиным, Паниным, Орловым, Чернышевым и Шереметевым, больше уже не было. С ними исчез и тот вельможеский быт, который они сохраняли с начала царствования Екатерины. Она имела много причин, чтобы бережно обра-

щаться с этими господами, которые играли роль в государстве, или по заслугам своим, или по богатству, или по авторитету над всеми членами своей семьи, — что доставляло им множество приверженцев и великий почет.

Когда в 1812 г. я получил свое назначение, важнейшими особами из проживавших в Москве были:

Генерал кн. Г. Долгорукий — человек, занятый увеличением своего состояния всякого рода средствами: он был откупщиком от казны по продаже хлебного вина; содержал, пополам с женою одного русского актера, общественные бани и пробовал даже производить уплаты фальшивыми наполеоновскими ассигнациями, — чему я, однако, тотчас же положил предел. Он жил домоседом и оказывал протекцию развратным людям, которых часто ссужал деньгами. Дом его обратился в игорный вертеп, содержащий его дочкой, кн. Горчаковой — женщиной с потерянной репутацией. Его щадили отчасти из-за преклонных лет и из-за фельдмаршала Салтыкова, которому он приходился свояком.

Ген. Архаров, великий болтун, подленький и низкопоклонный, но человек добродушный и довольно любимый, за ласковый прием, который оказывал всем без разбора. Он не имел собственного мнения и перед властью держался не иначе, как на четвереньках.

Ген. Апраксин, сын фельдмаршала, командовавшего, в продолжение одного года, русской армией во время 7-летней войны. Молодость его была блестящая; он имел успех у женщин и пользовался преимуществами, доставляемыми ему его наружностью, его богатством и быстрым служебным повышением, так как он произведен в полковники 23-х лет от роду, будучи записан гвардии сержантом при самом своем рождении. Он обещал много, но не сдержал обещания. Хвастун, фрондер, характера низкого и трусливого — он служил при трех правительствах и всегда вел себя дурно. Оставив службу, он пустился в разные предприятия для приведения дел своих в порядок. Он женился на кн. Голицыной, мать коей, благодаря своей назойливости, нахальству и притязательности, добилась того, что внушила почтение всей публике, заставила себя бояться и даже сделать кавалерственной дамою, хотя была лишь женой бригадира. Дочь ее охотно подражала своей матери и добивалась своего права на преемство. Ген. Апраксин основался в Москве, имел там большой дом, скудно обставленный; он много интриговал на всех выборах, откуда, кроме стыда, ничего не выносил. Он являл-

ся постоянным врагом и хулителем всякого московского генерал-губернатора, потому что льстил себя надеждою заменить его.

Г. Обольянинов, который при Павле дошел до голубой ленты и до звания генерал-прокурора. Человек без воспитания, без познаний, горлан, имевший смешную жену и державший свой дом открытым для мелкого дворянства.

Гр. Марков, поселившийся в Москве за окончанием своего посланничества в Париже. Он никогда не жилал в этом городе и являлся там как бы иностранцем, желающим натурализироваться.

Гр. Кутайсов, родом турок; при Павле достиг из камердинеров до звания обер-штаб-мейстера и до голубой ленты. Основавшись в Москве, он вел там жизнь мещанина во дворянстве, никак не справляясь с приведением в порядок своего состояния, которое его пугало, и укрываясь под тенью своей связи с кн. Лопухиным, дочь коего была замужем за его сыном.

Г. Валуев, главный директор Кремлевской экспедиции — самый низкопоклонный из всех льстецов, погрязший в долгах, занимающийся шпионством и прибегающий к обманам и шарлатанству для того, чтобы заставить верить в значение, коим он пользуется. Он с покорностью переносил унижения, которым подвергался; льстиво ползал перед генерал-губернатором, пока тот сидел на своем месте, и становился его заклятым врагом, когда тот сходил с занимаемого им поста.

Кн. Юсупов, тогда уже бывший в отставке, — человек умный, любитель искусств, женщин и шутов. Он только и делал, что бегал, чтобы ускользнуть от скуки; обладал большим богатством, имел множество слуг, ненужных любовниц, попугаев и обезьян.

За исключением кн. Долгорукова и ген. Апраксина, я жил в добром согласии с остальными. Я нашел, что кн. Долгоруков заслуживает слишком большого презрения, и перестал бывать у него. Что касается ген. Апраксина, то, после долголетних приятельских отношений, мы с ним ссорились несколько раз. Я несколько не стеснялся в своей манере держать себя. Я знал, что не подам никакого повода к жалобам, и к тому же я рассчитывал на трех благонадежных помощников, т. е. на гордость, на глупость и на низость. Небольшая награда, данная или обещанная, угроза или отличие всегда зажимали рот у недовольных. Когда ожидали государя, тогда и тон переменялся. Начинали спозаранку добиваться какой-либо награды, выстав-

ляли на вид свои права действительные или выдуманные, настаивали на поддержании их. Все эти лица стремились утолить свою жажду в источнике милостей. В этом они держались исконного правила, говоря: царь милостив; все только от его воли зависит. Но так как нельзя оказывать милостей всем, то избранных оказывалось мало, а это, после каждого пребывания государя в Москве, подавало повод к новым неудовольствиям и бесконечным жалобам, прекращавшимся лишь при известии о его возвращении.

* * *

Я очень хорошо видел, что Москва подает пример всей России, и старался всеми силами приобрести и доверие и любовь ее жителей. Ей подобало служить регулятором, маяком, источником электрического тока. Дабы лучше обеспечить общественное спокойствие, я твердой рукой взялся за исполнение правил относительно гостиниц, трактиров и ресторанов, где люди праздные, развратные и множество лиц темного свойства проводили целые ночи за игрой, попойками, надувательствами, погрязали в разврате и пропадали окончательно. Дворянству и буржуазии очень нравились эти меры, служившие препятствием против соблазна прислуги, приказчиков и купеческих сынков. Исключив из службы одного квартального надзирателя, заставлявшего мясников ежедневно поставлять ему 60 ф. говядины, я на целую треть понизил цены на мясо. Я объявил полицейским офицерам, которых было 300 человек, что я ничего не спущу им даром и что они не должны надеяться скрыть от меня свои плутни, так как знаю, что я говорю со всяким городским обывателем и что всякому открыт свободный доступ ко мне. Только три раза пришлось мне употребить крутые меры — и это было еще очень счастливо, потому что корпус полицейских офицеров состоял почти целиком из людей испорченных и негодяев, дурно оплачиваемых, презираемых и с малой надеждой на повышение по службе. Было лишь 20 квартальных надзирателей, должность коих состояла больше на виду. Но к этой должности понапрасну стремились мелкие чиновники, так как генерал-губернаторы помещали на нее лишь людей, которым хотели оказать протекцию.

В третью ночь после вступления моего в должность я был очень приятно пробужден курьером, присланным из Вильны. То был адъютант министра полиции. Государь сообщал мне о заключении мира с турками, приказывал

объявить об этом по городу, отслужить благодарственные молебны, но празднества, обыкновенно бывающие при таких случаях, до времени отложить. Известие это приняли тем с большею радостью, что Дунайская армия делалась свободною для действий против Наполеона. Должно полагать, что Порта доведена была до последней крайности, если заключила мир, по которому уступала России левый берег Дуная, с Измаилом, Килиею, Акерманом, Бендерами и Хотинном. Новая граница находилась в расстоянии всего 24-х в. от Ясс, главного города Молдавии. Нет никакого сомнения в том, что мир мог бы быть заключен гораздо ранее между визирем и ген. Кутузовым, но последний, будучи убежден в том, что ему не дадут ничем командовать, и пренебрегая посылаемыми ему настоятельными приказаниями, счел за лучшее — затягивать переговоры; но когда узнал, что на смену его назначен адмирал Чичагов, он не захотел предоставить ему чести окончания войны и, в течение трех дней, заключил мир.

Народ, повсюду невежественный и более или менее суеверный, счел назначение мое добрым предзнаменованием и прозвал меня счастливецом. Три недели уже стояли жары, заставлявшие опасаться неурожая, подобного прошлогоднему; но в тот самый день, когда весть о моем назначении достигла Москвы, выпал дождь и оживил раскаленную солнцем землю. К дождю присоединилось известие о заключении мира с турками. Благодаря этим двум событиям, на меня очень благоприятно начали смотреть все те, которые верят, что звезда одного человека может влиять даже на атмосферические явления.

Наконец, 7-го июня, прибыл курьер со всеми воззваниями, манифестами и т. п., относящимися до войны, имевшей начаться. Так как мы пошли навстречу ей и стояли против неприятеля, то отступать уже было нельзя. Государь требовал от московских дворянства и купечества субсидии в миллион рублей на покупку волов, и сумма эта внесена была немедленно и вполне охотно. Через три дня после этого несколько полковников, отправленных из главной квартиры в Малороссию, для формирования там уланских полков, распустили слух, будто после перехода через Неман Наполеон тотчас же занял Вильну и что главную квартиру нашу чуть было не захватили там врасплох. Такое начало было дурно. Известие, к несчастью, оказывалось справедливым, и так как я ничем не мог его опровергнуть, то прибегнул к средству, которого держался

и во все продолжение этой войны. Средство состояло в том, чтобы при каждом дурном известии возбуждать сомнения относительно его достоверности. Этим ослаблялось дурное впечатление; а прежде чем успевали собрать доказательства, внимание опять поражалось каким-нибудь событием, и снова публика начинала бегать за справками.

Я прекратил деятельность полудюжины шпионов, стоивших довольно дорого, так как признавал ее бесполезной при таких обстоятельствах, когда все выражали страх и все общество пребывало в недоумении. Но мне важно было знать, какое впечатление производилось военными событиями на умы. В этом отношении мне хорошо прислуживали три мелкие агента. Переодевшись, они постоянно таскались по улицам, примешиваясь к толпе, в изобилии собиравшейся по гостиницам и трактирам. Затем они приходили отдавать мне отчет и получали кое-какие наставления, чтобы распространять тот или другой слух по городу или чтобы подбодрять народ и ослаблять впечатление, произведенное каким-либо недобрым известием.

В числе неприятных занятий я должен поставить на первое место тот несчастный аэростат, с которым было столько возни и который играл большую роль в исторических романах, трактовавших о заговоре для сожжения Москвы. Вот в чем состояла история этого воздушного шара, оставшегося на земле, и его негодяя-автора. Русский дипломатический агент, Алопеус, доложил государю, по прибытии его в Вильну, что один офицер виртембергской сообщил ему, Алопеусу, об открытии тайны управления полетом аэростата и что шар, который он предполагает устроить, будет поднимать 50 человек в своей гондоле, под которой можно будет привесить большой ящик, наполненный порохом и горючими веществами; ящик этот можно будет сбросить на избранное для этого место и произвести страшные взрыв и истребление. Офицер этот требовал безусловного соблюдения тайны и предлагал свои услуги имп. Александру, из ненависти, как он говорил, к Наполеону и для того, чтобы уничтожить этого завоевателя. Предложение его было принято, и он, под именем Шмидта, направлен был к гражданскому губернатору Обрезкову, который поместил его в одном деревенском доме, в двух лье от Москвы, пустив слух, что тут будет фабрика для приготовления новых пушечных лафетов. Этот Шмидт привел с собой многих немец-

ких рабочих и просил меня дать ему еще несколько человек, которые бы работали под его начальством. К дому этому пришлось поставить сильный караул, не столько для поддержания в нем порядка, сколько для того, чтобы прекратить всякое сообщение с городом и препятствовать множеству любопытных праздношатающихся ходить туда. Этот Шмидт уверял меня, что делал опыт над маленьким аэростатом, что опыт этот отлично удался и что это гарантирует несомненный успех большому шару. Когда он объяснил мне теорию конструкции этого удивительного шара, то я возразил ему, что тяжесть груза сломает пружины, — и я не ошибся; потому что при двукратных опытах с маленькими привязными аэростатами пружины не выдержали и сломались при первом движении весла. Он приписал это дурному качеству стали, — я достал ему лучшего сорта, английскую, которая тоже сломалась. Наконец, он потребовал такую сталь, из какой делают математические инструменты. Купили все, что могли найти, а опыт не имел успеха. За сутки до вступления французов в Москву я отправил этого Шмидта в Петербург, вместе с его рабочими и с его огромным тафтяным аэростатом. Там хотели было возобновить его затею, делали опыты в Ораниенбауме, но успеха никогда не было. Мне рассказывали, что он вернулся в Германию, где некоторые купцы сделались жертвами его обмана, поверив, что аэростат станет переносить товары. Этот Шмидт стоил нам 320 т. рублей, а зажигательные материалы, которые найдены французами в занимаемом им доме, были с жадностью захвачены, как точное доказательство того, что тут была лаборатория, где изготовлялись ракеты для сожжения Москвы.

Наиболее занимались в городе известиями об укрепленном лагере при Дриссе. Одни видели в нем преграду, которая остановит Наполеона; другие занимались соображениями, как обеспечить существование запертой в нем 300-тысячной армии. Люди, понимавшие дело, ничего в этом не могли постигнуть. Что касается меня, то я не находил никаких причин к тому, чтобы, при самом начале войны, обречь всю армию на бездействие, запереться и предоставить всю страну неприятелю, который мог направиться куда ему вздумается. Вскоре затем узнали, что Дрисса была оставлена и что мысль о том, чтобы у ней укрепиться, принадлежала некоему Пфулю, пруссаку, бывшему офицером еще при Фридрихе Великом, а затем генерал-лейтенантом русской армии и дававшему уроки тактики

императору Александру. Так как московское общество очень склонно к подозрительности и щедро на эпитеты, то бедный Пфуль был первым, которого объявили предателем. В то же время я узнал от одного из служивших под начальством Багратиона, что, при начале военных действий, в его армии было под ружьем всего 68 т. чел., а в армии Барклая 104 т. Зная гениальность Наполеона при действиях большими массами и зная, что мы можем противопоставить ему лишь половину его сил, я льстил себя надеждой, что Смоленск может остановить его и что он первую кампанию остановит на берегах Днепра. Я чувствовал потребность действовать на умы народа, возбуждать в нем негодование и готовить его ко всем жертвам для спасения отечества. С этой-то поры я начал обнародовать афиши, чтобы держать город в курсе событий и военных действий. Я прекратил выпуск ежедневно появлявшихся рассказов и картинок, где французов изображали какими-то карликами, оборванными, дурно вооруженными и позволяющими женщинам и детям убивать себя.

Мною получено было, по эстафете, письмо от генерала Вязьмитина, которому государь повелел сообщить мне свою высочайшую волю, чтобы выслан был из Москвы в Пермь, под надзор властей, доктор фельдмаршала Гудовича, по фамилии Сальватор — бывший брадобреем в Риме, шарлатаном в Константинополе, эмпириком в Персии в свите генерала Гарданова и справедливо подозреваемый в шпионстве. Доктор этот испросил и уже получил свой паспорт для выезда из страны. Через несколько дней он уже должен был уехать. Арестовали его ночью, на его же квартире, увезли из города и захватили его бумаги, доказывавшие, что с ним поступили слишком снисходительно, ограничившись ссылкой.

Жена моя только что вернулась из Петербурга, куда ездила для свидания с родственниками. Мы поселились на моей даче, вблизи одной из застав, где, по наружности, вели жизнь довольно спокойную. Так продолжалось до 7-го июля. Вечером, садясь в карету, я увидел скачущего во весь опор обер-полицеймейстера, с генерал-адъютантом кн. Трубецким, который был прислан курьером. Он передал мне пакет от государя, заключающий воззвание его к Москве и известие о скором его прибытии в стены ее. Долго расспрашивал я посланца, дабы убедиться, что наши армии не вконец разбиты. Он уверял меня, что даже и сражения не было, но что Багратион, будучи

отделен от Барклая, маневрирует для соединения с ним и что это соединение последует, вероятно, под Смоленском. Он послан был из Великих Лук, а государь намеревался выехать оттуда на другой день, с небольшой лишь свитой, и остановиться только на день в Смоленске, чтобы организовать там сбор ополчения. Засел я за работу, провел ночь без сна, повидал и призывал к себе множество лиц; приказал напечатать воззвание государя, а вместе с тем и афишу для народа, в моем вкусе, и на другой день обыватели Москвы узнали, что государь приезжает туда. Слог возвания был хорошо принаровлен к обстоятельствам; секретарь царский Шишков удачно придумал, сообразил и выразил побуждения, цель и надежды государя, отправляющегося в древнюю столицу своей страны для совещания со своими подданными и изыскания средств к тому, чтобы остановить и победить грозного врага. Дворянство было польщено такой доверенностью и воспламенялось усердием; купеческое сословие изъявило готовность к пожертвованиям; простой же народ казался равнодушным, потому что не допускал и мысли о том, что Наполеону можно будет войти в Москву. Причиной такой неразумной уверенности было то, что в течение 100 лет неприятельская нога не попирала русской почвы и что, по его мнению, Наполеону придется кончить тем же, чем и Карлу XII, под Полтавою. Бородачи постоянно повторяли одни и те же слова: «Ему нас не покорить, потому что для этого пришлось бы всех нас перебить».

На следующий день приехали ко мне два курьера: один от государя, с предложением мне встретить его на первой станции по Смоленской дороге, куда он рассчитывал прибыть в 3 ч. пополудни. Другой курьер, адъютант гр. Аракчеева, привез мне ратификацию мирного трактата с Портою. Я приказал предупредить кн. Трубецкого, что еду встречать государя; он прибыл ко мне, и мы отправились вместе, после завтрака. В этот день стояла прекрасная погода, и мы видели множество народа, шедшего на встречу его величества. Я ожидал его прибытия на станцию до 5 час. вечера. В одном из домов приготовлена была закуска. Он пробыл со мною целый час, с глазу на глаз, и очень хвалил меня за те приемы, которых я держался, чтобы внушить доверие всем московским обывателям. Он говорил о войне, не обвинял никого в дурных действиях, казался уверенным в соединении армий Барклая и Багратиона и нисколько не казался унылым, но был спокоен и в хорошем расположении духа. Он осведомлялся о расположении

умов и сообщил мне свою мысль относительно обращения к дворянству, для набора людей в ополчение. Сначала он хотел поселиться в Слободском дворце, находящемся на одной из окраин города; но потом, вследствие замечания моего, что более подобало бы ему быть в Кремле, во дворце своих предков и в центре Москвы, он изъявил согласие на это. Он поглядел на мои эполеты и сказал, что на них недостает чего-то, а именно его вензеля, — то было отличием, особенно выдающимся, дарованным лишь обоим главнокомандующим. К этому он еще прибавил: «Мне любо быть у вас на плечах».

С ним, государем, приехали: гр. Аракчеев, обер-гофмейстер гр. Толстой, министр полиции Балашов, секретарь Шишков, флигель-адъютанты: кн. Волконский, Трубецкой и Комаровский. Узнав, что в свите его находится и барон Штейн, я распорядился так, чтобы последний, под предлогом недостатка в лошадях, прибыл в Москву несколькими часами позже. Сделал я это во внимание к сильно укоренившемуся мнению, что все иностранцы — наши враги и шпионы. Государь повелел мне быть в Москве за час ранее его прибытия и хотел приехать туда около полуночи, чтобы избежать толпы любопытных, ожидавших его у дороги, намеревавшихся отпречь лошадей и везти на себе его карету в Кремль. Мысль эта перешла от народа и к более высоким классам, и я знал, что некоторые лица, украшенные орденами, намеревались отправиться к заставе и — по усердию ли, по глупости ли — обратиться в четвероногих.

На расстоянии двух миль от города дорога была усеяна с обеих сторон группами мужчин и женщин, вышедших из города встречать царя и отдохавших, сидя и лежа, на берегу канав. Я ехал в дрожках, и дорога эта, постоянно мне памятная, произвела на меня глубокое впечатление. Ночь была чудная, небо ясное, в воздухе никакого колебания, тишина величественная. Луна проливала свой свет на страну многолюдную, богатую и счастливую. В каждом селе, находившемся на дороге, священники в церковных одеяниях, с крестом в руке и в сопровождении людей, несших зажженные свечи, выходили из храмов, чтобы благословить царя на его пути. Эти свечи, эти священники, их появление — все это поражало воображение, волновало чувства и порождало множество мыслей, которые, при тогдашних обстоятельствах, покрывались как бы черной дымкой. На сердце была тяжесть, в душе смятение, ум в тревоге. Эти процессии напоминали собою похороны;

при виде их невольно хотелось поднимать глаза к небу, чтобы прочесть там будущность и грядущую судьбу своего отечества.

Государь около полуночи прибыл в Кремль, где всех уже нашел спящими, так как, по недоразумению, его ожидали в другом дворце. На другой день, с самого рассвета, большая площадь до такой степени переполнилась любопытными, что сверху видны были одни головы. Московский народ редко наслаждался присутствием своих государей и очень жаждал их видеть. В этот день, в главном соборе должно было, после литургии, совершаться благодарственное молебствие по случаю заключения мира с Отоманскою Портою. Государь отправился в церковь и встречен был на паперти епископом Августином, викарием митрополита Платона. Последний удалился в небольшой монастырь, построенный им в 60 верстах от Москвы; он имел уже несколько параличных припадков, так что даже очень плохо владел языком. Болезненное состояние это не помешало ему прислать, из своего уединения, икону св. Сергия, с приложением прекрасного послания, в котором он предсказывал государю славное окончание войны, сравнивая его с пастырем Давидом, а Наполеона — с Голиафом. Но то были другие времена. Наполеон не принял бы подобного вызова и не такой был человек, чтобы дать убить себя из пращи. При выходе из собора народ до такой степени столпился и стеснил государя, что он должен был остановиться, чтобы дать толпе возможность отодвинуться и очистить ему место. Такое неудобство было устранено посредством мостков, которые я приказал устроить несколькими футами выше мостовой и которые соединяли дворцовое крыльцо с соборной папертью. Государь сделал прием епископу Августину и украсил его орденом св. Александра Невского. При дворе был большой обед, к которому приглашены знатнейшие в городе лица, высшее духовенство и сенаторы.

Государь учредил, под председательством моим, комитет, членами коего были: Аракчеев, Балашов и Шишков, для установления правил организации московской милиции, которой дали наименование московского ополчения. Она должна была быть составлена из людей, которых владельцы и помещики представляют добровольно. Офицеры, уволенные из службы, могли вступать в ополчение с прежним чином и носить военный мундир. Гражданские чиновники, имевшие классные чины, соответствующие военным, теряли один из них, надевая мундир. Начальник

этого ополчения должен был быть избран московским дворянством. Комитетов должно было составиться два: в одном записывались и выдавались квитанции тем, которые представляли ополченцев; в другом же записывались и выдавались квитанции жертвующим деньги, съестные припасы или одежду. Государь одобрил нашу работу; назначил членами 1-го комитета генералов: Архарова, Апраксина и Обольянинова — как наиболее выдающихся, и придал им, кроме того, московского гражданского губернатора Обрезкова и предводителя дворянства Арсеньева. 2-й комитет составлен был из князей: Юсупова, Долгорукова, Голицына. Я, в качестве генерал-губернатора, был председателем обоих комитетов.

Следующий день был назначен государем для сообщения своих намерений дворянству и купечеству, которые собраны были к полудню в залах Слободского дворца. Ночью я узнал, и это было подтверждено мне и на другой день утром, что некоторые лица, принадлежавшие к обществу мартинистов, сговорились между собой, чтобы, когда государь предложит собранию набор ратников, — поставить ему вопросы: каковы силы нашей армии? как сильна армия неприятельская? какие имеются средства для защиты? и т. п. Намерение было дерзкое, неуместное и опасное при тогдашних обстоятельствах; но насчет исполнения его я вовсе не испугался, зная, что указанные господа столь же храбры у себя дома, сколько трусливы вне его. Я преднамеренно и неоднократно говорил при всех, что надеюсь представить государю зрелище собрания дворянства верного и что я буду в отчаянии, если кто-либо из неблагонамеренных людей нарушит спокойствие и забудется в присутствии своего государя, — потому что такой человек, прежде окончания того, что захотел бы сказать, начнет весьма далекое путешествие. Дабы сообщить более вероятно таким моим речам, я приказал поставить невдалеке от дворца две повозки, запряженные почтовыми лошадьми, и подле них прохаживаться двум полицейским офицерам, одетым по-курьерски. Если кто-либо из любопытных осведомлялся: для кого назначены эти повозки? — они отвечали: «А для тех, кому прикажут ехать». Эти ответы и весть о появлении повозок дошли до собрания, и фанфароны, во все продолжение оногo, не промолвили слова и вели себя, как подобает благонамеренным детям.

До прибытия государя я, в сопровождении Шишкова, пошел сначала в ту галерею, где собралось дворянство,

а потом в ту, где находилось купечество. В 1-й галерее было около 1000 человек, поспешивших со всех сторон при известии о прибытии государя. Там все происходило в порядке и спокойствии. Но во 2-й галерее, где собрались купцы, я был поражен тем впечатлением, которое произвело чтение манифеста. Сначала обнаружился гнев; но когда Шишков дошел до того места, где говорится, что враг идет с лестью на устах, но с цепями в руке — тогда негодование прорвалось наружу и достигло своего апогея: присутствующие ударяли себя по голове, рвали на себе волосы, ломали руки, видно было, как слезы ярости текли по этим лицам, напоминая лица древних. Я видел человека, скрежетавшего зубами. За шумом не слышно было, что говорили эти люди, но то были угрозы, крики ярости, стоны. Это было единственное, в своем роде, зрелище, потому что русский человек выражал свои чувства свободно и, забывая, что он раб, приходил в негодование, когда ему угрожали цепями, которые готовил чужеземец, и предпочитал смерть позору быть побежденным. При подобных-то обстоятельствах вновь выказывали себя прежние русские. Они, купцы, сохранили их одеяние, их характер; бороды придавали им вид почтенный и внушительный. Подобно предкам своим, они не имели других указаний, других правил, кроме 4 пословиц, в которых заключались побуждения к их хорошим и дурным делам:

Велик русский Бог.

Служи царю верой и правдой.

Двум смертям не бывать — одной не миновать.

Чему быть, того не миновать.

Вот что делает настоящего русского человека надеющимся на Бога, верным своему государю, равнодушным к смерти и безгранично предприимчивым. Его усердие, мужество и верность обнаружились во всем блеске в продолжение 1812 года. Он действовал по собственному побуждению, руководясь собственным инстинктом. Древняя история представляет мало примеров подобной преданности и подобных жертв; а история нашего времени вовсе их не представляет.

Государь, по прибытии в Слободской дворец, оставался несколько минут в своих апартаментах, куда и я пришел, чтобы доложить ему обо всем, что происходило. Мы говорили об ополчении; но между тем, как он рассчитывал только на 10 000 чел., я был вполне уверен, что наберется больше. После этого государь пошел в дворцовую церковь, где служили молебствие, а по выходе оттуда направился

в залу дворянства. При входе туда он имел вид озабоченный, так как шаг, который ему приходилось делать, должен быть тяжел для всякого властителя. Он милостиво поклонился присутствующим, а затем, собравшись с духом, с лицом воодушевленным, произнес прекрасную речь, полную благородства, величия и откровенности. Действие, ею произведенное, было подобно действию электричества и расположило всех к пожертвованию части своего имущества, чтобы спасти все. Фельдм. Гудович, как старейший по своему званию, заговорил первый и тоном старого, верного слуги отвечал, что государь отнюдь не должен отчаиваться в успехе своего дела, священного для всей России; что все они, дворяне, готовы пожертвовать всем имуществом, пролить последнюю каплю крови, и в конце предложил государю одного человека с 25-ти, снабженного одеждой и месячным продовольствием. Только что успел фельдмаршал окончить свою речь, как несколько голосов закричало: «Нет, не с 25-ти, а с 10-ти по одному человеку, одетому и снабженному провиантом на три месяца». Крик этот подхвачен был большей частью собрания, которое государь благодарил в весьма лестных выражениях, восхваляя щедрость дворянства, а затем, обратясь ко мне, приказал прочесть положение об организации ополчения. Я заметил его вел-ву, что помянутое положение составлено было при иных условиях, — что там шла речь о формировании отряда лишь из людей, добровольно представленных; но что теперь, когда дворянство само определило численность ратников, которых оно поставит, прежнее положение являлось уже неподходящим. Государь согласился с моим замечанием, раскланялся с собравшимися дворянами и, пройдя в залу, где находились купцы, сказал им несколько лестных слов, сообщил им о предложении дворянства и, приказав мне прочитать им правила, выработанные 2-ю комиссией, сел в карету и уехал в Кремль. Я не дал купечеству времени остынуть. Бумага, чернила, перья были на столе, подписка началась и, менее чем в полчаса времени, дала 2 400 000 руб. Городской голова, имевший всего 100 000 капитала, первый подписался на 50 000 руб., причем перекрестился и сказал: «Получил я их от Бога, а отдаю родине».

Я возвратился в Кремль, с известием о сборе 2 400 000 р. и застал государя в его кабинете, с гр. Аракчеевым и с Балашовым. Десятый человек с населения представлял итог в 32 000 чел., снабженных продовольствием на 3 месяца; да сверх того сумма, пожертвованная купцами. Госу-

дарь заявил мне, что он весьма счастлив, что он поздравляет себя с тем, что посетил Москву и что назначил меня ген.-губернатором. Затем, когда я уже уходил, он ласково поцеловал меня в обе щеки.

По выходе в другую комнату Аракчеев поздравил меня с получением высшего знака благоволения, т. е. поцелуя от государя. «Я,— прибавил он,— я, который служу ему с тех пор, как он царствует,— никогда этого не получал».

Балашов просил меня быть уверенным, что гр. Аракчеев никогда не забудет и не простит мне этого поцелуя. Тогда я посмеялся этому, но впоследствии получил верное доказательство тому, что министр полиции говорил правду и что он лучше меня знал гр. Аракчеева.

Теперь надо объяснить, почему собрание явилось столь щедрым и столь благородным. Предложение фельд-маршала было правильным и разумным; но два первые голоса, усилившие это предложение до десятого человека, исходили из двух голов, весьма одна от другой отличных. Один из этих господ, человек чрезвычайно умный, предлагал такую меру, которая ему ничего не стоила, потому что он не имел поместий в Московской губернии,— и пустил в ход свое предложение, как пускают какую-нибудь шутку. Другой же господин, обладавший сильными легкими, был человек низкий, глупый, на дурном счету при дворе; он предложил мне свой голос из-за чести быть приглашенным к высочайшему столу. И вот чем столь часто руководятся собрания, вот как действуют они, подавая голоса по увлечению и необдуманно! Газетчики, биографы, сочинители исторических романов превозносили иного человека до небес за какой-либо его поступок или за слово; а между тем он, может быть, совершив этот поступок или сказав это слово, тотчас же в том раскаялся.

Государь пробыл еще четыре дня в Москве. Донесения из армии постоянно сообщали об отступлении к Смоленску, потом о прибытии в этот город и о соединении Багратиона с Баркляем. Неприятель уже занял Минск, Могилев и Витебск. Страх распространился по Москве; но присутствие государя занимало умы. Приехавший из Петербурга курьер привез известие, что наследный принц шведский Бернадот готовится приехать в Або, чтобы иметь там совещание с государем, и что новый английский посол, лорд Каткерт, тоже прибудет туда. Вел. кн. Константин приехал из армии Баркляя. Последний, находя его присутствие в главной квартире бесполезным и стесни-

тельным, послал его курьером к государю, в Москву, под тем предлогом, чтобы он дал словесный отчет о положении наших войск и о планах главнокомандующего. Государь хотел было оставить вел. князя в Москве, для формирования там конного полка, что великий князь считал возможным исполнить в две недели, забирая подходящих ему людей и лошадей повсюду, где бы такие ни встретились. Предвидя неудобства его пребывания в Москве и дурное впечатление, которое произведет эта манера формирования полка, я просил государя, не благоугодно ли ему будет дать другое назначение вел. князю, во избежание неприятностей, так как я вынужден был бы нести ответственность за поступки последнего в такой момент, когда мне необходимо было посвящать свое время на бесчисленные и первостепенной важности занятия. Государь согласился со мной, хотел поручить своему брату формирование нижегородского ополчения, но, за отказом его и вследствие его просьбы, согласился отпустить его в армию.

Я горячо желал отъезда и удаления от Москвы великого князя Константина. Партия мартинистов, действовавшая тайно и настойчиво, посеяла в умах фрондеров и трусов такую мысль, что император Александр есть причина тех опасностей, которым страна подверглась, что царствование его не могло быть иным, как несчастливым, и что надо бы поставить на его место брата его Константина. План этот, столь же безумный, сколько ужасный, никогда не мог осуществиться, потому что это значило бы прислуживаться Наполеону и губить государство, возбуждая революцию в такую эпоху, когда нельзя было достаточно сообщать устойчивости и силы правительству посредством пожертвований, единодушия и спокойствия, и, конечно, не подрыванием оснований можно было предохранить здание от разрушения. Ни в то время, ни потом я ни слова не говорил об этом государю, чтобы не дать ему новых беспокойств и не посеять в нем семя подозрительности к его брату, который был совершенно чужд коварных происков злых людей и который, при своем живом и лояльном характере, с отвращением отверг бы всякое преступное предложение. Низость тоже примешалась к скрытому предательству; таким образом, в то время, когда вел. князь торопился приготовлением к отъезду, Валуев стал говорить ему: «Ваше выс-во, оставайтесь здесь, не удаляйтесь от собора, это ваше место». На это вел. князь, не понявший смысла его слов, отвечал:

«Предоставляю вам молиться там Богу, я же еду в армию, сражаться, — там мое место».

Это мартинистское общество образовалось в 1780 году. Некто Шварц, профессор немецкого происхождения, положил первые ему основания и не замедлил приобрести многих прозелитов. После его смерти некий г. Новиков, ген.-майор в отставке, человек умный, образованный, но совершенно расстроенный в своих делах, сделался главою секты. Он увеличил число посвященных, расширил свои связи, купил большой дом, где поместил типографию для печатания книг мистического содержания, написанных на русском языке или переводных. Он избрал нескольких студентов университета, чтобы сделать их прозелитами, и послал их на счет общества кончать образование в чужих краях. Историограф Карамзин, бывший тогда еще очень молодым человеком, находился в их числе; но по возвращении оттуда он по благоразумию и вследствие своих романических наклонностей отрешился от этого общества, где очень на него за то негодовали. На общество мартинистов не обращали большого внимания, так как они отличались от других лишь раздачей милостыни и делами милосердия, что вместо подозрения навлекало на них благословение и уважение. Но одно из писем известного Вейсгаупта, не знаю каким случаем, дошло до императрицы Екатерины. Оно адресовано было на имя Новикова и заключало в себе несколько фраз, смысл коих был скрыт. Так как планы и цели иллюмината Вейсгаупта стали уже в то время известны, то письмо это возбудило тревогу и заставило прибегнуть к мерам строгости. Послали приказ тогдашнему московскому ген.-губернатору кн. Прозоровскому. Согласно смыслу этого приказа, один из советников правления отправлен был, при конвое, в деревню Новикова для того, чтобы арестовать его, привезти в Москву и забрать все его бумаги. Советнику не стоило никакого труда исполнить данное ему поручение. Приехав в полночь, он нашел Новикова в кругу нескольких молодых людей, с почтением слушавших его слова. Перед отъездом своим он давал им наставления, как вести себя, и оставил их, обливаясь слезами. Так как он не хотел давать кн. Прозоровскому никаких объяснений, то был отправлен в Петербург и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где оставался до восшествия на престол Павла I. Главные члены этой секты: кн. Трубецкой и Лопухин были высланы из столицы. Секту эту подвергли осмеянию; даже выставляли ее на театральной сцене. Она несколько расстроилась, была обречена на

молчание, но не уничтожилась. Агентом ее при Павле, тогда еще вел. князе, был Плещеев, человек умный и интересный во многих отношениях, который под личиною искреннего благочестия был, в глубине души, мартинистом. По воцарении имп. Павла секта заявила о своем возобновлении гонением, которое возбуждено было ею против Прозоровского. Плещеев тотчас же вызвал из Москвы Лопухина, намереваясь провести его в статс-секретари, и еще одного приходского священника, хорошего проповедника и тоже мартиниста, чтобы сделать его духовником государя. Но это не удалось; Павел охладил к секте и, по-видимому, не обращал на нее внимания; но, допустив ее существование, он дал ей время, в продолжение его царствования, распространиться и расширить свои ветви. При воцарении Александра I в 1801 г. секта начала делаться весьма внушительной, пользуясь покровительством некоего Кошелева — человека упрямого, ограниченного, тщеславного, достигшего преклонных лет и мучимого честолюбивой мечтой: быть при жизни своей государственным человеком, а после смерти маленьким святым. Он совершенно овладел умом одного кн. Голицына, человека светского, весельчака и шутника; а когда последний сделался министром духовных дел и народного просвещения, то мартинизм, опираясь на этих двух апостолов, открыто поднял голову и, под рукою, стал преследовать всех тех, которые глядели на это духовное общество как на оперную трупку и на толпу одураченных людей. В числе членов своих в Москве они имели несколько сенаторов; но самыми деятельными и влиятельными между ними были: г. Ключарев и г. Поздеев. Первый из них, человек низкого происхождения, раз уже исключенный из службы за воровство, сумел дойти до места московского почт-директора и состоял на очень хорошем счету у государя. Это был человек умный, но без всяких нравственных правил, тщеславный, грубый и корыстолюбивый. Подчиненные смертельно его ненавидели.

При самом начале войны меня уведомили о прокламации Наполеона, которая ходила по рукам в Москве и была написана по-русски. Через 24 часа добрались до источника и открыли, что автором этой бумаги был сын одного довольно зажиточного купца В е р е щ а г и н а. Его арестовали, но он никогда не хотел сознаться, от кого получил этот манускрипт, который не мог быть сочинен им. Он говорил, что перевел его из одной польской газеты, а сам не знал польского языка. Я приказал свести его, при сопровождении одного из полицеймейстеров, в почтовую контору,

чтобы видеть, какое впечатление произведено будет там появлением этого молодого человека. К великому удивлению полицеймейстера, г. Ключарев увел юношу в свой кабинет и, выйдя оттуда через четверть часа, весьма расхваливал его, признавая за ним большую легкость в письменном изложении, и, в доказательство сего, просил полицеймейстера передать мне исписанную бумагу, уверяя, что это сочинение, импровизированное Верещагиным на заданную тему. Тема эта была: торжество России. Когда полиция отправилась в дом Верещагина отца, чтобы забрать бумаги сына, то последний, при выходе оттуда, приблизился к своей мачехе и сказал ей что-то на ухо. Женщина эта, допрошенная обер-полицеймейстером, объявила, что молодой Верещагин сказал ей, чтобы она на его счет не беспокоилась, так как г. Ключарев берет его под свое покровительство. Из бумаг же его открылось, что он был воспитан каким-то силезским уроженцем, придерживавшимся мистицизма. По прошествии некоторого времени мне принесли несколько листков, которые были рассылаемы по почте во все города, находящиеся на большой дороге. Манера их изложения вовсе не соответствовала видам правительства. Ополчение называлось в них насильственной рекрутчиной; Москва выставлялась унылой и впавшей в отчаяние; говорилось, что сопротивляться неприятелю есть безрассудство, потому что при гениальности Наполеона и при силах, какие он вел за собой, нужно божественное чудо для того, чтобы восторжествовать над ним, а что всякие человеческие попытки будут бесполезны. Открылось, что листки эти были продиктованы доверенным секретарем Ключарева, которого я немедленно отослал в Петербург к министру полиции. За самим Ключаревым я учредил надзор и воспретил ему иметь у себя собрания; но так как он вздумал бравировать меня и не слушаться, то я, однажды вечером, приехал к нему и, опечатав бумаги, самого его отправил, с полицейским офицером, в Воронеж, за 500 верст от Москвы, под надзор полиции.

Другой глава мартинистов, г. Поздеев тоже имел у себя собрания в определенные дни; но он был покорнее Ключарева и запер свои двери для гостей. К счастью, вопреки множества прозелитов, которых он имел даже между купечеством, слухи, распускаемые им, не имели тех результатов, на какие он льстился. Общество было слишком занято, слишком озабочено для того, чтобы хоть на одну минуту увлекаться легковерием и обманами, так что всякий слух, который пытались распространить, встречался с не-

доверием. Самым ядовитым из этих слухов был, будто Наполеон есть сын императрицы Екатерины, которого она приказала воспитывать в чужих краях, и будто на одре своей смерти она потребовала от имп. Павла клятвы, что он уступит половину Российской империи своему брату Наполеону, если тот когда-нибудь придет туда.

Дворянству пришлось собраться еще в другой раз, для выбора начальника московского ополчения. Наибольшее число голосов получил ген. Кутузов, который, уступив начальство над Дунайской армией адмиралу Чичагову, должен был отправиться в Петербург. После него честь выбора оказали мне, хотя и совершенно напрасно, так как, будучи ген.-губернатором московским, я не мог отлучаться из города. Третьим был отставной ген.-лейтенант гр. Морков, проживавший в своих подольских поместьях. Его выбор и был утвержден государем. К нему послали курьера с приглашением явиться.

В собрании этом произошла вещь довольно забавная. Ген. Апраксин, который никогда не может оставаться покойным и убедиться в том, что никто его не желает, поместил себя в список для выбора в начальники московского ополчения; но, несмотря на все интриги, на все хлопоты, получил при баллотировке 490 голосами всего 13 белых шаров. Перед отъездом из Москвы государь поручил ген.-лейтенанту гр. Толстому (тому самому, который выказал столько благородства и твердости во время своего посольства в Париж, к Наполеону) формировать ополчение в приволжских губерниях. Он должен был отправиться в Нижний Новгород и повести там дело так же, как в Москве, с той разницей, что уже наперед было определено количество людей, которое каждая губерния должна была поставить, соответственно своему населению. Это самое ополчение отправилось к армии в 1813 г. и участвовало в блокаде Данцига и осаде Гамбурга.

День отъезда государя весь прошел у меня в занятиях. Я пришел проститься с ним около полуночи, и он предложил мне стать во главе ополчения шести, пограничных с Московской, губерний. Я просил избавить меня от этого, и он, по-видимому, на то согласился. Я испрашивал у него повелений и инструкций относительно того, что должен делать при таких или иных обстоятельствах, но не получал другого ответа, кроме следующего: «Предоставляю вам полное право делать то, что сочтете нужным. Кто может предвидеть события? и я совершенно полагаюсь на вас». Он сообщил мне только, что оставил генер.-адъютанта Куту-

зова при армии, чтобы тот, в случае потерянного сражения, приехал донести ему об этом. Он не захотел, чтобы я проводил его до заставы, сел в свою коляску и уехал, оставив меня полновластным и облеченным его доверием, но в самом критическом положении, как покинутого на произвол судьбы импровизатора, которому поставили темой: «Наполеон и Москва».

* * *

На другой день после отъезда государя я занимался рассылкою орденов и объявлением разных милостей, которые его величество даровал, по моему ходатайству. Когда министр полиции представлял составленный мною наградной список, то предложил государю дать мне орден св. Владимира 1-й ст.; на это государь сообщил ему о нашем петербургском условии, т. е. чтобы меня лично ничем не награждать; но для придачи мне большей власти я был наименован «главнокомандующим» в городе Москве и его губернии — титул, которым пользовался лишь генерал, начальствующий армией.

В тот же день я поместил оба комитета в ген.-губернаторском доме, и хотя первый из них сделался совершенно бесполезным после предложения дворянства дать десятого человека, однако государь повелел мне предоставить назначенным им лицам собираться в заседание. Они ничем не занимались, а только спорили и противоречили ген. Апраксину, который беспрестанно хотел вмешиваться в дела, его не касающиеся, предлагал меры, которых не принимали, и рассылал приказания, которым не повиновались.

Чтобы свободно располагать послеобеденным временем, я каждое утро, в 8 ч., приезжал в генерал-губернаторский дом. Там был мой рабочий кабинет, где я принимал донесения, просьбы и тех лиц, которым нужно было говорить со мною. Это было удобнее для всех, так как помянутый дом находится в центре города. С июля до 29 августа не было ни одного утра, чтобы я не приезжал туда. Оставался я там до 2 часов пополудни и возвращался к себе на дачу к обеду, после которого все время посвящал занятиям. Около 7 час. я оставлял дом, чтобы объездить некоторые городские кварталы. Часто прогуливался я в Кремле, куда присутствие мое привлекало многих лиц из купечества и простого народа, с которыми я разговаривал запросто, сообщая им какие-нибудь добрые вести, которые они потом шли распространять по городу. Однако надо было быть

весьма осторожным с этими людьми, потому что никто не обладает большим запасом здравого смысла, как русский человек, и они часто делали такие замечания и вопросы, которые затруднили бы и дипломата, наиболее искусившегося в словопрениях.

Вечера я проводил всегда у кн. Хованского, который принимал у себя много народа; там происходил обмен новостей, сопровождаемый долгими рассуждениями о военных действиях, о движениях армий, их успехах и т. п. Я возвращался к себе домой около полуночи и, прежде чем лечь, писал и посылал по эстафете донесения государю.

Утренние собрания в генерал-губернаторском доме представляли зрелище очень любопытное: тут сходились лица всех возрастов и чинов, все люди праздные и привлекаемые любопытством, узнать что-либо положительное; то было подобие биржи, почтовой конторы, морского порта; для всех этих любопытствующих я был предметом общего наблюдения, и когда я появлялся после прибытия курьера, то все глаза устремлялись на меня, стараясь прочесть на лице моем, какого рода известие мною получено. С наблюдений этих часто возвращались, находя, что выражение мое было веселым и спокойным, а между тем у меня была смертельная скорбь на душе. Большая часть этих случайных Лафатеров не знала, что я был очень силен по части пантомимы и в молодости своей отличался актерским искусством.

Усердием и любовью к родине внушены были весьма благородные и возвышенные намерения четырем лицам: молодые графы Мамонов и Салтыков, обладатели больших имений, предложили сформировать на свой счет по одному конному полку, которых начальниками назначены были они сами. Немедленно приступили они к делу и израсходовали суммы громадные для частного человека. Кн. Николай Гагарин и г. Демидов взяли на себя расходы, каждый отдельно, по обмундированию одной дружины московского ополчения. Так как все молодые люди гражданского ведомства хотели служить в армии, то присутственные места запустили и Сенат остался без прокуроров.

На другой день по отъезде государя из Москвы пришли вечером известить меня о прибытии из Смоленска ген.-адъютанта Кутузова. Это был тот самый, о котором государь сообщил мне, что он должен привезти известие в случае поражения нашей армии. Как ни уверял он меня, что сражения не было, что Наполеон находился в Минске,

а наши войска в Смоленске, — я настаивал на том, чтобы он сознался в проигранном сражении, и передал ему то, что государь мне насчет его говорил. Наконец, удостоверенный его честным словом, я дал ему уехать, проведя с ним целый час в сомнениях и тревоге. Потом уже я узнал, что Кутузову было поручено многими выдающимися генералами просить государя о замене Барклая кн. Багратионом по причине несогласий, господствовавших между ними, и недостатка деятельности в нашей армии. Источник этих ссор заключался в том, что кн. Багратион был старше Барклая в чине, но последний опирался на свое звание военного министра и тотчас же после соединения его армии с армией кн. Багратиона взял над нею начальство. Так как оба они очень дорожили мнением Москвы, то часто писали мне письма, полные жалоб друг на друга. Но Барклай, будучи более благоразумным, сохранял и более достоинства; между тем как кн. Багратион говорил глупости о своем товарище и хотел выставить его то человеком бездарным, то изменником. Барклай был человек благородный, но осмотрительный и методичный; он сделал карьеру, благодаря своим личным достоинствам, всегда служил отлично, был покрыт ранами. Забота его состояла лишь в том, чтобы сохранить армию, вести свое отступление в полном порядке. Храбрости он был испытанной и часто изумлял своим хладнокровием в опасности. Багратион же, одаренный многими качествами, присущими хорошему генералу, был слишком необразован для того, чтобы иметь главное начальство над армией. Он очень тщеславился тем, что был учеником и любимцем великого Суворова. Он все хотел сражаться, потому что Барклай избегал сражения, и если бы он командовал армией, то подверг бы ее опасности, а может быть, и погубил, упорствуя в обороне Смоленска.

Во время занятий, не оставлявших мне ни минуты покоя, злая судьба моя привела в Москву г-жу Сталь. Надо было видаться с нею, приглашать ее к обеду и успокаивать насколько возможно. Она прибыла из Швейцарии и проезжала через Россию, чтобы укрыться в Швеции, у наследника принца Бернадота, который, по ее словам, был ей близким другом. В Москве она остановилась на неделю, по случаю болезни ее сына. Спутниками ее были: ее корректор, ученый Шлегель и некий г. Ру, которого она выдавала и мне представила под именем барона Лефора, думая, может быть, придать ему более важности. Этот Ру — длинный, истощенный и страдающий одышкой господин — захворал, увлекшись русским напитком, называемым кис-

лые щи. Г-жа Сталь все жаловалась и страшно боялась, как бы Наполеон, занятый единственно ее преследованием и бесясь на то, что она ушла, не послал бы отряда кавалерии, чтобы похитить ее из Москвы. Чтобы более убедить меня в том, она всегда прибавляла: «Вы знаете этого человека, он на все способен!» Так как в то время, когда она опасалась быть похищенной по приказу Наполеона, последний находился еще на расстоянии 800 верст от Москвы, то я не принимал никаких мер для воспрепятствования этому похищению.

Государь, остановясь на несколько часов в Твери, у сестры своей, великой княгини Екатерины, повелел написать приказ, которым ставил меня во главе организации ополчения в 6 губерниях. Тверская и Ярославская должны были выставить по 12 000, а Владимирская, Рязанская, Калужская и Тульская по 15 000, что составляло 84 000 чел., а с московским ополчением 116 000. Приказ этот еще подбавил мне работы. Я отправил курьеров к гражданским губернаторам названных губерний с указаниями правил, которых они должны были придерживаться. Я назначил сборные пункты, и в 24 дня ополчение это было собрано, разделено по дружинам и одето; но так как недостаточно было ружей, то их, ополченцев, вооружили пиками — бесполезными и безвредными. Если б осуществили мою мысль, заявленную в 1811 г., то имели бы 640 000 чел., взяв одного человека из 25-ти, было бы время для их распределения, формирования, а также для того, чтобы обучать их во время переходов на указанные пункты; они были бы прилично и удобно одеты; следовало бы взять все ружья из арсеналов и усилить деятельность оружейных заводов; в пушках и порохе не было бы недостатка. Ополченцев разделили бы на несколько корпусов, немедленно двинули бы в поход; из самых отдаленных губерний они в 6 месяцев пришли бы на границу, где следовало бы быть театру войны. Предполагая, что четвертая часть их осталась бы позади и не оказалась налицо, все-таки было бы полмиллиона отличных солдат для подкрепления армии, в которой считалось около 300 000 бойцов. Повсюду имелись бы резервы, и неприятелю можно было бы противопоставить двойное, относительно его, число сражающихся. А так как война эта сводилась главным образом к истреблению людей, то кто в сражении имел бы их большое число, тот и одержал бы победу, и я не знаю, решился ли бы Наполеон, сведав об этом, предпринять поход в Россию. Европа была бы спокойнее, а он остался бы императором в Тюлье-

ри. Около этого времени прибыл ко мне французский бригадный генерал Сан-Жени, взятый в плен в каком-то деле, происходившем после занятия Вильны. Это был красивый и очень сдержанный человек. Он обедал у меня, а нанимал маленькую квартиру, где и оставался до вступления неприятеля.

Москва была спокойна, пока наши армии, соединившиеся под Смоленском, пребывали в бездействии; обыватели льстили себя надеждою, что кампания окончена. Город, между тем, наполнялся эмигрантами и беглецами из белорусских провинций, покидавшими свои поместья ввиду приближения неприятеля и стремившимися в столицу, которую считали местом, обеспеченным от опасности. Они рассказывали о злодействах и святотатствах, совершаемых наполеоновскими солдатами. Один из их отрядов прибыл в какую-то деревню и застал там помещика с его семейством. Солдаты эти предались всякого рода насилиям и не пощадили ни дочери, ни племянницы владельца. Первая вследствие этого умерла на другой день, а вторую, при смерти, привезли в Москву. Одновременно с распространением этого известия узнали, что кавалерия неприятельская обращает церкви в конюшни. Я поторопился как можно скорее обнародовать оба эти известия. Первое из них доказало дворянству, что плохо было бы ожидать прибытия противника, и приготовило всех к мысли об отъезде, который и был единодушно решен во всех семействах. Второе известие относительно осквернения церквей возбудило чувство мести и гнева в узнавшем о том народе и было первой причиной умерщвления солдат крестьянами.

Главнокомандующий адресовался ко мне, чтобы получить от Москвы множество разных предметов, нужных для армии. Он испрашивал, между прочим, большое количество хлебного вина, и так как губернские магазины были наполнены запасами оного, то я организовал транспорты, отправлявшиеся каждые три дня на наемных подводах. Эти транспортировки продолжались до половины августа, когда подрядчики отказались продолжать оные, вследствие необеспеченного своего положения среди войск, которые забирали их лошадей. Впрочем, при отступлении от Смоленска армия проходила через многие мелкие города, оставляемые во власти неприятеля, как, напр., Дорогобуж, Вязьма, Гжатск, Можайск, где находились значительные склады водки, которая и забиралась с собою.

Время от времени полиция забирала кое-каких появившихся болтунов, но так как я не желал оглашать подобные истории, то вместо того, чтобы предавать суду этих людей, которые сами по себе не имели значения, я отсылал их в дом умалишенных, где их подвергали последовательному лечению, т. е. всякий день делали им холодные души, а по субботам заставляли глотать микстуру. При вступлении неприятеля в Москву там находилось из такого сорта лиц — 3 женщины и 10 чел. мужчин.

Страх, подозрительность к иностранцам и похвальное усердие обращали каждого человека в правительственного агента. Так как опасались шпионства и могли обвинять в нем иностранцев, то я приказал объявить, чтобы тех лиц, которые по каким-либо приметам были заподозреваемы и забираемы, приводили ко мне для допроса. Скоро мне пришлось поздравить самого себя с принятием этой меры, потому что каждый день стали приводить ко мне людей, вовсе не занимавшихся шпионством. Я вразумлял народную толпу, их приводившую; ошибка выяснялась, и тогда заподозренное лицо тотчас же отпускалось на свободу. Однажды ко мне привели русского поваренка, заику и дурачка; так как он не мог довольно быстро ответить на вопрос, из какой он земли, то его и забрали. В другой раз мой сапожник-немец, узнавший между арестантами некоторых своих земляков, купил им белого хлеба и вследствие сего был приведен пред мое судилище. Но народ сам никого не истязал. К захвату этих мнимых шпионов поощрил между прочим следующий случай: один немецкий лекарь вздумал проповедовать прислуге того дома, где он жил, и рисовал ей картину счастья, каким бы она пользовалась под властью Наполеона. Один из этих людей призвал на помощь других, и все они донесли на помянутого народного оратора. Я вызвал служителя, верного своей присяге, и при всех вручил ему награду в 1000 рублей, лекарь же был посажен в тюрьму.

Другой случай: я взял к себе вторично француза-повара, который был у меня в услужении в Петербурге. Ученики его, работавшие с ним, донесли, что он сманивает их к Наполеону. Я поручил двум полицеймейстерам удостовериться в истине этих показаний, и так как повар оказался сильно увлекающимся в пользу неприятеля, то я приказал арестовать его, предать в руки правосудия и сослать в Пермь.

Но пока в Москве усматривали шпионов там, где их не было, в главной квартире открыта была измена; но изменника не нашли. Когда генер. Барклай произвел наступательное движение от Смоленска, один из наших конных отрядов захватил коляску генер. Монбрена, и в бумагах его найдена была записка, сообщавшая ему о плане атаки, которую Барклай намеревался произвести. Подозрения пали на находившихся в нашей службе польских офицеров, которые, будучи адъютантами государя, следовали при нашей главной квартире. За расследование взялись неумело и не открыли ничего; но с этой минуты Барклай усвоил себе обычай отсылать в Москву тех лиц из армии, которые казались ему подозрительными. Первым прибыл полковник Влодек. Я принял его хорошо, часто с ним виделся и никогда не считал его способным на измену. Вторым был барон Левенштерн, который полагал, что прислан в Москву курьером, и даже выражал нетерпение при его долгой неотсылке назад, в армию, но когда я показал ему письмо Барклая, в котором тот просил задержать означенного офицера в Москве, потому что его заподозрили в посещении ночью французских аванпостов, то он поблагодарил меня за то, что я так деликатно с ним поступил, но сообщил мне, что теперь пустит себе пулю в лоб, не будучи в состоянии пережить столь позорящего подозрения. Я объявил ему, что он властен лишить себя жизни, но что самоубийством этим только подтвердит подозрение, вместо того чтобы его уничтожить. Он был поражен моим рассуждением, успокоился, и я, на свой страх, отослал его обратно в армию. В Бородинской битве он дрался отчаянно и был ранен двумя пулями.

Согласно желанию ген. Барклая, я имел в главной квартире одного чиновника, доставлявшего мне известия о том, что там происходило. 8-го августа, в 6 час. утра, я был разбужен курьером, привезшим мне известие о взятии Смоленска, со всеми подробностями дела. Не теряя ни минуты, я разослал четырех курьеров. Одного к ген. Милорадовичу, находившемуся в Калуге, где был сборный пункт 24-тысячного корпуса, сформированного им в Малороссии. Он имел приказание идти с этим корпусом к Смоленску. Я ему советовал выступить безотлагательно, с тем числом войск, какое имелось под рукою, и двинуться на Вязьму. Прочие курьеры, с подобным же предложением, посланы были: 1) к генералу, командовавшему резервною артиллерией, расположенной по квартирам в разных городах Московской и Тульской губерний, 2) к кн. Лобанову,

сформировавшему 16-тысячный пехотный корпус во Владимире, и 3) к генералу, который тоже сформировал два полка в Клину. Последние должны были сблизиться к Москве, следуя по большой петербургской дороге.

По отъезде всех курьеров надо было изготовить мой бюллетень и объявить о взятии Смоленска, который, в общественном мнении, возведен был в оплот Москвы. Я в объявлении своем превозносил до небес героизм одного корпуса, по моим словам — который защищал Смоленск в продолжении 3-х дней и который перешел за Днепр лишь для того, чтобы присоединиться к главной армии и снова остановить врага. Я воспользовался словами бюллетеня Наполеона, где говорилось, что его потери в людях были неисчислимы. Когда, в час завтрака, я спустился вниз, к моей жене, она спросила, что со мною? — и когда я объявил ей о взятии Смоленска, то увидел, как губы ее затряслись и конвульсивное движение пробежало по ее чертам. Я пробовал ее утешить, не зная, что произошло в ней такое потрясение — потому что потеря Смоленска ее не удивила. Насилу произнося слова, она спросила у меня: «А Сергей? — он, значит, убит?» Она спрашивала о сыне, а я не имел возможности прекратить ее опасений, потому что и сам ничего не знал о судьбе нашего сына, служившего адъютантом при Барклае. К счастью, оказалось, что курьер, которого я к себе призвал, видел его и предупредил, что он будет писать при первой okazji. Беспокойство наше прекратилось; но я был так озабочен с 6-ти часов до 12-ти, что мысли мои не следили за моим единственным сыном. Я думал лишь о спасении России и о погибели ее врага. Вне этого мне все казалось почти безразличным.

* * *

Сев в карету, я отправился в ген.-губернаторский дом и дорогою старался придать лицу своему подобающее выражение и обдумывал, что надо будет говорить. Около полудня залы дома наполнились народом, и тут, впервые, беспокойство уступило место страху, который был написан на всех физиономиях. Как ни старался я исчислять подкрепления, которые двинулись вперед и которые через неделю сделают армию нашу многочисленнее неприятельской, — доводы эти мало успокаивали, а чувства обеспеченности всеяли еще меньше. Сам я, до следующего утра, мучился лишь одной мыслью, — что Наполеон остановится в Смоленске до следующей весны; а не надо было

иметь много прозорливости, чтобы видеть в подобной мере великие несчастья для России. Но Наполеон не остановился и сделал первый шаг к своей гибели.

Беспокойство мое прекратилось на следующий день, когда я получил известие о деле при Заболотье, которое французы называли при Валутине. В этот же день прибыли в Москву из армии первые раненые и больные: то были пострадавшие во время дел около Витебска и при отступлении к Смоленску. Все было приготовлено для их приема, и я отвел под госпиталь Головинский дворец, обращенный при Павле в казармы. За офицерами был особый уход. Я организовал отдельный корпус врачей и фельдшеров под управлением г. Лодера, и редко проходил день, чтобы я не посещал больных. Поправились они быстро, благодаря спокойствию и хорошей пище. Позднее пришлось учредить особый надзор за тем, чтобы им не давали кушанья нездорового или в слишком большом количестве. Купцы, при этом случае, следовали принципам человеколюбия и обращались по-братски со своими военными земляками. Часто не знали, что и делать с припасами, приносимыми каждое утро: тут была и говядина, и баранина, и телятина, повозки с белым хлебом и настойками. Помещения больных и раненых офицеров были наполнены сахаром, чаем, кофе, табаком для куренья — так что они не знали, что со всем этим делать, и посылали излишек солдатам. Городские дамы присылали ящики, полные корпии. Многие семейства приняли на свое попечение раненых офицеров, поместили их у себя и ухаживали за ними с самым нежным вниманием. Вновь ожившее московское гостеприимство вступило в свои права, и великодушные находило свою награду в благодарности тех, которые им пользовались.

После взятия Смоленска разлад между обоими главнокомандующими еще усилился. Багратион писал мне письмо с жалобами на Барклая, уверяя меня, что в том-то и в том-то случае он помешал ему побить Наполеона и что, постоянно отступая перед Наполеоном, он приведет его в Москву — чего, по словам Багратиона, никогда бы не случилось, если бы он начальствовал армией. Барклай с каждого места, где он останавливался хотя на сутки, писал мне, что решился дать сражение; а на другой день я узнавал, что он сделал еще переход к стороне Москвы. Не знаю, чем кончилась бы эта вражда Багратиона с Барклаем, если бы они не получили известия о назначении ген. Кутузова главнокомандующим всех армий, т. е. Барклая,

Багратиона, Чичагова и Торماسова. В приказе о том было сказано, что это делалось для того, чтобы подчинить армии старейшему и опытнейшему генералу и чтобы положить конец недостатку согласия между разными предводителями. Те же слова сказаны были в собственноручном письме государя, доставленном мне с курьером. Барклай — образец субординации — молча перенес уничтожение, скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усердием; Багратион, напротив того, вышел из всяких мер приличия и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его мошеником, способным изменить за деньги.

Между тем новый Фабий уже был на пути к армии, и Москва, по этому случаю, дала новое доказательство недостатка в благоразумии. При вести о его назначении все опьянели от радости, целовались, поздравляли друг друга; мужчины и женщины — все были в восхищении. Можно было подумать, что одно присутствие Кутузова обратит в бегство армию Наполеона или поразит ее, как появление головы Медузы.

Государь хорошо знал ген. Кутузова. По возвращении из Або в Петербург он нашел его там и целых десять дней не принимал его к себе, однако наименовал его князем, с титулом светлейшего, в награду за мир, заключенный с Портою. В это же время московское общество, менее удивленное, нежели испуганное отступлением наших войск и начавшее верить в возможность занятия Москвы неприятелем, решилось, для своего утешения, обозвать бедного Барклая изменником. Эти толки дошли до Петербурга, и государь — главным образом для того, чтобы подчинить все одной власти и придать ей более авторитета, — назначил Кутузова; Москва же приписала это уважению государя перед общественным мнением.

Этот ген. Кутузов, тело которого похоронено в петербургской соборной церкви, которому полагается воздвигнуть памятник, которого рискнули называть спасителем России, — имел в 1812 году 68 лет от роду. В турецкую войну, когда он был еще майором, неприятельская пуля пробила его череп, позади глаз; рана эта, названная беспримерной, потому что он вылечился и сохранил зрение, сделала его известным с благоприятной стороны. Этот человек был большой краснбай, постоянный дамский угодник, дерзкий лгун и низкопоклонник. Из-за фавора выспих он все переносил, всем жертвовал, никогда не жаловался и, благодаря интригам и ухаживанью, всегда добивался того, что его снова употребляли в дело, в ту самую минуту, когда он считался навсегда забытым.

Он прибыл в главную квартиру, в деревню, называемую Царево-Займище, приказал стать войскам под ружье, проехал перед их строем, несколько раз повторял солдатам, что: «С такими храбрыми воинами, каковы они, стыдно все отступить перед неприятелем»; потом ушел к себе и отдал приказание армии идти к Вязме, на 7 лье назад.

Тогда самые усердствовавшие увидели, что Суворов целиком ушел в могилу.

По Москве распространили слух, что во время осмотра войск два орла постоянно парили над головой Кутузова, но когда оказалось, что он все приближается к Москве, подобно своему предместнику, то выдумка об орлах была отброшена и предвестие победы обратилось в ничто.

Я послал к нему курьера, который, приехав, отдал ему мое письмо, где я ничего лучшего не нашел сказать, как то, что московские обыватели будут очень счастливы, если им представится возможность поднести ему лавровый венец и титул их избавителя. Я сообщил ему о положении, в каком находится Москва, об имеющихся в ней средствах, об оружии, находящемся в арсенале, и т. д.; к донесению этому я приложил 13 карт губернии Московской и каждого ее уезда отдельно. Над картами этими я заставлял работать день и ночь, с самого начала войны, и работа была окончена.

Он отвечал мне множеством комплиментов, просил о присылке московского ополчения и продовольственных припасов, так как армия терпела недостаток в оных, и говорил, что, возлагая всю свою надежду на Бога, готов делать то, что его честь, усердие и любовь к отчизне предписывают на том высоком посту, куда его поставили.

* * *

С той минуты, как взятие Смоленска сделалось известным в Москве, многие лица решились уехать оттуда; другие же удовлетворялись тем, что держали наготове своих лошадей и экипажи. Благодаря заблаговременно принятым мерам и точному исполнению отданных мною приказаний, я не взял ни одной лошади у частных людей и не говорил кому бы то ни было, что надо уезжать; но я напустил немало страху, давая понять, что опасно оставаться еще долее, и указывая на возможность такого стечения обстоятельств и событий, которое заставит меня реквизировать для армии всех лошадей, находящихся в Москве. Иностранцу покажется невероятным, что 9 уездов Московской губернии, которых неприятель не занимал, доставили

с 15 по 30 августа 52 т. лошадей, с таким же количеством подвод, из которых, конечно, и половина не возвратилась к их владельцам. Когда зажиточное население стало выезжать через заставы: Ярославскую, Владимирскую, Рязанскую и Тульскую, то беспокойство и волнение взбудоражили все головы и наполнили их химерами. На этот раз волнение было гораздо посильнее, чем в 1807 г., когда беспокойство жителей выражалось подобным же образом. Город наполнился слухами о чудесных явлениях и о голосах, слышанных на кладбище, а также пророчествами, которые пускали в ход, сопоставляя некоторые выражения или некоторые слова из священного писания. Отыскивали в Апокалипсисе пророчество о падении Наполеона и о том, что северная страна, которую страна южная придет покорять, будет избавлена избранником Божиим, имя коему Михаил. На утешение верующим, и Барклай, и Кутузов, и Милорадович были Михаилы. По этому поводу происходили и споры, так как народ, за несостоятельностью Кутузова, желал видеть избавителя в великом князе Михаиле. Каждый день в часы моего приема являлись несколько человек с библиями под мышкой; они с таинственным видом объясняли мне разные тексты, подносили мне молитвы собственного сочинения, просили об учреждении крестных ходов, и архиерей совершил один такой ход, — что занимало народ в течение целых суток. Подозрения относительно иностранцев внезапно обратились в ненависть к ним, и уже двукратно составлялся план истребить их; но для осуществления этого плана ничего не было сделано, потому что иностранцы проживали по разным частям города, а те, которые злобствовали на них, сдерживались полицией, бывшей днем и ночью на ногах, а следовательно, и готовой рассеять малейшие сборища. Иностранцы, особенно французы: коммерсанты, артисты и другие лица, проживавшие в Москве, держали себя очень осторожно, так как я, с самого начала войны, дал им предупреждение, через посредство их священников, которым я, по этому предмету, разослал циркуляр. Но русский народ всегда глядел на них косо, вследствие преимуществ, доставляемых им званием иностранца, и обвинял их в том, что они отнимают у него барыши от торговли и работы. Однажды утром гражданский губернатор Обрезков пришел ко мне с заявлением, что имеет сообщить об открытии чрезвычайной важности, и при этом привел ко мне своего русского портного, человека отличного поведения, очень зажиточного и уже довольно старого. Человек этот после нескольких вопросов г. Обрез-

кова, пораженного, при свидании с ним, его расстроенным лицом, признался, что потерял сон и аппетит, что многие из рабочих так же больны, как и он, и что они хотят французской крови. Обрезков притворился одобряющим такое средство и заставил помянутого человека так разболтаться, что тот открыл ему, что имеет уже наготове 300 чел. портных и что надеется на другой день завербовать еще несколько сотен добровольцев, чтобы ночью перебить всех французов, проживавших на Кузнецком мосту. Этот портной и передо мною повторил то же признание и те же подробности. Тогда я арестовал его, приставил к нему полицейского офицера, который не должен был выпускать его на улицу, и объявил портному, что он будет в ответе за всякое нарушение безопасности иностранцев; затем я послал фельдшера, который пустил ему кровь, — и он успокоился. Люди, завербованные этим портным, видя своего предводителя в заключении, уже не думали предпринимать этой ночной экспедиции, которая кончилась бы страшной резней и мятежом. Получив подобное доказательство тому, до какой степени народ был взволнован, я — для того, чтобы успокоить его и усыпить его ярость, — приказал полиции представить мне список тех 40 чел. иностранцев, которые были замечены по своим неуместным речам и по дурному поведению. Я приказал арестовать их, и они, среди белого дня, были посажены на барку, отвезшую их в Нижний Новгород, под надзор полиции. По Москве я объявил, что то были иностранцы подозрительного свойства, которые удаляются согласно просьбе их соотечественников — людей честных. Мера эта, вынужденная обстоятельствами, спасла жизнь помянутым 40 пловцам; потому что, вероятно, они ушли бы вслед за армией Наполеона и погибли бы во время ее отступления.

Два купца, беседовавшие ночью у открытого окна нижнего этажа, слышали на улице спор между собой каких-то двух людей. Один из спорящих заявлял, что пора поджечь некоторые московские кварталы, ударить в набат и начать грабеж. Другой возражал, что надо обождать известий о сражении, которое должно произойти, и что к тому же теперь полная луна. Купцы, услышав такие речи, выскочили из окна, бросились за заговорщиками и успели схватить одного из них. Его привели ко мне в полночь; то был мелкий московский мещанин, торговавший по деревням вразнос. Сначала он заперся во всем и даже жаловался на произведенное над ним насилие. Тогда я ввел его в мой кабинет и там, без свидетелей, отсчитав 500 руб. ассигна-

циями, положил их на стол. Потом я поклялся этому человеку перед образом, что ничего дурного ему не сделаю, кроме разве высылки из города, и что он получит эти 500 р., если откроет мне заговор и назовет соучастников. Он держал меня в недоумении битых два часа. Он хотел сознаться, но не доверял мне, постоянно повторяя: «Хорошо, я-то скажу, да вы мне денег этих не дадите, и я тогда пропал». Наконец, я объявил ему, что если он не хочет быть спасенным и получить обещанную сумму, то я предам его в руки полиции и что через четверть часа его подвергнут пытке: Он сдался и объявил, что их всех с дюжину человек, что они намеревались сделать поджог, ударить в набат и, во время общего переполоха и суматохи, пойти грабить самые богатые магазины. Товарищ, говоривший с ним на улице, был вольноотпущенный дворовый человек. Напали и на его следы и успели его поймать на некотором расстоянии от города; но он успел предупредить других своих товарищей, которые и убежали. Успели захватить лишь троих. Они были посажены в острог, а затем посланы вместе с другими преступниками. Что касается того человека, который открыл заговор, то он получил 500 р. и уехал в Оренбург, где, однако, был оставлен под наблюдением. Так как в замыслах о поджоге играл роль и набат, то надо было лишить злонамеренных людей такого средства распространять тревогу. Ранним утром отправился я к архиерею, для совещания о принятии необходимых мер. Он послал строгое приказание священникам: хранить ключи от колоколен у себя и снять веревки, протянутые к их домам от колокольни, чтобы звонить к утрени и вечерне; но так как двери у многих колоколен были в плохом состоянии, то я поручил это дело всем моим квартальным надзирателям, и в течение дня 93 такие двери были исправлены и снабжены запорами. Я был доволен, а город остался спокоен, потому что не знал о заговоре поджигателей и не понимал причин моей заботливости о дверях и запорах московских колоколен.

За три дня до вступления неприятеля в Москву мне дали знать, что некий Наумов, из мелких дворян, занимавшийся хождением по делам и справедливо пользовавшийся дурной репутацией, подговаривал дворовых людей и указывал им, куда следует собираться, когда настанет время грабить. Он записал уже более 600 человек. Когда я приступил к расследованию дела, мне, между прочим, сообщили, что он хвалился, что сам убьет меня. Этот господин был дурно ко мне расположен, потому что я не хотел дать ему места

при директоре моей канцелярии. Я послал арестовать его, но он бежал, оставив меня в живых и обладателем списка негодяев, которые должны были грабить город под его начальством.

Был, однако, один случай, который, уже под самый конец, чуть было не испортил всего, что было мною сделано для поддержания спокойствия в Москве. Два немецкие ремесленника, очень плохо говорившие по-русски, заспорили с одним менялой и имели глупость сказать ему: «Полно торговаться! через несколько дней мы у вас заберем эти деньги даром». От ругательства дело перешло к драке, и оба немца поплатились бы жизнью за свои неосторожные слова, но, на их счастье, нашелся там полицейский офицер, который взял этих иностранцев под свою защиту. Он остановил наиболее озлившисьших из черни и хотел вести обоих немцев ко мне, но народная толпа противилась этому и кричала: «Наш граф (так они звали меня) оправдает их, и они не будут наказаны; пусть лучше нам дадут расправиться со шпионами!» Полицейский дал знать об этом событии обер-полицеймейстеру, который счел за более верное и более для себя удобное доложить об этом мне. Я был дома и тотчас же решил отправиться на место беспорядка. Я держался правила — никогда не поглажать толпе, иначе она мгновенно теряет к вам уважение. В ее глазах добродушие есть слабость, а потому при поглажке делаешься рабом такого господина, который сам никогда не знает, что делать, и очень редко понимает, что требует. Прибыв к въезду в улицу, ведущую к лавкам, где происходила упомянутая сцена, я нашел ее наполненной народом. Я остановился, а затем пошел вперед один, приказав полицеймейстеру и обоим ординарцам оставаться на месте. Мне очистили дорогу, и я свободно дошел до места свалки, где увидел обоих немцев, сидящих на тротуаре, перед лавками и, по-видимому, сильно помятых. Полицейский офицер стоял впереди, заграждая их собственным телом. Крик был сильный. Но по данному мною знаку толпа замолкла. Я принял строгий вид и, обратясь к народу, спросил, по какому праву они творят самосуд и убивают людей, которые по-русски объясняться не умеют? Никто не отвечал; все стояли сняв шапки. Как вдруг какой-то молодой человек, по костюму судя — мелкий торгаш, стал очень резко говорить мне: «Да пора уж народу самому расправляться, так как вы отдаете его на жертву мошенникам-иностранцам». Так как он стоял очень близко от меня, то ответом моим была здоровенная зуботычина. Он зашатался, а я крикнул: «Живей

привести ко мне штукатура с известкой, чтобы он замазал этот богохульный рот!» Толпа раздвинулась, и человек, ко мне обращавшийся, поспешно ушел. Тогда я приказал полицейскому отвезти обоих немцев на извозчике в больницу, что и было исполнено без малейшей помехи. Оставшись господином поля битвы, я прочел внушительное наставление народной толпе, которая сознавалась, что виновата, прибавляя, что не знает, кто так разбуянился, и прося меня помиловать того парня, которого я ударил. Я простил его, но сам, при этом, превозносил мое великодушие и прекратил все дело, оставшись весьма довольным, что оно разрешилось таким образом.

* * *

Так как государь император, при отъезде своем, говорил мне, а потом и писал, что не замедлит возвратиться в Москву, то я осмелился отсоветовать ему предпринимать это путешествие, поставляя ему на вид, что только выигранное сражение, которое заставило бы неприятели отступить, может спасти Москву от вражеского нашествия, что кн. Кутузов приближается к ней с каждым днем и вскоре не будет в состоянии защитить ее и что в этом случае присутствие государя было бы в ней неуместным и обрекло бы его на то, чтобы быть свидетелем занятия своей столицы, не имея средств воспрепятствовать этому. Совета моего послушались. Я считал и продолжаю считать, что поступил, как подобает верному слуге; ибо надо признаться откровенно, что, с самого начала этой войны, чем более неприятель занимал областей, тем сильнее возрастали мои опасения насчет того — как бы не согласились заключить мир и с одним почерком пера утратить доверие России, а вместе с тем и самую Россию. Можно предполагать, что если бы государь находился при армии, то после Бородинского сражения, желая спасти столицу, он оказался бы склонным к выслушиванию предложений врага, замышлявшего его гибель. Потому что враг отнял бы у него значение в Европе, сначала предписанием постыдного мира, а потом возбуждением смут и раздоров в стране. Через несколько лет тот же враг пришел бы довершить свое дело и разделить остатки России, подвергнув ее той же позорной участи, какая постигла Польшу. Притом Наполеон, может быть, восстановил бы удельных князей или же поделил бы провинции между своими генералами или какими-нибудь знатными лицами русского происхождения, в виде награды за их

предательство и подлость. Хотя нарушение присяги на верность своему государю, переход в ряды противника и содействие его интересам считаются верхом гнусности, но — тот же человек, который станет резаться с другим за обозвание его лжецом, оказывается часто глухим к голосу чести и нарушает свои священнейшие обязанности, как только гнусная приманка материальных интересов ослепит его. Однако, предполагая даже возможность всех таких событий, я убежден, что и в лоскутках Русской империи Наполеон встретил бы не одну Испанию. Дворянство притворилось бы перед ним, духовенство ненавидело бы его, а народ посвятил бы себя смерти и уничтожению своих врагов. Народ этот — лучший и отважнейший в мире — нашел бы бесконечные ресурсы в обширности страны, им обитаемой, в ее климате и даже в ее бедности. Удалось бы покорить часть страны, но никогда не удалось бы укротить ее, и, в конце концов, эта разрушительная борьба опрокинула бы могущество Наполеона, и Россия вышла бы цельною из своих развалин.

Кн. Кутузов, прибыв в Гжатск, потребовал у меня продовольствия для армии, которая теперь находилась в стране, где не было заготовленных магазинов и где даже лучший урожай не может прокормить жителей в течение полугода. Хлеб уже созрел, но какая же была возможность заниматься его уборкой в присутствии двух армий, которые все опустошали: одна — для того, чтобы существовать, другая — для того, чтобы отнять у противника средства к существованию. Однако в губернских магазинах была мука. Я скупил все, что имелось в Москве, и учредил комиссию, которая на другой же день начала свою деятельность. Хлебопеки пекли хлеба, другие разрезали его на кусочки, высушиваемые в печах, нанятых и употреблявшихся исключительно для этого дела непрерывно, в течение дня и ночи. Каждое утро обоз в 600 телег отвозил сухари и крупу в армию, и такого рода продовольствование 116 тыч. человек продолжалось до дня, предшествовавшего вступлению неприятеля в Москву.

Мною было решено, что прибытие нашей отступающей армии в Гжатск должно служить сигналом к вывозу из Москвы всего, что должно было быть оттуда увезено. Не понимаю до сих пор, каким образом все это дошло в указанные места и как не встретилось препятствий в недостатке переменных лошадей! Кроме дел судебных, сенатских, военных комиссий и архива министерства иностранных дел, пришлось увозить заведения ведомства императрицы-

матери, государственную казну, патриаршую ризницу, сокровища соборов, Троицкого и Воскресенского монастырей да еще 96 пушек 6-фунтового калибра. Все это вывезено в течении двух дней и направлено в Нижний, Казань и Вологду.

Приходилось глядеть сквозь пальцы на совершавшиеся при этом злоупотребления. Чиновники требовали тройное число лошадей и повозок. Я встретил несколько таких обозов при их выезде из города и видел телеги, нагруженные дрянной мебелью, неизвестно кому принадлежавшей, но которую хотели спасти. Открыто было, что многие из мелких чиновников отдавали в наймы повозки, назначенные для их собственного употребления. Каждое утро я поднимал шум и достиг-таки того, что уменьшил наполовину число требуемых повозок. Необходимо было, чтобы все совершалось правильно, потому что по окончании распределения подвод и назначения дней отъезда давалось о том сообщение Нижегородскому и Владимирскому гражданским губернаторам, дабы они своевременно распорядились выставлением на границе своих губерний достаточного для каждого транспорта числа лошадей. Независимо от лошадей, я велел приготовить в Коломне такое количество больших судов, какое только можно было собрать, для перевозки водою, в Нижний Новгород, государственного казначейства и сумм приказа общественного призрения, принадлежавших воспитательному дому. Из числа этих больших судов 10 были мною оставлены для перевозки раненых, находившихся в трех больших московских госпиталях. Все прибыло в порядке, ничего не потерялось. Только военная комиссия и главная аптека ничего не спасли, по глупости ген.-лейт. Татищева, который, теряя время и представляя распорядиться чиновникам, дождался того, что несколько барок с холстом были захвачены неприятелем; а потом он послал в военную коллегию рапорт, куда вписали на 2 миллиона вещей, которые даже не были еще сданы и которых обозначили попавшими в руки неприятеля, по причине спада вод.

По мере приближения кризиса, т. е. сражения, о котором Кутузов продолжал возвещать, эмиграция дворянства все усиливалась. Я велел представить себе список экипажей, выезжавших через заставы: Ярославскую, Петербургскую, Владимирскую и Рязанскую, и оказалось, что число берлин, карет, бричек, колясок доходило до 1320 в один день, причем в исчисление это не входили туземные повозки, называемые кибитками и запрягаемые тремя лошадьми

в ряд. Купцы еще держались, и им более тяжело было покидать город, где находились их дома, имущество и торговля. Те, у которых товар был небольшого веса, платили до 8 рублей с пуда при перевозке в Ярославль или в Муром — два города, отстоящие на 240 в. от Москвы. Но торговцы железом и медью принуждены были оставлять весь свой товар в лавках, так как стоимость его была ниже стоимости перевозки. Многие из знакомых мне богатых купцов приезжали ко мне на дачу, чтобы справиться, там ли еще моя жена и мои дети, и присутствие оных успокоивало этих купцов относительно приближения опасности. В последние четыре дня перед занятием Москвы платили до 800 р., вместо 30—40, за проезд на 250 в. во внутренность страны. Цена непомерная! — но ее приходилось платить, чтобы избавиться от позора и спасти жизнь ценою имущества.

* * *

Проснувшись утром 24-го августа, я получил уведомление, что атаман Платов остановился у меня. От него я узнал, что он прибыл в Москву, дабы иметь более средств для посылки приказаний казакам, от которых требовалось поголовное вооружение. Он принимал и отправлял многих курьеров, а после обеда представился купцам и мещанам, которые, в числе около 1000 чел., пришли посмотреть на него. Он им наболтал с три короба; объявил, что, по своим знаниям астрологии, уверен в победе, что приехал помолиться московским угодникам, но что вечером опять уедет в армию. Эти люди считали его знахарем и имели высокое понятие о его способностях и отваге. Они называли его настоящим «патриотическим патриотом». Вечером, когда я сошел вниз, к чаю, прибыл ко мне нашей службы подполковник барон, или граф, Лезер, вручивший мне письмо от генерала Барклая. Это тоже был господин из числа подозрительных, которого меня просили услать куда-нибудь подальше в глубь страны. Пока я писал письмо гражд. губернатору Оренбурга, куда отправлял этого г. Лезера, он, находясь в соседней комнате, завязал ссору с атаманом Платовым. Последний упрекал его за поведение и спрашивал, известно ли ему приказание, которое он отдал на его счет по казачьим аванпостам, где, если бы он показался, его велено убить. Я положил конец этой скандальной сцене, объявив г. Лезеру, что он должен сию же минуту ехать в Пермь, в сопровождении полицейского драгуна. Он раз-

горячился и стал меня спрашивать, по какому праву я его отсылаю. Тогда я дал ему прочесть письмо ген. Барклая, а чтобы убедить его в том, что его путешествие не есть шутка и что он напрасно передо мною забывается, я приказал моему адъютанту взять у него шпагу, и через пять минут после этого он уже скакал по большой дороге.

Прибыв к Колоцкому монастырю, Кутузов оставался там два дня и избрал позицию позади села Бородина, чтобы там дать сражение Наполеону. Он вступил уже в пределы Московской губернии и находился от столицы в расстоянии всего 112 в. Он уступил настояниям генералов и раздражению солдат, которые в разговорах своих обвиняли его в том, что он хочет отдать неприятелю Москву без боя.

Не стану распространяться об этом сражении, где обе стороны дрались с одинаковым ожесточением: русские, чтобы защитить свою столицу, а солдаты Наполеона, чтобы овладеть ею. Не берусь решать, был ли Наполеон в этот день великим или малым, или непохожим на самого себя, но — оба главнокомандующие могли бы избавить род человеческий от этой бойни и сохранить в своих рядах более 90 000 чел., выбывших из строя. Наполеон, следуя по старой Калужской дороге, вступил бы в Москву неделю позже, но с армией более сильной на 52 000 чел., которые были убиты или переранены под Бородиным; а Кутузов, с 116 000 (из коих потерял 30—40 тыс.), стал бы на новой Калужской дороге и не подвергся бы три или четыре раза опасности быть раздавленным. Единственными двумя выгодами, которые Россия извлекла из этого сражения, были: 1) почти окончательное уничтожение французской кавалерии, сильно уже расстроеной походом и недостатками в фураже, и 2) впечатление, произведенное прибытием и рассказами раненых офицеров, разъехавшихся по всем губерниям, где у них были имения или родственники. Это примирило с военными народ, зараженный столичными сплетнями, которые приписывали измене отступление наших войск и обвиняли их в трусости.

Люди, раненные при взятии Смоленска, ежедневно прибывали ко мне тысячами. Уход за ними был хороший. Однажды утром, когда я посетил госпиталь, один из хирургов просил меня уговорить какого-то гренадера, раненного в ногу так, что только ампутация могла спасти его. Этот гренадер — человек 36 лет, с мужественною и благородною наружностью — не хотел слушать моих советов и увещаний. Он отвечал мне: «Зачем вы хотите, чтобы я жил? Мне надо умереть, потому что мы не могли отстоять Смолен-

ска». Он так твердо решился умереть, что мои настояния не имели удачи; но я поручил одному весьма красноречивому священнику поговорить с ним — и тому удалось уговорить его. Ему отрезали ногу; я его видел потом два или три раза, и он поправлялся.

Во время сражения при Бородине Кутузов прислал мне курьера, отправленного в 4 ч. пополудни с письмом, по которому казалось, что он доволен успехами нашего оружия. Курьер сообщил мне, что король Неаполитанский Мюрат взят в плен, что очень порадовало московских обывателей. Впоследствии оказалось, что то был генерал Лами, который назвал себя Мюратом, когда его брали в плен. Сам Кутузов находился в заблуждении до тех пор, пока Лами, приведенный к нему с почетом, подобающим пленному величеству, не сознался в истине. На другой день, в 8 час. утра, я получил от Кутузова второе письмо, где, слегка упомянув о сражении, будто бы выигранном накануне, он говорил о своей решимости возобновить бой и умолял меня прислать как можно более повозок для перевозки раненых, а также сколь возможно более пушечных зарядов и ружейных патронов. Все это было отправлено к нему в продолжение двух часов времени. Я написал краткую записку министру полиции, в которой говорил, что ничего не постигаю в этой победе, так как армия наша была на пути в Можайск. Я узнал об этом от курьера, который, торопя меня отпустить его, имел неосторожность сболтнуть, что наши войска находятся в Можайске, т. е. в 10-ти верстах позади поля сражения. Кутузов рассчитывал, что курьер, при быстром переезде, прибудет в Петербург 30-го августа, т. е. в день тезоименитства государя, и реляция его поднесется в виде букета. В этой реляции, напечатанной и обнародованной, он говорил, что позиции наши были атакованы безуспешно, что неприятель был отброшен и преследуем атаманом Платовым с его казаками на расстоянии 11 верст, до Колоцкого монастыря, и что с рассветом он снова двинется в атаку со всей армией. Обман этот так хорошо удался ему, что он был произведен в фельдмаршалы; всем родственникам его оказаны высочайшие милости, а солдаты получили по 5 рублей на человека. Я уверен, что не так сильно радовались бы этой победе, если б государь тотчас же узнал о записке моей к министру полиции; но курьер, под предлогом, что его долго задержали во дворце, передал мою записку по назначению уже гораздо позже полудня, и я имею основание думать, что он на этот предмет имел маленькую инструкцию от кн. Кутузова. Делая его

фельдмаршалом, думали этим наградить храбрость армии, потому что он, сам по себе, даже не имел возможности видеть того, что совершалось, так как находился за холмом, на расстоянии одного лье от поля сражения. Он полагал, может статься, что от сохранения его персоны зависит спасение России.

День сражения, 26-го августа ст. ст., проведен был Москвою в сильном беспокойстве. У городских застав можно было слышать пушечный гром, а в окрестностях, с подветренной стороны, гром этот разносился на расстояние 30 лье.

На другой день после сражения я получил множество известий и мог теперь вполне знать, в чем дело. Эта важная победа над Наполеоном сводилась к одной из самых геройских оборон. Генералы, офицеры и солдаты дрались как львы. Но неприятель, имевший значительное превосходство в числе войск и сильные резервы у Колоцкого монастыря, к вечеру занял некоторые из наших батарей на крайнем левом крыле и удержался на них... Армия наша, ослабленная на одну треть, с рассветом другого дня стала отступать, оставив на поле сражения своих убитых и раненых.

Я узнал имена убитых и раненых генералов. Более всех интересовал меня ген.-майор гр. Воронцов; пуля пробила ему ляшку, и, если бы не сила и здоровье его организма, он умер бы вследствие своей раны. Деятельность и способности его, как в военное, так и в мирное время, хорошо доказали впоследствии, что Россия много потеряла бы в этом молодой человеке, единственном сыне почтенного отца, который играл важную роль в военной службе и в дипломатии, оказывал выдающиеся услуги своим государям и часто преподавал им уроки. Я с молодых лет привязан был к нему с чувством глубокой благодарности, а смерть сына свела бы и отца в могилу. Свояк мой, ген.-майор Васильчиков, вышел счастливо из этого боя. Три лошади под ним было убито, одна ранена пятью пулями, картечь попала в его одежду, но сам он получил лишь легкую контузию в ногу. Мой сын, — один из трех адъютантов ген. Барклая, не выбывших из строя, — был довольно сильно контужен ядром в руку. Девять его товарищей были убиты или ранены.

Многие из моих знакомых являлись ко мне просить карет для перевозки в Москву их близких родственников, раненных в сражении. Часть их прибыла на 3-й день, и в том числе кн. Багратион. Я поспешил к нему: он был в

полном сознании, страдал ужасно, но судьба Москвы не давала ему ни минуты покоя. Кость его ноги была разбита повыше щиколотки; но сделать ему немедленную ампутацию не рискнули, так как ему было уже около 50 лет и кровь у него была испорченная. Когда утром того дня, в который Москва впала во власть неприятеля, я приказал объявить ему, что надо уезжать, он написал мне следующую записку: «Прощай, мой почтенный друг. Я больше не увижу тебя. Я умру не от раны моей, а от Москвы».

Однажды утром мне доложили, что подполковник нашей службы, принц Гессен-Филипстальский, который был ранен под Можайском и которому отрезали ногу, находится у меня на дворе. Он лежал в коляске и не хотел, чтобы его перенесли в комнату. На другой день, согласно его желанию, он отправился в Ярославль, чтобы воспользоваться заботливостью находившегося там принца Георгия Ольденбургского.

Кутузов умолял меня добыть ему 500 лошадей для перевозки артиллерии. Приказано было привести всех лошадей с извозчичьих дворов и от барышников, и, в присутствии экспертов из их же числа и из купцов, выбрано было 500 лошадей, за которых требуемая цена тотчас же была уплачена. Лошади эти обошлись в 132 т. р., а по прибытии в главную квартиру — более половины их сделалась добычей тех, кому они были нужны.

В это же самое время случилось одно происшествие, доказывавшее, что надежда никогда не покидает человека и располагает народ к легковерию. Пришли мне доложить о большом столпении людей около одной, очень высокой, колокольни, находившейся на краю города, и что повиснувший на кресте оной сокол привлекает внимание всего народа. Я отправился туда не столько из любопытства, сколько для того, чтобы разогнать народ, который всегда склонен выкинуть какую-нибудь глупость, когда соберется толпою. Я застал сборище человек в 1000, глазевшее на несчастного сокола, который, имея путы на ногах, как все соколы, которых дрессируют для охоты, опустился на крест и не мог от него отцепиться. Какой-то прохожий его заметил, обратил на него внимание других, — и вот тысяча зевак остановилась тут, чтобы насладиться зрелищем, которое, по объяснению самых ученых между ними, предвещало торжество над неприятелем; потому что, — говорили они, — сокол преобразует Наполеона, погибающего на кресте. Я стал поддакивать этой бедной толпе, и, таким образом, сокол

явился лучом надежды для дураковых людей, которые никогда не обретаются в меньшинстве.

После Бородинского боя я уже перестал прибегать к разным маленьким средствам для занятия и развлечения умов в народе; да и надо признаться, что все средства уже были истощены. Тяжелая работа для ума придумывать, чем бы можно произвести впечатление на массы, тем более что и успех сомнителен. Тончайшие соображения часто оставались бесплодными, между тем как самые пошлые выдумки оказывали действие необычайное. Наиболее распространялась по России, среди простого народа, сказочка в моем вкусе, которой в одно утро я приказал напечатать 5 т. экземпляров и продавать по грошу штуку. В ней я описывал встречу митрополита Платона с престарелым иноком, который почтительно приблизился к нему за благословением и, сказав, что возвратился сражаться в русских рядах, исчез в глазах всех присутствовавших, оставив по себе сияющий след. И надо заметить, что св. Сергей, бывший монахом в Троицком монастыре, где и покоятся его мощи, сражался в войсках Дмитрия Донского¹ против орды татарина Мамаю и остался победителем.

Курьеры с письмами от кн. Кутузова приезжали ко мне по несколько раз в день. Он всякий раз чего-нибудь требовал, и требуемое посылалось ему без потери времени. Он желал, между прочим, чтобы я употребил мой единственный и плохой гарнизонный полк для захвата мародеров и дезертиров и для воспрепятствования им входа в город, забывая, что город этот был без рвов, без стен и имел в окружности 42 версты. Сделан был еще опыт с небольшим пробным аэростатом; но у него тоже пружины не выдержали. Тогда я велел шарлатану Шмидту убрать свой большой тафтяной шар и отправить его, вместе с рабочими, в Нижн. Новгород, сам же он остался еще в Москве.

* * *

29-го августа Москва была поражена ужасом, когда ночью увидела отблеск наших бивачных огней в расстоянии 40 в. от города. Этот свет открыл и остальным жителям глаза на ту участь, которая их ожидала.

¹ У Ростовчина ошибка: Св. Сергей (Сергий Радонежский) не сражался в войсках Дмитрия Донского; им были посланы к Дмитрию Донскому два инока Пересвет и Ослабя, которые пали в бою на Куликовом поле. (Примеч. сост.)

Простонародье собралось в путь, оставляло город, куда вскоре готовились вступить враги. Проявилось тут и несколько комичных патриотических выходов: одна дама явилась ко мне с предложением составить эскадрон амазонок; актеры русской труппы хотели собственными силами защищать столицу и пришли к ген. Апраксину, отдавая в его распоряжение силу своих мышц и свое доброе намерение. Однако он отказался от этого почетного поста и не пожелал обессмертить себя с 20 театральными героями в римских костюмах.

Однажды, встав от обеда, мы наткнулись в одной из наших гостиных на зрелище, которого никто не ожидал. Там собралось человек 20 раненных при Бородине офицеров, пришедших ко мне за получением денег. Они намеревались отправиться в разные места, довольно отдаленные, чтобы там лечиться. Большая часть их не могла держаться на ногах; одежда их была испещрена кровавыми пятнами; одни опирались на костыли, у других рука была подвязана. Один молодой поручик привлек на себя общее внимание: воротник его был измят; он был контужен так сильно, что ежеминутно харкал кровью. Я снабдил их необходимыми для путешествия деньгами и от души пожелал им выздоровления. Я заметил и дал заметить другим, что, несмотря на страдания, все они держали себя с полным достоинством и жалели лишь о необходимости оставить армию.

30-го августа я приказал закрыть судебные учреждения и чиновникам отправиться в Нижний Новгород. Оставался еще Сенат, где продолжались заседания сенаторов, бывших налицо. Трое из сенаторов принадлежали к обществу мартинистов: 1) Лопухин, тот самый, который был сослан при императрице Екатерине, в эпоху рассеяния названной секты. Этот Лопухин, человек малоспособный, но образованный, сделался пьяницей; он задолжал всем и никому не платил, а в то же время все доходы свои употреблял на раздачу милостыни — не из любви к ближнему, а из тщеславия; 2) Рунич, весьма сильно увлеченный мартинизмом, и человек умный; 3) Кутузов, племянник фельдмаршала, — личность крайне пошлая, стихотворец, пьяница, погрязший в долгах, доносчик и склонный, по личным вкусам, быть шпионом и говоруном своей секты. Эти три господина сговорились между собой послать депутацию в главную квартиру армии, чтобы узнать от главнокомандующего, не находится ли Москва в опасности, а также чтобы пригласить в Сенат меня, для

получения сведений относительно средств обороны и относительно тех мер, которые я полагаю предпринять в настоящих обстоятельствах. Все это было игрою самолюбия, при которой московский сенат претендовал на присвоение себе верховных прав. О планах их я узнал в тот же день, а также и о том, что помянутые три сенатора-мартиниста намеревались уговорить своих товарищей не покидать Москвы, окрашивая такой поступок в чувство долга и в самопожертвование для отечества, по примеру римских сенаторов во время вступления галлов в Рим. Но намерение их состояло в том, чтобы, оставшись, играть роль при Наполеоне, который воспользовался бы ими для своих целей. А к несчастью, Сенат, который есть не более как верховное судилище, играет важную роль в умах народа, как по древности, так и по названию «правительствующий», — хотя состав его далек от того, чем был прежде, вследствие слишком большого числа сенаторов, также выбора их; потому что назначают в их число или плохих генералов, или людей, с которыми не знают, что делать; так что сенаторское кресло служит переходным местом от действительной службы к чистой отставке. Я считал очень важным не оставлять в городе ни одного сенатора, дабы лишить Наполеона возможности действовать на внутренность страны посредством указов или прокламаций, исходящих от Сената. Я решился поэтому на меру, которую в то время, да и потом, находили поступком самовластным. 30-го числа, когда сенаторы, — как честные, так и мартинисты, — совещались, ничего не решая, относительно сообщений, которые следует послать мне, и о депутатии, предполагаемой к отправлению в главную квартиру, — один из моих адъютантов принес им от меня послание, в котором я, именем государя, предлагал им прекратить заседание, избрать который-либо из губернских городов, куда им отправиться, и уезжать безотлагательно. Приходилось повиноваться, так как не осталось выбора между послушанием и мятежом. Большая часть сенаторов была довольна таким распоряжением, так как оно открывало свободный выезд и полагало конец их затруднительному положению. Так как мои три мартиниста не имели в себе ничего древнеримского, то и они повиновались, и на другой день последний из них выехал за московскую заставу. Таким-то образом я отнимал у Наполеона страшное орудие, которое в его руках могло бы возбудить нерешительность и парализовать энергию во внутренних областях империи, поставить их

в такое положение, что они не знали бы, кого слушаться. Из предосторожности относительно сенаторов-мартинистов я говорил нескольким лицам — с тем, чтобы это дошло и до них, — что, в случае неповиновения, я отошлю в Петербург, под надежным конвоем того из сенаторов, который будет упорствовать и оставаться в Москве.

В те же сутки я был разбужен ночью гонцом от Кутузова, с которым сообщалось мне, что Наполеон выслал от своей армии отряд, который направился к Звенигороду; при этом он выражал в своем письме надежду, что одних обывателей Москвы будет достаточно, чтобы наказать неприятеля в случае, если бы тот захотел забраться в столицу. Это походило на дурную шутку, так как Кутузов очень хорошо знал, что Москва почти пуста и что в стенах ее оставалось не более 50 т. человек. Я ничего не отвечал ему и, в первый еще раз, озаботился о спасении своего семейства. Я велел все приготовить для отъезда, и, при пробуждении моей семьи, кареты уже были запряжены, а в 11 час. моя жена и три дочери уехали в Ярославль. Прощание наше было страшно тягостно; мы расставались, может быть, навсегда; а представлявшаяся нам страшная будущность отравляла даже самую мысль о счастье вновь соединиться.

Призвав к себе поутру главного управляющего винными магазинами откупа, я объявил ему, чтобы он прекратил отпуск водки по кабакам и что, если я, на другой день, найду хоть один стакан водки, то повешу его у дверей кабака. Приказание это было в точности выполнено, так как управляющий был более чем кто-нибудь заинтересован в том. Полиции я приказал запереть вечером все кабаки и выгнать целовальников. К мере этой я должен был прибегнуть вследствие появления огромного числа мародеров, дезертиров и мнимораненых, которые со всех сторон прибывали в город; а одна уже приманка выпивки привлекла бы часть армии, которая и без того уже была слишком дезорганизована, и тысячи солдат, которых нельзя было сдерживать силой, начали бы грабить город и, может быть, даже зажгли бы его, прежде прохода нашей армии.

В эту ночь, как и в предшествовавшую, можно было очень хорошо видеть отблеск бивачных огней, как наших, так и неприятельских. Огни эти наполняли смущением сердца тех, которые оставались в Москве, и освещали безмолвное шествие выходивших оттуда людей.

После отъезда моей семьи я перебрался в свой городской дом. На другой день я выехал из Москвы в 6 час. утра, чтобы повидаться с кн. Кутузовым и посоветоваться с ним. Для меня важно было знать, что хочет делать этот человек, потому что в письмах своих он мне говорил лишь о том, что ген. Бенингсен объезжает местность для избрания выгодной позиции, на которой можно было бы дать еще одно генеральное сражение. Я проехал две улицы, и на протяжении 1/2 лье мне пришлось пробираться промеж двух рядов повозок, переполненных ранеными, и еще огромная толпа таковых же шла пешком, направляясь к главному госпиталю. Это было чрезмерное приумножение раненых, потому что в этот же самый день, по рапорту команданта, число их превышало 36 т.

Наша армия только что прибыла на гору, называемую Поклонной, и остановилась на большой смоленской дороге, в расстоянии одного лье от заставы. С первого же взгляда я заметил большое смтение. Я нашел кн. Кутузова сидящим и греющимся около костра; он был окружен генералами, офицерами генерального штаба и адъютантами, прибывшими со всех сторон и испрашивавшими приказаний. Он отсылал тех и других то к ген. Барклаю, то к Бенингсену, а иногда к квартирмейстеру, полк. Толю, бывшему его фаворитом и достойным его покровительства. Кутузов встретил меня чрезвычайно вежливо и отвел в сторону, так что мы оставались наедине, по крайней мере, с полчаса. Тут-то мне впервые случилось беседовать с этим человеком. Беседа оказалась весьма любопытная, в отношении низости, нерешительности и трусливости начальника наших армий, который должен был быть спасителем отечества, никогда ничего не сделал и, несмотря на то, был почтен этим славным прозвищем.

Он объявил мне, что решился на этом самом месте дать сражение Наполеону. Я заметил ему, что местность позади позиции представляет довольно крутой спуск к городу, — что если несколько потеснят линию наших войск, то они, вперемежку с неприятелем, войдут в улицы Москвы, — что вывести оттуда нашу армию не будет никаких средств и что он рискует потерять ее всю целиком. Он все продолжал уверять меня, что его не заставят сойти с этой позиции, но что если бы, по какому-либо случаю, должен был отступить, то направится на Тверь. На замечание мое, что там не хватит продовольствия и что найти его можно лишь в Белой (пристань в ...верстах¹

¹ Пропуск в рукописи. (Примеч. сост.)

от Москвы, от которой отправляют хлеб в Петербург), у Кутузова вырвались слова: «Но ведь надѳ прежде всего позаботиться о севере и прикрыть его». Он имел в виду резиденцию императора и не обращал внимания на две вещи: 1) что если бы гр. Витгенштейн был разбит, то Сен-Сир достиг бы Петербурга ранее, чем Кутузов, и 2) что Наполеон не мог иметь намерения, заняв Москву, предпринимать в сентябре шестинедельный поход для того, чтобы овладеть Петербургом в конце октября, и что, следуя по тверской дороге, Кутузов оставлял бы все подкрепления позади и делал бы неприятеля хозяином всей страны, до самого Черного моря. Я спросил, не думает ли он стать на калужской дороге, по которой направляются все подвозы из внутренних губерний? Он отвечал мне уклончиво, и причиною тому было, что корпус Неаполитанского короля, после Бородинского боя, двинулся в означенном направлении, а он избегал встречи с ним. Он стал разговаривать о битве, которую готовится дать, прося, чтобы я, через день, приехал к нему с архиереем и обеими чудотворными иконами Богоматери, которые он хотел пронести перед строем войск; впереди должны были идти священники, читать молитвы и кропить воинов святой водой. Затем он просил меня прислать ему несколько дюжин бутылок вина и предупредил, что завтра еще ничего не будет: «Потому что, — прибавил он, — я знаю методу Наполеона: сегодня вечером он остановится, даст своим войскам день для отдыха, послезавтра произведет рекогносцировку, а на следующий день начнет против меня атаку».

Мы вернулись с ним к костру, где собравшиеся генералы спорили между собою. Дохтуров, который должен был командовать левым крылом, пришел объявить, что нет возможности провезти артиллерию, по причине обрывистых речных берегов и крутой горы. Я заговорил с Барклаем, и он сказал мне: «Вы видите, что хотят делать; единственное, чего я желаю, это — быть убитым, если сотворят такое безумие и станут драться там, где мы теперь стоим». Бенингсен, которого я не видал со дня смерти императора Павла, тоже подошел, чтобы поговорить со мною. Я преодолел огвращение, внушаемое мне Бенингсеном, и узнал от него, что он не верит в сражение, возвещаемое Кутузовым, что они сами не знают, сколько у них людей под ружьем, и что за отступлением, которое являлось необходимым, последует занятие Москвы неприятелем. Солдаты глядели угрюмо, офицеры — уны-

ло; бестолковщина была повсюду, всякий совался со своим мнением или спорил со всеми.

Накануне вечером Кутузов просил у меня присылки шанцевого инструмента; я послал ему полные 10 телег, но офицер, имевший поручение сдать их, пришел доложить мне, что никто не хочет их принимать. Через полчаса он опять явился испрашивать моих приказаний, так как нашел телеги без лошадей, отобранных силой. Не зная, к кому обратиться, чтобы просить о возвращении лошадей, я приказал офицеру бросить и телеги и инструменты и вернуться со своими людьми в Москву пешком.

Я просил у Барклая позволить моему сыну проводить меня в город. Я надеялся доставить ему один день отдыха. Он страдал от контузии, полученной в руку, и, по видимому, был одним из числа тех, которые тоже не верили в сражение.

Я отправился к архиерею, чтобы сообщить ему о желании Кутузова, т. е. чтобы он отправился к войскам крестным ходом, с образами Богоматери, чтобы священники пели молитвы и кропили войска святой водой перед сражением. Сообщение это пришлось не по вкусу владыке.

— Но куда же я пойду после молебна? — спросил он меня.

— К вашему экипажу, — отвечал я, — в котором вы отъедете от города, ожидая исхода битвы.

— А если она начнется прежде, нежели я кончу? Я ведь могу попасть в эту сумятицу, и меня могут убить.

Чтобы его успокоить, я ему высказал мое убеждение, что сражения не будет; но советовал быть готовым на всякий случай.

Когда я сел за стол, то заметил, что у меня одного был кусок белого хлеба. Причиной тому было то, что все булочки оставили Москву. В 4 ч. кн. Кутузов прислал мне письмо, которым предписывал послать к нему на соединение, кратчайшей дорогой, оба вновь сформированные пехотные полка, которые, в ожидании своего назначения, прибыли в одну из деревень, лежащую в 7 в. от Москвы, на петербургской дороге.

В этот же день Кутузов, пообедав и отдохнув по обыкновению, собрал военный совет, на который пригласил своих генералов, для совещания о том, какое решение принять, т. е. защищать ли Москву или оставить ее неприятелю? Из 8 или 9 генералов, присутствовавших на совете, только один предложил немедленно идти вперед и атаковать Наполеона, которого полагал ослабленным наполовину,

вследствие отделения двух корпусов: Мюрата на калужскую дорогу, а принца Евгения на Звенигород. Прочие генералы поставили на вид настоящее печальное состояние нашей армии и подали голос за отступление. Кутузов был того же мнения и объявил, что пройдет через город ночью и направится на рязанскую дорогу. При этом случае он оказал мне большую услугу, не пригласив меня на неожиданный военный совет; потому что я тоже высказался бы за отступление, а он стал бы впоследствии ссылаться на мое мнение для оправдания себя от нареканий за отдачу Москвы неприятелю. Он написал мне письмо, которое один из его адъютантов, по фамилии Монтрезор, привез мне около 8 ч. вечера.

Я тотчас призвал обер-полицеймейстера, чтобы приказать ему отправить к кн. Кутузову всех свободных полицейских офицеров, так как тот просил провожатых для направления войск кратчайшим путем на рязанскую дорогу; самому же обер-полицеймейстеру велел, собрав всех находившихся под его начальством людей, на самом рассвете выйти из Москвы, увозя с собою все 64 пожарные трубы, с их принадлежностями, и отправиться во Владимир. Коменданту и начальнику Московского гарнизонного полка я тоже отдал приказание уходить. Адъютанта моего я послал к архиерею, с повелением от имени государя: уехать в ту же ночь и увезти с собою обе иконы Богоматери. Он стал беспокоиться, каким образом их взять. Одна икона, называемая Владимирскою, находилась в кафедральном соборе; другая, Иверская, в часовне, носившей ее имя. Он справедливо опасался, как бы оставшаяся в Москве чернь не вздумала препятствовать отъезду двух покровительниц Москвы и как бы сам он не подвергся опасности. Опасение это внушалось ему мерой, принятой самим народом в последние три-четыре дня. Мера эта состояла в высылании ночных дозоров для удостоверения в том, что не могли снять и уложить большую серебряную люстру, висевшую в соборе, так как для сего потребовалось бы, по крайней мере, дня три.

Но более всего озабочивал меня увоз раненых и больных. Еще за пять дней я приказал выставить у одной из городских застав около 5000 повозок, с их упряжкой, и при них довольно сильный караул для того, чтобы крестьяне ночью не убежали. Начальнику транспорта было предписано не отпускать ни одной подводы без приказа, подписанного моей рукой. После письма Кутузова, сообщавшего мне об отступлении, я тотчас же отправил туда к транспорту надежного человека, который не-

медленно приказал запрягать телеги и направил их к госпиталю. Там уже отданы были мои приказания: положить на телеги по столыку больных, по скольку могло поместиться, и объявить остальным, что неприятель скоро вступает в Москву и что они должны потихоньку идти за транспортом, везущим самых слабых в Коломну, за 90 в. от Москвы, где уже ожидают их речные суда и медицинская помощь. Более 20 000 чел. успело поместиться на подводы, хотя и не без суматохи и споров; прочие последовали за ними пешком. Весь транспорт двинулся с места около 6 час. утра; но около 2000 больных и тяжелораненых остались на своих кроватях, в ожидании неприятеля и смерти. Из них, по возвращении моем, я только 300 чел. застал в живых.

Этот караван, беспримерный в истории чрезвычайных событий, прибыл в Коломну на четвертые сутки. Больных переместили на суда и спустили по Оке до губернского города Рязани, где они были размещены, накормлены и пользовались хорошим уходом, благодаря заботливости и деятельности профессора Лодера, которого я назначил начальником всех госпиталей и которому его просвещенное и человеколюбивое рвение доставило лучшую из всех наград: возможность сказать, что «из такого-то числа больных и раненых я спас столько-то и столько-то».

Хотя Наполеон в одном из своих бюллетеней укоряет меня за то, что я обрек верной смерти несколько тысяч раненых и больных солдат, покинутых в госпиталях, но если бы он захотел быть справедливым, то поблагодарил бы меня за то, что я выпроводил 25 000 чел., которые все погибли бы от голода и лишений, если бы остались в Москве.

История и человечество обвинили бы самого Наполеона в смерти этих несчастных, впавших в его власть как военнопленные.

* * *

Около полуночи я отправил к государю курьера с печальным известием, что неприятель готовится стать господином его столицы. В то же время я выслал шарлатана Шмидта, и они отправились по ярославской дороге. Когда несколько строк моего донесения было уже написано, я заметил, что лист, на котором я писал, разорван; я взял другой, а первый остался на моем бюро, и это подало повод к тому, что в одном из бюллетеней Наполеона го-

ворится, будто при смятении, в каком я находился, я даже забыл окончить мое письмо государю.

В 11 час. вечера мне доложили о прибытии принца Виртембергского и герцога Ольденбургского. Один был генерал-аншефом, другой — генерал-лейтенантом, состоявшим в армии. Оба они приехали приглашать меня отправиться к кн. Кутузову и уговорить его не оставлять Москвы и дать сражение. Объяснение мое было непродолжительным. Когда на вопрос мой: настаивали ли они в военном совете на необходимости драться? они отвечали, что даже и не были на нем, — то я заметил их высочествам, что один из них приходится дядей, а другой двоюродным братом государю и что потому они гораздо более меня имеют прав советами своими заставить кн. Кутузова перемнить свое мнение, и что, к тому же, у меня еще столько дела остается до утра, что я не хочу пожертвовать 4 или 5 часами на поездку, бесполезность которой предвижу. Принцы сообщили мне, что они ходили к кн. Кутузову, но что он спал и их не впустили. После многих сожалений и строгих осуждений кн. Кутузова они ушли, оставив меня проникнутого горестью и пораженного оставлением Москвы.

Сейчас же после них явилось ко мне пять или шесть молодых людей из хороших фамилий, пришедших в отчаяние при виде отступления армии и считавших себя опозоренными, так как Москва отдавалась неприятелю. Они умоляли меня, со слезами на глазах, ехать к кн. Кутузову и понудить его к отмене приказа об отступлении, которое уже совершалось, так как артиллерия следовала по внешним бульварам. Я, насколько мог, успокоил эту похвальную ревность юношей, которые ушли от меня настолько же недовольные мною за то, что я не воспрепятствовал кн. Кутузову отступить, насколько последний должен был быть доволен, что мог уйти, не дав Наполеону доконать себя.

Я послал камердинера на свою дачу, чтобы взять там два портрета, которыми я очень дорожил: один — жены моей, а другой — императора Павла. Надо тут заметить, что в обоих домах моих оставлена была мною полная обстановка: картины, книги, мраморные вещи, бронза, фарфор, все экипажи и погреб с винами. Хотя я и наперед был уверен, что все это будет разграблено, но хотел понести те же потери, какие понесены были другими, и стать на один уровень с жителями, имевшими в Москве свои дома. Каких-нибудь двадцать телег могли бы увезти всю эту обстановку, стоившую полмиллиона; в распоряжении

моем находились тысячи лошадей, да кроме того еще лошадей 500 могли бы быть доставлены из поместья моего Воронова,— но таковы уже были побудительные причины моего пожертвования. На него в то время не обратили внимания, впоследствии над ним издевались, и со мною повторилось то же, что часто бывает, т. е. что благородные, необдуманнные порывы приписываются или глупости, или корыстному расчету.

В то время, как я укладывал в мою шкатулку те бумаги, которые хотел взять с собой, я услышал рядом с моим кабинетом вопли и рыдания. Я вышел и увидел трех грузин, которые бросились к моим ногам, объявляя мне, что обе царевны, обе княжны и экзарх Грузии забыты в Москве г. Валуевым, попечению которого они были поручены. Не знаю уж, как и где, но им достали штук 15 лошадей, и все эти потомки грузинских царей отправились в путь — царевны в каретах, а их дворня пешком.

Я не имел ни минуты свободной. Беспрестанно приходили ко мне люди всяких сословий; одни просили повозку, другие — денег, так как не имели средств выбраться из города; один известный мне полицейский офицер пришел весь в слезах, ведя за собою своего 3-летнего ребенка, о котором мать, при отъезде, забыла. Я делал все, что мог, для удовлетворения просьб этих несчастных. Что касается денег, я роздал их столько, что выехал из Москвы человеком одновременно самым богатым и самым бедным; так как увозил с собою 130 т. руб., оставшиеся у меня из экстраординарных сумм, и 630 р., собственно мне принадлежавших. Мысль о том, откуда добыть денег впоследствии, не приходила мне в голову.

Я приказал спросить у полицейских офицеров, не найдется ли между ними желающих остаться в городе, переодетыми, и доставлять мне донесения в главную квартиру, посредством казачьих аванпостов, до которых они могли пробираться через Сокольницкий лес. Таких надо было мне шесть человек; но явилось охотниками только пять, а одного я назначил по собственному выбору. Поручение мое они исполнили разумно, усердно и с большой сметливостью. По счастью, присутствия их в Москве даже и не подозревали. По возвращении моем, я всех их там встретил, и они были щедро награждены государем.

Под утро явился ко мне некий Загряжский, состоявший в должности шталмейстера при имп. Павле. Это был человек очень пошлый, враль и барышник. Он заявил мне, что так как жена его не прислала ему лошадей из деревни и так как все имущество свое он зарыл в своем саду, то хо-

чет остаться в Москве, чтобы оберегать оное. Я дал ему почувствовать, что он рискует подвергнуться многим неприятностям, но что мне не приходится давать ему ни приказаний, ни дозволений. У человека этого уже был готов свой план. Он остался в Москве и представился герцогу Виченцкому (Коленкуру), который знал его, потому что покупал у него лошадей во время своего посланничества в России. Он заботился устройством конюшни Наполеона и фабрики для починки седел французской кавалерии.

Наконец, в 10 ч. утра, все было готово для моего отъезда. Я послал за моим сыном, который спокойно проспал до 6 часов и только проснувшись узнал о судьбе Москвы. Так как он не являлся, то я сам отправился его искать. Я встретил его выходящим, со слезами на глазах, из спальни моей жены, и он сказал мне, что ходил прощаться и взглянуть в последний раз на мать и сестер. В этой комнате находились их изображения и прочие фамильные портреты. Я понимал горесть сына моего. Он покидал отеческий дом и в этот раз, может быть с тем, чтобы уж туда более не возвращаться; он прощался с своей матерью, служившей ему и учителем, и воспитателем, и советником; не застав ее в Москве, он обращался с прощальным приветом к портрету ее; он собирался прибыть в армию, на которую не следовало много рассчитывать, и вследствие последних событий, имея всего 17 лет от роду, поставлен был в положение человека, желающего встретить смерть, дабы избегнуть позора быть покоренным.

* * *

Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и нашел там с десяток людей, уезжавших со мною. Улица перед моим домом была полна людьми простого звания, желавших присутствовать при моем отъезде. Все они при моем появлении обнажили головы. Я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеоновских прокламаций, и еще одного французского фехтовального учителя, по фамилии Мутона, который за свои революционные речи был предан суду и, уже более 3-х недель тому назад, приговорен уголовной палатой к телесному наказанию и к ссылке в Сибирь; но я отсрочил исполнение этого приговора. Оба они содержались в тюрьме для неисправных должников, и их забыли отправить с 730 преступниками как Московской гу-

бернии, так и всех тех, которые были заняты неприятелем. Преступники эти, которыми наполнили главную московскую тюрьму, ушли три дня тому назад, под конвоем одного батальона гарнизонного полка, и направились к Нижнему Новгороду. Человек 20 заключенных за долги, в особой тюрьме, были, по моему приказанию, объявлены свободными, и им растворили двери; кредиторов их в городе не было, и обстоятельства не благоприятствовали уплате долгов. Как же был я удивлен, когда впервые узнал, что эти должники превратились — в одном из наполеоновских бюллетеней — в легион из 500 человек, исполнивших мой план сожжения Москвы.

Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество; я объявил ему, что он приговорен Сенатом к смертной казни и должен понести ее, — и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова.

Тогда, обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал молитвы, я сказал ему: «Дарую вам жизнь; ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству». Я провел его к воротам и подал знак народу, чтобы пропустили его. Толпа раздвинулась, и Мутон пустился опрометью бежать, не обращая на себя ничего внимания, хотя заметить его было бы можно: он бежал в поношенном своем сюртучишке, испачканном белой краской, простоволосый и с молитвенником в руках.

Я сел на лошадь и выехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом. Я не оглядывался, чтобы не смущаться тем, что прошло. Глаза закрывались, чтобы не видеть ужасной действительности, и приходилось отступать назад перед страшной будущностью.

* * *

Я остановился на одном из бульваров, выжидая, когда один из ординарцев моих приедет с донесением, что неприятель уже в городе. Я был поражен пустотой, господствовавшей повсюду: на протяжении одного лье увидел я только одну женщину с ребенком, стоявшую у окна, да еще толстого старика, сидевшего в халате перед своим

домом. На мой вопрос: «Разве не можешь ты уйти?» — он отвечал: «Да зачем же, сударь? — в мои года не стоит уходить в другое место. Я остаюсь и не тревожусь о том, что меня ожидает. Пусть будет, что будет». Расставаясь с этим человеком, я внутренне сознавал, что он был прав и являлся настоящим философом, сам того не сознавая.

Ординарец мой возвратился с донесением, что Милорадович с нашим арьергардом уже прошел через Арбатскую улицу и что неприятельский авангард непосредственно за ним следует. Я направил мою лошадь к Рязанской заставе и у моста через Яузу, думая обогнать один из наших конных отрядов, увидел, что это кн. Кутузов с своим конвоем. Я поклонился ему, но не хотел говорить с ним; однако он сам, пожелав мне доброго дня, что можно было бы принять за сарказм, сказал: «Могу вас уверить, что я не удалюсь от Москвы, не дав сражения». Я ничего не ответил ему, так как ответом на нелепость может быть только какая-нибудь глупость.

Не доезжая до моста, я был остановлен кучкою раненых офицеров, человек в десять, идущих пешком. Они уходили из города и остановили меня, чтобы попросить денег, так как у них ничего не было. Я опорожнил свои карманы; но пожертвование мое не соответствовало моему желанию дать им побольше. Они благодарили меня со слезами на глазах; да и у меня текли слезы сострадания и горести при виде искалеченных офицеров, доведенных до испрашивания милостыни, чтобы не умереть с голоду.

По прибытии к заставе мне с трудом лишь удалось пробраться через нее, по причине множества войск и повозок, торопившихся выходом из города. В ту минуту, когда я очутился по ту сторону заставы, раздались три пушечных выстрела в Кремле: то разгоняли народ, там собравшийся. Выстрелы эти возвещали о занятии столицы и говорили мне, что я уже перестал быть ее начальником. Поворотив лошадь, я почтительно поклонился первому городу Российской империи, в котором я родился, которого был блюстителем и где схоронил двух из детей моих. Долг свой я исполнил; совесть моя безмолвствовала, так как мне не в чем было укорить себя, и ничто не тяготило моего сердца; но я был подавлен горестью и вынужден завидовать русским, погибшим на полях Бородина. Они умерли, защищая свое отечество, с оружием в руках и не были свидетелями торжества Наполеона.



ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ, ПИСАННЫЕ ГРАФОМ РОСТОПЧИНЫМ

28 ноября (1825)

М. П. приехал ко мне в два часа пополудни и сказал, что он от генерал-губернатора, который ночью получил известие о кончине императора Александра, но без всяких подробностей. Потом приехал Булгаков, который подтвердил известие и добавил, что на почте уже пять дней знали, что император опасно болен, но хранили в тайне по системе все скрывать. Полицейстер Обрезков был в Итальянской опере и у Турньера и не велел давать представлений, но не объяснил причины. Другие уверяли меня, что князь Г. потерял голову: ходил по комнате и не делал никаких распоряжений. Его положение неприятно. В Москве много войск и недовольное народонаселение, не связанное присягою.

Император Александр скончался в Таганроге, городе, в который в прошлое столетие ссылали преступников. Бальзамированием тела его, конечно, занимался его хирург Вилье.

Вечером приехала Гальяни с соболезнованиями. Только потому, что она иностранка, ей два раза давали 50 000 р. на путешествия и дана пожизненная пенсия в 4000 р. Император Александр любил, чтоб в чужих краях его восхваляли.

29 ноября

Известие о кончине государя распространилось по городу; но еще сомневались; спрашивали, не императрица ли скончалась: ибо знали, что она больна и отправилась в Таганрог для поправления здоровья. Купцы знали, что князь Юсупов купил большое количество траурных материй и галунов и в тот же вечер отправил все в Таганрог. Старшины Благородного собрания разослали по домам печатную афишку, в которой извещалось, что собраний не будет. Ко мне приехал генерал граф Толстой; он знал положительно из писем генерала Дибича и князя Волконского, что император прибыл в Таганрог 5-го на возвратном пути из Крыма; что он был весьма доволен краем и порядком, который в нем нашел; что 6-го занемог гнилою горячкою; положение его ухудшалось до 19-го; 19-го он скончался в 10 часов утра. Императрица не оставляла его ни на минуту. Ген.-адъютант Чернышев послан курьером в Варшаву передать великому князю Константину эту горестную весть.

Приехали другие; множество слухов; но все известия — чистые выдумки. Уверяли, что еще на 4-й день болезни, по повелению императора, был послан курьер к великому князю Константину; что Вилье виноват в смерти государя, ибо дал слишком сильное слабительное; что государь заразился при посещении госпиталя и проч. Народ равнодушен и несколько доволен, ибо ожидают милости при коронации. Видно несколько горести напоказ; но вообще все любопытствуют узнать подробности совершившегося события; больше спрашивают, чем отвечают.

30 ноября

В два часа ночи мне принесли официальное письмо от князя Голицына с приглашением прибыть в собор к одиннадцати часам для принесения присяги императору Константину. Я не мог ехать, ибо уже две недели как болен. Вот подробности того, что происходило.

Князь Голицын получил от Санкт-Петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича курьера с извещением, по приказанию великого князя Николая, что император Александр скончался в Таганроге 19 числа ноября в десять часов утра; что известие о сем привезено в Петербург 27-го, что Государственный совет, Сенат и гвардия уже присягнули. Архиепископ Московский возражал, что он не получал указа Св. Синода, но уступил требованию князя Голицына. Утром вся Кремлевская

площадь была наполнена народом. Сенаторы и значительные особы отправились в Сенат, где было сделано несколько замечаний одним из сенаторов о форме сообщения, присланного из Петербурга. По возвращении в собор архиепископ начал служение. Прокурор Сената князь Гагарин прочел форму присяги, и все присутствовавшие повторяли. Затем каждый подписал печатный присяжный лист. Полки, собранные в казармах, также присягнули.

Кто-то сказывал мне, что один из служащих при почтамте чиновников, сопровождавший покойного императора в его путешествии по Крыму, возвратился из Таганрога и рассказывал, что государь почувствовал себя нехорошо на последней станции и, полагая, что испарина будет ему полезна, спросил стакан пуншу, которого никогда не пил; что, возвратясь в Таганрог 5-го, на другой же день хотел выйти, на что Вилье, найдя в нем жар, запретил выходить из комнаты. Лонгинова (жена секретаря императрицы Елизаветы Алексеевны) получила от мужа письмо, который пишет, что в первые три дня болезни государь не хотел принимать никакого лекарства; исповедывался, приобщился и потом отдался в руки медиков (их было трое: Вилье, Штофреген и Тарасов, ученик Вилье); что болезнь все усиливалась, кровь бросилась в голову и от сего происходил бред. Было приставлено 30 пиявок, но они не произвели никакого изменения в ходе болезни; что за три дня до смерти была постоянная летаргия; что когда он скончался, императрица, не оставлявшая его в продолжение 13 дней и 13 ночей, закрыла ему глаза и, удалясь в свою комнату, приказала своему доктору Штофрегену не приходить к ней; что по представлению князя Волконского она должна была переехать в другое помещение, ибо толпа беспрестанно окружала дом и нужно было приступить к балзамированию. Состояние здоровья ее весьма ненадежно; у нее опухоль в ногах — следствие чрезмерной усталости, ею перенесенной.

В обществе нашем почти что не существует приличия и такта; посему во время присяги происходило многое, чему не следовало быть. Некоторые военные лица были недовольны выражением графа Милорадовича, что «Москва должна принести присягу по примеру Петербурга». Во всем видна неурядица. Присягнули императору Константину, а в церквах продолжают молиться об императоре Александре, ибо Синод не прислал указа архиепископу. Извещая о кончине государя, употребляли выражение «обожаемый». Когда 27-го было получено в Петербурге

известие, что государю лучше, служили благодарственный молебен. Императрица Мария была в Казанском соборе, и во время служения молебна пришло известие о смерти. Ей сделалось дурно; видя ее в этом положении, великий князь Николай Павлович также лишился чувств.

Народ равнодушен. Дворянство, раздражаемое, разоренное и презираемое, довольны. Военные надеются, что их менее будут мучить. Передают слух, будто Аракчеев, который спал всегда с заряженными пистолетами на ночном столике, выстрелил в своего камердинера (который взошел к нему ночью и которого он счел за убийцу) и оставил его на месте.

Достоверно известно, что государь простудился при посещении Георгиевского монастыря, находящегося на горе, где воздух слишком свеж.

ПРИМЕЧАНИЯ

Литературное наследие Ф. В. Ростопчина на должном уровне никогда в России издано не было. Единственное собрание сочинений в одном томе вышло в 1853 году (Спб.). До сих пор наиболее полно произведения писателя были представлены в книге, опубликованной его сыном А. Ф. Ростопчиным в 1864 году в Брюсселе на французском языке: *Rostopchine A. Matèriux, en grande partie inédits, pour la biographie future du c-te Th. Rostopchine.*— Bruxelles, 1864¹ и во французском издании, вышедшем в 1893 году в Париже: *Rostopchine Th. Oeuvres inédites.*— Paris [s. a.]².

Настоящее издание включает все художественные произведения Ростопчина, большая часть которых на русском языке не переиздавались, а также мемуарные записки. Рукописи большинства публикуемых в данном сборнике сочинений Ростопчина не сохранились. Тексты приведены в соответствие с современными нормами правописания. В некоторых случаях сохранены орфографические особенности, отражающие индивидуальную манеру Ростопчина.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРУССИЮ

Впервые: Москвитянин.— 1849.— № 1, 10, 13, 15. Частично опубликовано в книге: *С и в к о в* К. В. Путешествие русских людей за границу в XVIII веке.— Спб., 1914.— С. 109—112. Рукопись не сохранилась. Печатается по первой публикации.

Мемель — ныне г. Клайпеда в Литве.

...монаха, что просил милостыню в Кале...— В книге английского

¹ Ростопчин А. Материалы, большею частью неопубликованные, для будущей биографии графа Ф. Ростопчина.— Брюссель, 1864.

² Ростопчин Ф. Неизданные сочинения.— Париж (б/г).

писателя Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768).

Швейцар — здесь: швейцарец.

Тристрам Шанди — роман Л. Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентельмена» (1760—1767).

Юнг Эдуард (1683—1765) — английский поэт. Литературную славу принесло Юнгу религиозно-дидактическая поэма «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» (1742—1745), содержащая скорбные размышления о суетности и тщете человеческих стремлений.

Бюшинг Антон Фридрих (1724—1793) — немецкий географ.

Франкфуртская баталия — сражение при деревне Кунерсдорф под Франкфуртом в 1759 г. во время Семилетней войны между русскими и прусскими войсками, закончившееся поражением прусских войск.

Принц Брауншвейгский Фердинанд (1721—1792) — полководец Фридриха II.

Клейст Эвальд Христиан фон (1715—1759) — немецкий поэт. Участвовал в походах Фридриха II, умер от ран, полученной в сражении при Кунерсдорфе. Известен главным образом как автор стихотворения «Весна», воспевающим природу.

Троица — Троице-Сергиева лавра, ныне г. Сергиев Посад в Московской области.

Великий Курфюрст — Бранденбургский курфюрст.

...*под Росбахом*... — сражение в 1757 г. во время Семилетней войны, в котором Фридрих II разгромил франко-русские войска.

...*под Пальцигом* (Пальцигом), *Ягерсдорфом* (Гросс-Егерсдорфом), *Кольбергом* (Кольбергом)... — сражения во время Семилетней войны (1756—1763), в которых русская армия разбила прусские войска, показав боевые качества и образцы ведения боя в условиях линейной тактики.

Фридрих Вильгельм (1620—1688) — курфюрст Бранденбургский с 1640 г.

Фридрих I (1657—1713) — прусский король с 1701 г.

Николаи... — Имеется в виду книга Х.-Ф. Николаи «Описание королевских резиденций Берлина и Потсдама» (1769).

Пигаль Жан Батист (1714—1785) — французский скульптор.

...*журнала под названием Меркурия*... — французская газета «Меркюр де Франс», выходившая с 1672 г. до начала XIX в.

Фридрих Вильгельм I (1688—1740) — прусский король с 1713 г., получил прозвище «Фельдфебель на троне», отец Фридриха II (1712—1786), прусского короля, прозванного Фридрихом Великим.

Сардам (Саардам) — город в Нидерландах, в котором в 1697 г. жил и учился корабельному мастерству Петр I.

Мелендорф Вильгельм Иоахим Генрих (1724—1816) — прусский фельдмаршал.

Бернульи (Бернулли И.) (1744—1807) — немецкий астроном, родом из Италии.

Кастильон-отец (Кастильон Жан Франсуа Мор Мельхиор Сальвемини) (1709—1791) — итальянский геометр и литератор. Преподавал математику в артиллерийском училище в Берлине.

Формей Жан Анри Самюль (1711—1797) — писатель, сын французского протестанта, бежавшего в Германию. Секретарь Берлинской академии наук.

Лагранж Жозеф Луи (1736—1813) — французский математик. В 1766 г. переехал в Германию и назначен президентом Берлинской академии наук.

Герцберг Эвальд Фридрих (1725—1795) — немецкий государственный деятель, мемуарист.

Тюрен (Тюренн) де ля Тур д'Оверн (1611—1675) — французский полководец.

Румянцев Петр Алексеевич (1715—1796) — русский полководец, генерал-фельдмаршал. В Семилетней войне русская армия под его предводительством овладела крепостью Кольберг. Впервые применил сочетание каре, колонн и легких батальонов, положив начало зарождения новой тактики боя.

Шереметев Петр Борисович (1713—1788) — сын фельдмаршала Б. П. Шереметева. Известен своими чудачествами, роскошным образом жизни и богатством.

Безбородко Александр Андреевич (1714—1799) — русский государственный деятель, дипломат, светлейший князь.

Строганов Александр Сергеевич (1733—1811) — граф.

Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор героического эпоса «Энеида» о странствованиях троянца Энея.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт, драматург.

Флек Иоганн Фридрих (1757—1801) — немецкий драматический актер.

«Мария Стюарт» — трагедия И.-Ф. Шиллера.

«Граф Валтронг, или Субординация» — пьеса немецкого драматурга Г.-Ф. Меллера.

Памела — героиня одноименного романа английского писателя С. Ричардсона «Мамела, или Вознагражденная добродетель» (1740).

Кларисса — героиня одноименного романа С. Ричардсона «Кларисса, или История молодой леди» (1747—1748).

Вестерн Софья — героиня романа Г. Фильдинга «История Тома Джонса, найденыша» (1749).

Сан-Суси — замок около г. Потсдама, построенный в 1745 г. для Фридриха II.

Антиноус (Антиной) — греческий юноша, любимец римского императора Адриана, обожествленный после смерти.

Горн Филипп де Монморанси (ок. 1524—1568) — один из лидеров

антииспанской дворянской оппозиции накануне и в начале Нидерландской буржуазной революции; казнен.

Альба Альварес де Толедо Фернандо (1507—1582) — испанский полководец, правитель Нидерландов в 1567—1573 гг. Пытался подавить Нидерландскую буржуазную революцию.

...мой несчастный брат... — Петр Васильевич Ростопчин (1770—1789) — офицер Преображенского полка. Во время русско-шведской войны, командуя шлюпкой, был окружен тремя неприятельскими кораблями и, не желая сдаваться, взорвал шлюпку на воздух.

Император Иосиф (Иосиф II) (1741—1790) — император Священной Римской империи с 1765 г. Проводил политику просвещенного абсолютизма.

Цорндорфская баталия — сражение в 1758 г. во время Семилетней войны.

Кенигсберг — ныне г. Калининград в России.

Лукезини Джирокомо (1751—1825) — прусский государственный деятель, родом из итальянского г. Лукки.

Мопертюи Пьер Луи Моро (1698—1759) — французский астроном. В 1741 г. по приглашению Фридриха II переселился в Берлин. Президент физико-математического отделения Берлинской академии наук.

Д'Аржанс Жан Батист (1704—1771) — французский писатель, маркиз, камергер Фридриха II.

Вольтер Мари Франсуа Аруэ (1694—1778) — французский писатель, философ.

Мирабо Оноре Габриэль Рикети (1749—1791) — деятель Великой французской революции, граф, сын экономиста В.-К. Мирабо (1715—1789). В молодости, ввиду крайне беспорядочного образа жизни, непомерных долгов, неоднократно подвергался заключению. В 1786 г. послан с секретным дипломатическим поручением в Пруссию, с 1790 г. тайный агент королевского двора.

Жилблас (Жиль Блаз) — герой романа французского писателя А.-Р. Лесажа «История Жиль Блаза из Сантьягоны» (1715—1735).

Финкенштейн Карл Вильгельм (1714—1800) — прусский государственный деятель.

Губертсбургский мир — заключен в 1763 г. между Пруссией, с одной стороны, и Австрией и Саксонией, с другой.

Долгорукий (Долгоруков) Владимир Сергеевич (1717—1803) — князь, русский посланник при Прусском дворе в 1762—1786 гг.

Головкин Федор Гаврилович (1766—1823) — русский посланник в Неаполе, после отставки жил за границей.

Румянцев Сергей Петрович (1755—1838) — граф, русский государственный деятель. В 1786—1794 гг. посол в Пруссии и Швеции.

Тассар Жан Пьер Антуан (1727—1788) — фламандский скульптор. В 1775 г. по приглашению Фридриха II переехал в Берлин.

Сейдлиц (Зейдлиц) Фридрих Вильгельм (1721—1773) — прусский генерал, полководец Фридриха II.

Еропкин Петр Дмитриевич (1724—1805) — генерал-аншеф. Известен тем, что усмирил народный бунт в 1771 г. в Москве во время свирепствовавшей там чумы.

Мария Терезия (1717—1780) — австрийская императрица.

Драгонад (драгонады) — во Франции постои драгун, введенные в 1681 г. в домах гугенотов королем Людовиком XVI с целью терроризировать гугенотов и предупредить их восстание в связи с запрещением кальвинистского культа.

Спандау (Шпандау) — крепость и город в Германии.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II И ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I

Печатается по изд.: Архив князя Воронцова. — М., 1876. — Кн. 8 — С. 158—174.

...следовало быть сговору великой княжны Александры Павловны... — Александра Павловна (1783—1801), дочь Павла I, была помолвлена в 1796 г. со шведским королем Густавом IV Адольфом (1778—1837), но брак не был заключен, так как шведы требовали, чтобы невеста переменяла веру.

Марков (Морков) Аркадий Иванович (1747—1827) — граф, дипломат.

Зотов Захар Константинович (1755—1802) — камердинер Екатерины II.

Сардинский король — Виктор Амадей (1726—1796).

Нарышкин Лев Александрович (1733—1799) — камердинер Екатерины II.

Перекусихина Мария Савишна — (1739—1824) — доверенная камер-юнгфера Екатерины II.

Гюльпин Иван Михайлович — камердинер Екатерины II.

Зубов Платон Александрович (1767—1822) — государственный деятель, последний фаворит Екатерины II.

Рожерсон (Роджерсон) Джон Самуэл (1741—1843) — шотландский врач, в 1765 г. приехал в Россию, где был придворным врачом в течение 50 лет.

Шпанская муха — пластырь из высушенного и измельченного жучка, употребляемый в медицине.

Великий князь Александр Павлович (1777—1825) — старший сын Павла I, российский император с 1801 г.

Зубов Николай Александрович (1763—1805) — старший брат П. А. Зубова.

Орлов Алексей Григорьевич (1737—1807) — граф, за победы у Наварина и Чесмы (1770) получил звание Чесменского.

Плещев Сергей Иванович (1752¹—1802) — вице-адмирал.

Кушелев Григорий Григорьевич (1754—1833) — вице-президент адмиралтейств-коллегии.

Виельгорский Юрий Михайлович (1753—1807) — камергер, гофмаршал.

Бибиков Александр Александрович (1765—1822) — камергер.

Протасова Анна Степановна (1745—1826) — графиня, камер-фрейлина Екатерины II.

Салтыков Николай Иванович (1736—1816) — граф, генерал-фельдмаршал, воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей.

Преосвященный Гавриил (в миру: Петров) (1730—1801) — митрополит Петербургский.

...о тетке его... — Нелидова Екатерина Ивановна (1756—1839) — фаворитка Павла I.

Троцинский Дмитрий Прокофьевич (1754—1829) — статс-секретарь Екатерины II.

Грибовский Андриан Моисеевич (1766—1833) — статс-секретарь Екатерины II.

Куракин Александр Борисович (1752—1818) — князь, дипломат.

Остерман Иван Андреевич (1725—1811) — вице-канцлер.

Самойлов Александр Николаевич (1744—1814) — камергер, правитель канцелярии Совета при Екатерине II.

Барятинский Федор Сергеевич (1742—1814) — князь, обер-гофмаршал.

Шереметов Николай Петрович (1751—1809) — обер-камергер.

Тизенгаузен Иван Андреевич (год рожд. неизв. — 1815) — гофмаршал.

Великий князь Константин (1779—1831) — младший сын Павла I.

Ливен Шарлотта Карловна (1742—1828) — графиня, статс-дама.

Валуев Петр Степанович (1743—1814) — обер-церемониймейстер.

Императрица Мария — Мария Федоровна (1759—1828) — жена Павла I.

Архаров Николай Петрович — (1742—1814) — статс-секретарь.

...моя жена... — Ростопчина Екатерина Петровна (1775—1859), урожденная Протасова.

ОХ, ФРАНЦУЗЫ!

НАБОРНАЯ ПОВЕСТЬ ИЗ БЫЛЕЙ, ПО-РУССКИ ПИСАННАЯ

Впервые: Отечественные записки. — 1842. — № 10. — Отд. 1. — С. 257—318; вторая публикация: Русский архив. — 1902. — № 5. — С. 5—

58. Печатается по рукописи: Рукописный отдел Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского гос. университета, ед. хр. 4047. На титульном листе рукописи рукой автора написано: «Ох французы! Наборная повесть из былей по Руски писанная». Слова «не переведенная, а» зачеркнуты. После «Ох французы!» вставлено Ф. В. Ростопчиным: «cela sera mieux de mettre¹ Ох иноземцы!»

...французы выезжают... — 28 ноября 1806 г. в связи с войной с Францией был издан указ о высылке из России всех французских подданных, если они не пожелают принять российское подданство. Учителя и другие лица, жившие в частных домах, обязаны были дать присягу в том, что во все время войны они не будут вступать в контакты с подданными Франции.

Герольдия — департамент герольдии.

Десть — старая единица счета писчей бумаги, равная 24 листам.

Фарамонд — легендарный предводитель франков в V в.

Чухонка — старое название финнок.

Галл (Галль) Франц Иозеф (1758—1828) — австрийский врач, создатель френологии.

Плёрезы (от фр. pleurer) — слезы.

Французская водка — коньяк.

Штоф — плотная одноцветная ткань с крупным узором.

Телогрея — короткая теплая кофта без рукавов.

Мама — здесь: няня.

Адрес-календарь — ежегодное издание, заключающее в себе имена и фамилии должностных лиц правительственных учреждений России.

Под Хотинном... — ныне город, райцентр Черниговской области на р. Днестр, где в 1769 г. во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. произошло сражение между русскими и турецкими войсками.

Кагульский победитель — Румянцев Петр Алексеевич. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. русские войска генерала П. А. Румянцева в 1770 г. разгромили главные силы турецкой армии на берегу р. Кагул у с. Вулканешти — ныне Молдавской ССР.

Моренкопф (с нем.) — морковная голова.

Леандр — в греческой мифологии юноша из Абидоса, который каждую ночь переплывал в Сест к своей возлюбленной Геро, пока не утонул в Геллеспонте.

Ломбер — карточная игра.

Ликург (9—8 вв. до н. э.) — легендарный спартанский законодатель.

Солон (между 640 — ок. 560 до н. э.) — афинский архонт, один из семи греческих мудрецов.

Эрострат (Герострат) — грек из г. Эфес, чтобы обессмертить свое имя, сжег в 356 г. до н. э. храм Артемиды — одно из семи чудес света.

¹ Лучше написать (фр.).

Робеспьер Максимилян (1758—1794) — деятель Великой французской революции.

Диоген (ок. 400—325 до н. э.) — древнегреческий философ.

Сампрандер (от фр. *Sans prendre*) — в карточной игре: без взяток.

Бриссель — Брюссель.

...занятием в 1759 году нашими войсками Берлина... — Берлин был занят русскими войсками во время Семилетней войны.

Маремьяна Бобровна Набатова — действующее лицо также в комедии Ф. В. Ростопчина «Вести, или Убитый живой».

Аполлон Дельфийский — в греческой мифологии бог — исцелитель и прорицатель.

Вейсман — фон Вейсенштейн Отто Адольф (ок. 1729—1773) — русский генерал из лифляндской фамилии.

...с колонскою... — с одеколоном.

...сыну Пафосской богини... — в греческой мифологии бог любви Эрот, сын Афродиты.

Пандора — в греческой мифологии женщина, созданная Гефестом по воле Зевса. Пленила красотой Эпиметея и стала его женой. Увидев в доме мужа ящик, наполненный бедствиями, любопытная Пандора, несмотря на запрет, открыла его, и все бедствия, от которых страдает человечество, распространились по земле. Крышка захлопнулась только тогда, когда на дне осталась одна надежда.

Кесарь Юлий (Цезарь Гай Юлий) (102 или 100—44 до н. э.) — римский полководец.

Антоний Марк (ок. 83—30 до н. э.) — римский полководец.

Катон Старший (234—149 до н. э.) — римский писатель, поборник староримских нравов.

Тиг (39—81) — римский император с 79 г.

Нерон (37—68) — римский император с 54 г.

МЫСЛИ ВСЛУХ НА КРАСНОМ КРЫЛЬЦЕ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНИНА СИЛЫ АНДРЕЕВИЧА БОГАТЫРЕВА

Впервые: отд. изд. — Спб., 1807 — с небольшими изменениями, сглаживающими резкий тон выпадов против французов. В мае 1807 г. издано Ф. В. Ростопчиным в Москве с приложением: «Письмо Силы Андреевича Богатырева к одному приятелю в Москве». Печатается по изд.: М., 1807.

Красное крыльцо — дворцовое крыльцо в Кремле, служившее для особых торжеств.

Ефремовский дворянин... — дворянин Ефремовского уезда Тульской губернии.

Милиция — здесь: земское войско. Манифестом от 16 ноября 1806 г. было объявлено о начале войны России с Францией и повелено было сформировать земское войско для подкрепления действующей армии.

...под Прейсиш-Эйлау... — ныне г. Багратионск (с 1946) Калининградской области. Во время русско-прусско-французской войны 1806—1807 гг. в сражении при Прейсиш-Эйлау русские войска успешно отразили атаки наполеоновских войск.

Кузнецкий мост — улица в Москве, на которой располагались французские магазины.

Непотребный — ненужный, негодный ни для чего.

Шуйский Василий Васильевич (г. рожд. неизв. — ок. 1538) — военный и государственный деятель.

Голицын Михаил Михайлович (1675—1730) — полководец.

Меншиков Александр Данилович (1673—1729) — государственный и военный деятель, сподвижник Петра I.

Орлов Алексей Григорьевич (1737—1808) — граф, генерал-аншеф.

Филарет — (в миру Романов Федор Никитич) — церковный деятель, патриарх.

Прокопович Феофан (1681—1736) — церковный и общественный деятель, писатель.

Платон (в миру Левшин) (1737—1812) — митрополит Московский, славившийся своим красноречием.

Дашкова Екатерина Романовна (1744—1810) — княгиня, деятельница русской культуры, президент Российской академии наук.

Панин Петр Иванович (1721—1789) — граф, государственный деятель, дипломат.

Шаховской Яков Петрович (1705—1777) — князь, государственный деятель.

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — писатель.

Нелединский (Нелединский-Мелецкий) Юрий Александрович (1752—1829) — поэт.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт, государственный деятель.

Богданович Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт.

Фоблаз — герой романа французского писателя Луве-де-Кувре (1760—1797) «Похождения кавалера Фоблаза».

...царя казнили... — Людовик XVI осужден Конвентом и казнен в 1793 г.

...под Пултуском... — ныне город в Польше на реке Нареве, в районе которого 14 декабря 1806 г. произошло сражение между русскими и французскими войсками.

Толстой Петр Александрович (1761—1844) — граф, военный деятель.

Кожин Сергей Алексеевич (г. рожд. неизв. — 1807) — генерал-майор и шеф лейб-кирасирского полка.

Голицын Михаил Сергеевич — штабс-капитан Семеновского полка, убит в 1807 г. в сражении при Прейсеп-Эйлау.

Докторов (Дохтуров) Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — генерал от инфантерии.

Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865) — князь, генерал-майор.

Долгорукий (Долгоруков) Петр Петрович (1777—1806) — генерал-адъютант Александра I.

ПИСЬМО СИЛЫ АНДРЕЕВИЧА БОГАТЫРЕВА К ОДНОМУ ПРИЯТЕЛЮ В МОСКВЕ

Впервые: как приложение к «Мыслям вслух на Красном крыльце» (М., 1807). Публикация письма была вызвана тем, что первое издание «Мыслей вслух на Красном крыльце» (Спб., 1807) вышло без разрешения Ф. В. Ростопчина. Петербургский издатель А. С. Шишков сделал в тексте некоторые изменения, особенно оскорбило Ростопчина то, что после слов: «Честь государю нашему и матушке России» Шишковым было прибавлено: «Слава тебе, храбрый Беннингсен», а в конце Шишковым была сделана приписка: «Если читателю не понравятся некоторые жесткие выражения Силы Андреевича, то да простит ему оные, уважив горячее чувство и любовь к отечеству, искони славившемуся гостеприимством, веротерпением и покровительством гонимых за честь и правду».

...расхвален без спросу... — Рецензия на первое, петербургское, издание «Мыслей вслух на Красном крыльце» опубликована в газете «Московские ведомости» (1807. № 37).

Курилка — старинная русская народная игра, состоявшая в том, что играющие передавали друг другу зажженную лучину, приговаривая: «Жив, жив, курилка, да не умер!» — до тех пор, пока лучина не гасла.

ПИСЬМО УСТИНА ВЕНИКОВА К ИЗДАТЕЛЯМ «РУССКОГО «ВЕСТНИКА» ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1807 ГОДА ИЗ СЕЛА ЗИПУНОВА

Впервые: Русский вестник. — 1808. — № 1. — С. 68—72.

«Сумбека, — или Падение Казанского царства», «Наталья, боярская дочь» — драмы издателя «Русского вестника» С. Н. Глинки (1775—1847).

Искидок — выброшенный, выкинутый человек.

ВЕСТИ, ИЛИ УБИТЫЙ ЖИВОЙ

Впервые: отд. изд. — М., 1808. Первая постановка на сцене 27 января 1808 г. в Москве под названием «Живой мертвец». Печатается по изд.: Драматический альбом Арапова. — М., 1853.

Межник — межа.

Ерошки (ерошка) — карточная игра.

Кялга — город, ныне райцентр в Бурятии, в прошлом пункт русской торговли с Китаем.

Мартира-Мартир-Мартивр — искаженное: Мортье Эдуард Адольф Казимир (1768—1835) — маршал Франции с 1804 г.

Моро Жан Виктор (1763—1813) — французский генерал.

Бурмистр — управляющий помещичьим имением или староста, назначаемый обычно из крестьян.

Боровский Пафнутий (г. рожд. неизв. — 1478) — преподобный, причислен к лику святых в 1540 г. Основал в г. Боровске Калужской губернии монастырь.

ПИСЬМО УСТИНА УЛЬЯНОВИЧА ВЕНИКОВА К СИЛЕ АНДРЕЕВИЧУ БОГАТЫРЕВУ И ОТВЕТ СИЛЫ АНДРЕЕВИЧА БОГАТЫРЕВА УСТИНУ УЛЬЯНОВИЧУ ВЕНИКОВУ

Предназначались Ф. В. Ростопчиным для публикации в «Русском вестнике», однако редактор журнала С. Н. Глинка письма печатать отказался, ссылаясь на их резкий тон. Впервые: отд. изд. под заголовком «Письма Устина Ульяновича Веникова к Силе Андреевичу Богатыреву и ответ Силы Андреевича Богатырева Устину Ульяновичу Веникову». — М., 1808. В издании «Писем...» вслед за четвертой страницей сразу идет девятая. Вероятно, середина, содержащая второе письмо Веникова, была уже по отпечатании уничтожена автором.

АФИШИ 1812 ГОДА,

*или Дружеские послания от главнокомандующего в Москве
к жителям ее*

Афиши, или «Дружеские послания главнокомандующего в Москве к жителям ее» издавались Ростопчиным почти ежедневно с 1-июля по 31 августа 1812 г., и несколько было выпущено в сентябре — декабре того же года. В настоящее время их известно лишь 20. Попытки собрать и издать афиши предпринимались неоднократно. В 1889 г. В. И. Саитов поместил в своем издании 18 афиш¹. В издании П. А. Картавова приписывается Ростопчину 23 афиши². Однако из этого издания надо исключить три, ибо в них не встречается никаких признаков, указывающих на их принадлежность Ростопчину.

Собрания ростопчинских афиш, далеко не полные, печатались также в различных изданиях, посвященных Отечественной войне 1812 г. В настоящем издании тексты публикуются по наиболее авторитетному изданию: Б о р с у к Н. В. Ростопчинские афиши. — Спб., 1912.

¹ Ростопчинские афиши 1812 года. — Спб., 1889.

² К а р т а в о в П. А. Летучие листки 1812 года. — Спб., 1904.

На тычке — на людном месте.

Карл шведский — Карл XII (1682—1718) — король Швеции с 1697 г., полководец. В начале Северной войны 1700—1721 гг. одержал ряд крупных побед, но вторжение в 1708 г. в Россию завершилось его поражением в Полтавском сражении в 1709 г.

Верещагин Михаил Николаевич (1789—1812) — сын купца, обвиненный летом 1812 г. в переводе и распространении прокламации Наполеона. В момент оставления Москвы был отдан Ростопчиным возбужденной толпе на растерзание.

Платов Матвей Иванович (1751—1818) — граф, войсковой атаман Донского казачьего войска.

Пален Петр Петрович (1778—1854) — генерал от кавалерии.

Раевский Николай Николаевич (1771—1829) — генерал от кавалерии, командир корпуса.

Докторов Дмитрий Сергеевич (1759—1816) — генерал от инфантерии, командующий 6-м пехотным корпусом 1-й Западной армии.

Неаполитанский король — Мюрат Иоахим Наполеон (1771—1815) — маршал Франции, король Неаполитанский с 1808 г.

Витгенштейн Петр Христианович (1769—1843) — граф, генерал-лейтенант, командовал корпусом на петербургском направлении.

Удино Никола Шарль, герцог Реджо (1767—1847) — маршал Франции.

Сен-Сир Лоран Гувьон (1764—1830) — маршал Франции.

Тормасов Александр Петрович (1752—1819) — генерал от кавалерии, главнокомандующий 3-й Западной армией.

Чичагов Павел Васильевич (1765—1849) — адмирал, командующий Дунайской, затем и 3-й Западной армией.

Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) — граф, генерал от инфантерии.

Марков (Морков) Ираклий Иванович (1750—1829) — граф, генерал-лейтенант, командующий Московским ополчением.

МОИ ЗАПИСКИ, НАПИСАННЫЕ В ДЕСЯТЬ МИНУТ, ИЛИ Я САМ БЕЗ ПРИКРАС

Написано Ф. В. Ростопчиним в 1823 г. на французском языке по просьбе графини С. А. Бобринской. Впервые опублик. С. Д. Полторацким в парижской газете «*Temps*» (1839. — № 39); отд. изд.: *Mémoires du comte Rostopchine écrits en dix minutes.* — Paris, 1839. В том же году переведено на несколько европейских языков, включая русский: Северная пчела. — 1839. — № 108. Печатается в переводе С. Д. Полторацкого: *Ростопчин* и Л. Семейная хроника. (1812 г.). — М., б. г. — С. 59—63.

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК 1815 ГОДА

Печатается по изд.: Девятнадцатый век: Исторический сборник. — М., 1872. — Кн. 2. — С. 121—140. — Перевод с французского. Заголовок дан А. Ф. Ростопчиным.

Ямбург — ныне г. Кингисепп в Ленинградской области.

Императрица Елизавета (1709—1761) — русская императрица в 1741—1761 гг.

Девкалион — сын Пирры, спасшийся с женой от потопа и ставший родоначальником нового человека.

Дерпт — ныне г. Тарту в Эстонии.

Паррот Георг Фридрих фон (1767—1852) — физик, с 1802 г. ректор Дерптского университета.

Филомела — дочь афинского царя Пандиона, сестра Проксы, обещанная мужем Проксы, Тереем, и превращенная в соловья.

Вольмар — ныне г. Валмиера в Латвии.

Левенштерн Владимир Иванович (1777—1853) — русский генерал.

Мемель — ныне г. Клайпеда в Литве.

Тильман Иоганн Адольф (1765—1824) — саксонский генерал.

Даву Луи Никола (1770—1823) — маршал Франции.

Эльбинг — ныне г. Эльблонг в Польше.

Вестрис Гаэтано Аполлино Бальтазаре (1729—1808) — итальянский артист балета, современники называли его «богом танца».

Мариенвердер — ныне г. Мальборк в Польше.

Блюхер Гебхард Лебрехт (1742—1819) — прусский генерал-фельдмаршал. В 1813—1815 гг. командовал прусской армией, успешно действовал в сражении при Ватерлоо.

Клейст Фридрих Генрих Фердинанд Эмиль (1762—1823) — прусский фельдмаршал.

Йорк Иоганн Давид Людвиг (1759—1830) — прусский фельдмаршал.

Гнейзенау Август (1760—1831) — прусский генерал-фельдмаршал.

Рюйсдал (Рейсдал) Якоб ван (1629—1682). — голландский живописец.

Вандам Иосиф Доминик (1771—1830) — французский генерал, взят в плен в сражении под Кульмом.

Сталь Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница.

Куракин Александр Борисович (1697—1749) — князь, русский дипломат.

Антидот — лекарственное средство для лечения отравлений.

ЗАПИСКИ О 1812 ГОДЕ

Записки написаны Ростопчиным на французском языке в 1825 г. Печатаются в русском переводе И. И. Ореуса по изд.: Русская старина. —

1889. — № 12. — С. 644—725. И. И. Ореус выполнил перевод по рукописи, которая находится теперь в ЦГВИА СССР (Ф.ВУА. — Д.3648). В настоящей публикации не включены пояснения, данные Ростопчиным для зарубежного читателя, раскрыты скобки, которыми переводчик обозначил дополнения, сделанные в рукописи автором, а также вставлены по рукописи места, пропущенные переводчиком.

Тильзитский мир — заключен 25 июня 1807 г. в Тильзите в результате переговоров Александра I и Наполеона. Россия соглашалась на создание Герцогства Варшавского и присоединялась к Континентальной блокаде.

Фридландское сражение — сражение во время русско-прусско-французской войны 2 (14) июня 1807 г. около г. Фридланд (ныне г. Правдинск Калининградской области), в котором французская армия нанесла поражение русским войскам.

Бенингсен Леонтий Леонтьевич (1745—1826) — барон, позднее граф; в 1812 г. начальник Главного штаба армий.

Свеаборг — бывшая крепость на юге Финляндии; в апреле 1808 г. в Свеаборге перед русскими войсками капитулировала шведская армия.

Гудович Иван Васильевич (1741—1820) — граф, в 1809—1812 гг. главнокомандующий в Москве.

Единственный сын — Ростопчин Сергей Федорович (1794—1836) — старший сын Ф. В. Ростопчина, штаб-ротмистр Кавалергардского полка.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный секретарь, автор проекта государственных преобразований, был выслан из Петербурга в Нижний Новгород в ночь с 17 на 18 марта 1812 г.

В. К. К. — Екатерина Павловна (1786—1819) — великая княгиня, сестра Александра I, жена принца Георгия Ольденбургского.

Кн. О. — Ольденбургский Георгий (1784—1812) — принц, муж великой княгини Екатерины Павловны, генерал-губернатор Тверской, Ярославской и Новгородской губерний.

Балашов Александр Дмитриевич (1770—1837) — генерал от инфантерии, член Государственного совета; в 1810—1812 гг. министр полиции.

Армфельд Густав Маврикий (1757—1814) — граф, шведский генерал на русской службе с 1811 г.

Вязьмитинов Сергей Козьмич (1749—1819) — граф, генерал от инфантерии; в марте 1812 г. назначен главнокомандующим в Петербурге.

Чернышев Александр Иванович (1785—1857) — князь.

Румянцев Николай Петрович (1754—1826) — граф, министр иностранных дел в 1807—1814 гг.

Гримм Фридрих Мельхиор (1723—1807) — публицист, критик, дипломат.

Гурьев Дмитрий Александрович (1751—1825) — граф, в 1810—1823 гг. министр финансов.

Разумовский Алексей Кириллович (1748—1822) — граф, министр народного просвещения в 1810—1816 гг.

Траверсе Жан-Франсуа де (Иван Иванович) (1754—1830) — маркиз, морской министр в 1811—1828 гг.

Сен-Доминго (Сан-Доминго) — в 1797—1803 гг. название западной части о. Гаити, являвшейся французской колонией.

Горчаков Алексей Иванович (1769—1817) — князь, в 1812 г. генерал-лейтенант, управляющий Военным министерством.

Брокер Адам Фомич (1771—1848) — чиновник Московского почтамта, с июля 1812 г. московский полицмейстер.

Обрезков Николай Васильевич (1764—1821) — сенатор, в 1810—1816 гг. московский гражданский губернатор.

Ивашкин Петр Алексеевич (1762—1823) — генерал-майор, в 1808—1813 гг. московский обер-полицмейстер.

Архиепископ Августин (Виноградский Алексей Васильевич) (1766—1819) — архиепископ Московский.

Волков Александр Александрович (1779—1833) — московский полицмейстер.

Дурасов Егор Алексеевич (1781—1855) — московский полицмейстер.

Рунич Дмитрий Павлович (1780—1860) — в 1812 г. директор канцелярии главнокомандующего в Москве.

Рунич Павел Васильевич (1747—1825) — сенатор.

Булгаков Александр Яковлевич (1781—1863) — чиновник по особым поручениям при Ф. В. Ростопчине, ведал секретной перепиской.

Ильин Николай Иванович (1777—1823) — драматург.

Лье — единица длины во Франции, равная 4,444 км.

Апраксин Степан Степанович (1747—1827) — граф, генерал от кавалерии, в 1812 г. член 1-го комитета Московского ополчения.

Обольяников Петр Хрисанфович (1753—1841) — московский предводитель дворянства.

Юсупов Николай Борисович (1750—1831) — князь, главноначальствующий в экспедиции Кремлевского строения.

Трубецкой Василий Сергеевич (1766—1841) — князь, генерал-майор, генерал-адъютант. В 1812 г. находился при Александре I в Вильно, откуда в июле привез в Москву манифест о созыве народных ополчений.

Комаровский Евграф Федотович (1769—1843) — генерал-майор, генерал-адъютант, с 1811 г. инспектор внутренней стражи.

Штейн Генрих Фридрих Карл (1757—1831) — барон, глава правительства Пруссии в 1807—1808 гг.

Шишков Александр Семенович (1754—1841) — писатель, в 1812 г. вице-адмирал, сменил М. М. Сперанского на посту государственного секретаря.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — граф, любимец Александра I.

Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844) — князь, генерал-лейтенант.

Шварц Иван Григорьевич (г. рожд. неизв.— 1784) — профессор философии Московского университета.

Новиков Николай Иванович (1744—1818) — известный русский просветитель, писатель. У Ростопчина ошибка: Новиков был поручиком в отставке, а не генерал-майором в отставке.

Прозоровский Александр Александрович (1732—1809) — московский главнокомандующий в 1790—1795 гг.

Трубецкой Николай Никитич (1744—1821) — масон, друг Н. И. Новикова.

Лопухин Иван Владимирович (1756—1816) — сенатор, масон, автор нескольких религиозных сочинений.

Плещев Алексей Александрович — масон, близкий друг Н. М. Карамзина.

Кошелев Родион Александрович (1749—1821) — приближенный Александра I, масон.

Ключарев Федор Петрович (1751—1822) — московский почт-директор, масон.

Поздеев Осип Алексеевич (1756—1820) — полковник в отставке, известный масон.

Хованский Николай Николаевич (1777—1837) — генерал от инфантерии, член Государственного совета.

Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор популярного в конце XVIII в. трактата по физиогномике «Физиогномические фрагменты».

Мамонов (Дмитриев-Мамонов) Матвей Александрович (1790—1863) — граф, в 1812—1814 гг. командир снаряженного на собственные средства казачьего полка.

Салтыков Петр Иванович — граф, отставной ротмистр, затем полковник, сформировал на свой счет Московский гусарский полк.

Гагарин Николай Сергеевич (1784—1842) — князь, летом 1812 г. сформировал на свой счет 1-й пехотный полк Московского ополчения.

Демидов Николай Никитич (1773—1828) — тайный советник, в 1812 г. сформировал на свой счет егерский полк Московского ополчения.

Сен-Жени Фалькон де (1776—1836) — барон, бригадный генерал французской армии.

Лобанов (Лобанов-Ростовский) Дмитрий Иванович (1758—1833) — князь, в 1812 г. командовал резервной армией.

Фабий — Фабий Максим Кунктатор (буквально: медлитель) (275—203 до н. э.) — римский полководец. Во время Пунической войны применял в 217 г. тактику постепенного истощения армии Ганнибала, уклоняясь от решительного сражения.

Воронцов Михаил Семенович (1782—1856) — князь, генерал-майор, сын дипломата С. Р. Воронцова.

Васильчиков Илларион Васильевич (1777—1847) — генерал-майор.

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Павел Иванович (1767—1841) — поэт и переводчик.

Принц Вюртембергский (Вюртембергский) (1788—1857) — двоюродный брат Александра I.

Герцог Ольденбургский Петр-Фридрих-Людвиг (1755—1822) — администратор герцогства Ольденбургского, после присоединения в 1810 г. его к Франции жил в России.

Герцог Виченцкий (Коленкур Арман-Огюст-Луи де) (1773—1827) — французский дивизионный генерал, дипломат, посланник Наполеона в России в 1807—1811 гг.

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ, ПИСАННЫЕ ГРАФОМ РОСТОПЧИНЫМ

Печатается по изд.: *Деятнадцатый век: Исторический сборник.* — Кн. 2. — М., 1872. — С. 141—144. Перевод с французского. Заголовок дан А. Ф. Ростопчиным.

Князь Г. — Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844) — московский генерал-губернатор.

Георгиевский монастырь — на берегу Черного моря недалеко от Севастополя; один из древнейших монастырей в Крыму.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Г. Д. Овчинников «И дышит умом и юмором того времени...»</i>	3
Путешествие в Пруссию	17
Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I	71
Ох, французы! Наборная повесть из былей, по-русски писанная	84
Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева	148
Письмо Силы Андреевича Богатырева к одному приятелю в Москве	153
Письмо Устина Веникова к издателям «Русского вестника» от 22 декабря 1807 года из села Зипунова	155
Вести, или Убитый живой. Комедия в одном действии	157
Письмо Устина Ульяновича Веникова к Силе Андреевичу Богаты- реву	206
Ответ Силы Андреевича Богатырева Устину Ульяновичу Веникову	207
Афиши 1812 года, или Дружеские послания от главнокомандующего в Москве к жителям ее	209
Мои записки, написанные в десять минут, или Я сам без прикрас	222
Из путевых записок 1815 года	225
Записки о 1812 годе	242
Последние страницы, писанные графом Ростопчиным	315
Примечания	319

Федор Васильевич Ростопчин

ОХ, ФРАНЦУЗЫ!

Редактор *Н. И. Нетесина*.

Художественный редактор *Л. Е. Безрученко*.

Технический редактор *И. И. Павлова*.

Корректор *Т. Б. Лысенко*.

ИБ № 6436

Сдано в набор 25.11.91. Подл. в печать 29.04.92. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная № 2.
На вкл.— офс. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать офсетная. Усл. п. л. 17,75
(в т. ч. вкл. 0,11). Усл. кр.-отт. 17,75. Уч.-изд. л. 18,54 (в т. ч. вкл. 0,05). Тираж 75 000 экз.
Заказ № 2325. С46. Изд. инд. ЛХ-432

Издательство «Русская книга» («Советская Россия») Министерства печати и информации
России. 123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации России. 144003, г. Электросталь
Московской обл., ул. Тевосяна, 25.